В. Г.

КОРОЛЕНКО






У.С.Р.Р.
ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО

Владимир Короленко

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1925

Владимир Короленко

ДНЕВНИК

(1881—1893 г.г.)

Том I

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1925

Печатается по постановлению
Совета Народных Комиссаров
Украинской Социалистической
Советской Республики.

Полтава. 1-я Совтипография Издательства „Більшовик Полтавщини".

№ 502—1098. Тираж 3000 экземпляров. РУП № 243.

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ *

Приступая к печатанию дневников В. Г. Короленко, необходимо прежде всего выяснить их характер. Теоретически легко представить себе два-три основных типа, в которые естественно отливаются все подобные живые документы человеческой личности. Если главный интерес человека заключен в нем самом, его дневник будет или хроникой личной жизни,или, при интересе главным образом к внутренней работе духа,— интимной исповедью. При менее эгоцентрическом складе личности, отразится более или менее широко жизнь других людей, окружающий мир, личная жизнь отойдет на второй план и дневник даст нечто вроде подневных мемуаров современника или общественной летописи. Разумеется, редкий дневник представляет собою какой-либо из этих типов в чистом виде,— все они носят смешанный характер, но преобладание тех или иных черт остается. Дневник Толстого при всем разнообразии содержания все таки есть прежде всего и более всего — история его внутреннего роста, непрерывно сменявшихся в нем стремлений и достижений, словом — динамика сильного творческого духа. Дневник Амиэля всецело статическая картина души, сложной и чуткой, но созерцательно пассивной.

Дневник Короленка весь проникнут активностью, движением и борьбой, но это динамика не столько самой

* Редакц. Ком. сообщает, что с мая мес. 1923 г. в ее работах принимает постоянное участие в качестве редактора историк литературы А. Е. Грузинский.

личности, сколько ее общественного сознания. И если по дневнику Толстого можно довольно полно наметить историю его внутреннего развития, почти ничего не узнав о событиях, среди которых он жил, то дневник Короленка, давая обильнейший материал историку русской общественности за последние 40 лет, — взятый один, без других источников, часто не достаточно удовлетворил-бы биографа его личности. У Короленко не отсутствовал интерес к своей личности и художественной и человеческой,— но он органически не способен был замыкаться в свой внутренний мир и всецело уходить в его разработку; живая жизнь кругом, люди, их интересы и отношения настолько захватывали его, что в какую-бы среду ни закинула его судьба, он невольно втягивался в изучение этой чужой жизни с тем, чтобы осмыслить ее себе и приложить руки к ее устроению. Вот почему, заброшенный на три года в глухой угол далекой Якутской области, в слободу Амгу, за тысячи верст от всякой культуры, он ведет дневник всех „событий" слободской жизни. Там в среде полудиких якутов и татар поселенцев, среди постоянных воровства, грабежей и пьянства автор вобрал в себя все, что общеинтересного могла дать эта жизнь, и впоследствии художественно обработал в ряде очерков и в „Истории Моего Современника", но раньше, чем сделал свое дело художник и бытописатель, человек в Короленке отнесся внимательно к скудным интересам этих людей, вникнул в их быт и нужды и постарался занять определенную и ясную позицию в той повседневности, которую ему пришлось делить с ними. По тем-же побуждениям он, попавши оттуда на долго в Нижний-Новгород, и уже обративши на себя внимание, как художник, тотчас завязывает живые связи с провинциальной жизнью и прессой, много пишет по боевым местным вопросам (произвол

администрации, беззакония и хищения в дворянской среде), а все недоступное для печати, т. е. главным образом указания на зависимость частных и отдельных случаев от общих порядков нашего строя, заносит на страницы своего дневника, прилагая подлинные материалы и комментируя их. Так было у него всю жизнь и дневник Короленка сохранил для нас многие и многие черты русской общественной летописи за несколько десятков лет.

Но содержание дневника этим не исчерпывается. Внимание автора привлекают и крупные явления западной жизни, трактуемые им всегда в прямой или косвенной связи с русскими условиями: вместе с нашими общественными вопросами эти страницы дневника представляют собой как-бы ряд широких публицистических тем, намеченных при условии свободы печати. Кроме того, дневник дает много живых наблюдений действительности; тут есть разговоры и встречи в народе, и живые наброски разнообразных посетителей и просителей, которых так много всегда было у общительного и готового всякому помочь Короленко. Наконец, дневник отмечает литературные интересы автора; выписки из книг и мысли по поводу них позволяют иногда вскрыть какие вопросы художественного творчества занимали его в то или иное время (напр. вопрос о романтизме и реализме в литературе). Особое место занимает выделяемый им самим отдел „Мои дети". Здесь — ряд метких наблюдений над детским развитием, живых сцен и разговоров, могущих прямо быть перенесенными на страницы художественного рассказа. Когда-же дети стали подростать, в этом отделе не раз встречаются глубокие и серьезные размышления автора над важными жизненными проблемами. Не раз на страницах дневника встречаются размышления на религиозные и философские темы.

Первые попытки записывать факты своей и чужой жизни под определенными датами встречаются у В. Г. Короленко в 1881 году, последняя запись сделана 31 августа 1921 года (за четыре месяца до смерти). Таким образом дневник охватывает сорокалетний период. Но на протяжении этих 40 слишком лет четыре раза по различным причинам дневник прерывается совсем: в 1885—1886 годах, в 1900 и 1906 г.г.—каждый раз на год и наконец в 1908—1912—на пять лет. Но и остальное время он ведется не всегда систематически и равномерно.

В этом отношении можно наблюсти три периода: первый — период сибирской ссылки и скитаний, окончившийся водворением в Нижнем-Новгороде. В эти четыре года (1881—1884) все условия жизни В. Г. были настолько суровы и неблагоприятны, что в его тетрадях характер дневника имеют лишь Амгинские записи от 7 января до 8 марта 1883 г. да путевые отметки (23 сентября—18 ноября 1884 г.) во время возвращения из Якутской области, а за первые два года ссылки зафиксировано всего три-четыре отдельных момента.

Второй, Нижегородский период (1885—1895 г.г.), как более оседлый и спокойный, характеризуется появлением более или менее регулярных подневных записей. Дневник начался не сразу, лишь через два года после приезда в Нижний, но за то ведется почти без перерывов в течение 13 лет, кончая 1899 г., захватив таким образом не только время пребывания в Нижнем, но и четыре следующих Петербургских года.

В третьем, Полтавском периоде (1900—1921) за вычетом упомянутых уже перерывов (1900, 1906, 1908—1912 г.г.) дневник велся более или менее правильно. Однако и здесь есть пробелы — 1907 год является далеко не полным (записи идут только до 7 мая). В 1912 г. имеется несколько

записей в октябре и ноябре; в 1913 г. записи заканчиваются в августе. Утрачена тетрадь дневника за 1914 и 1915 годы, при возвращении В. Г. из-за границы во время войны, а также и последние пять лет записи велись с большими перебоями и даже полными перерывами (в 1916 г.— до полугода).

Первые подневные записи (1881—1884 г.г.) не имеют ни специального заглавия, ни особой предназначенной для них книги и тетради. Только в 1887 году В. Г. заводит особую тетрадь для заметок, где записи ведутся уже более или менее систематически. Впрочем первая из этих тетрадей (1887—1888 г.г.) тоже имеет скорее характер так называемой общей тетради, чем тетради дневника. Рядом с подневными записями тут встречаются и беллетристические наброски и выписки из книг, тут-же вклеены или переписаны собственные и чужие письма, а также вырезки из газет. С течением времени частично этот разнообразный материал, об'единенный в тетради дневника, начинает распределяться по разным другим местам. По мере расширения переписки, В. Г. заводит особую копировальную книгу (в мае 1888 года), где делает оттиски тех своих писем, которые по тем или иным соображениям желает сохранить. С этих пор в дневниках копии с писем попадаются значительно реже. Беллетристические наброски и материалы, случайные разговоры, сцены, характерные выражения и т. п. заносятся в карманные записные книжки, которые В. Г. берет с собой в экскурсии. Наконец, для чисто деловых и справочных заметок он заводит записные книжки-календари, где отмечает отсылку писем, книг, рукописей, получение денег, от'езды и приезды, болезни, иногда состояние погоды и пр. Во время продолжительных поездок В. Г. обычно брал с собой эти книжки-календари, тетрадей-же дневников не брал почти никогда. В таких случаях эти записные книжки заменяли ему дневники.

Дольше всего сохраняют свое место в дневниках выписки из книг и в особенности газетные вырезки. Выписки из книг,— за исключением тех случаев, когда они делались систематически в качестве материала для какой нибудь работы*— не имели особого, предназначенного для них места. Когда что-нибудь из прочитанного останавливало по тем или другим причинам внимание В. Г., он делал выписки в свой дневник. Однако с течением времени количество выписок сокращается и несколько изменяется их характер.

Что касается вырезок из газет, то у В. Г. для них было много специальных мест. У него с начала 90-х годов были заведены большие книги типа конторских, куда он вклеивал нужные для его работ вырезки,— как собственных статей и заметок, так и разного рода другой газетный материал. Кроме того множество вырезок он раскладывал по пакетам с надписями содержания („земские начальники", „дворянские собрания", „самозванцы", „погромы" и т. п.). Но несмотря на такое обилие мест, по которым могли распределяться газетные вырезки, именно они дольше всего продолжают сохранять свое место и в дневниках. Они встречаются там вплоть до последних лет. Об'ясняется это конечно характером дневника Короленко, как общественной летописи, о чем говорилось уже выше.

В настоящий I том дневника входят записи с 1881 до половины 1893 года, содержащиеся в семи нижеперечисленных и описанных рукописях. Подневные записи 1892 года в этот том не вошли; они велись автором в записной книжке-календаре на 1892 год, в период его

* В архиве В. Г. есть напр. целая толстая записная книжка с выписками из „Войны и Мира".

работы в голодающих деревнях Лукояновского уезда, и были с большой полнотой использованы в книге „В голодный год". Отдельные записи, оставшиеся неиспользованными и представляющие интерес, даются в настоящем издании в приложении к „Голодному году".

Приготовляя дневники В. Г. Короленко к печати, Редакционная Комиссия старалась сохранить весь материал, по возможности в том виде, какой был придан ему самим автором. Но отмеченный выше способ ведения дневника в первое время, в общих тетрадях, среди разнообразных материалов иного рода, разумеется, повел к необходимости выделить и взять из этих общих тетрадей лишь все то, что может быть об'единено под именем дневника, отводя остальное по другим руслам. Подробно и конкретно эта работа очерчена дальше при описании тетрадей и в примечаниях к тексту, а здесь укажем ее общий характер. Как общее правило, в дневник берутся все записи, которым сам автор придал характер подневных, т. е. снабдил пометкой числа, и в которых не утрачена связь с его текущей жизнью и интересами. Исключаются крупные беллетристические тексты, и разбросанный местами отрывочно фольклорный сибирский материал в виде преданий и песен; все это найдет себе свое особое место в других томах настоящего издания, здесь-же, лишенное определенной хронологической приуроченности, оно лишь внесло-бы пестроту и терялось-бы в иного рода материале. Затем не брались включенные в тетрадь письма, прямое место которым в томах переписки. С нередкими цитатами из книг и наклеенными газетными вырезками было поступлено так: если те или другие служили главным образом толчком и отправным пунктом для размышлений автора, они сохранялись неприкосновенными; если же их присутствие было лишь молчаливым свидетельством авторского

интереса, совсем или почти совсем не выраженного, а сами они при том были слишком велики и громоздки, то о них упоминалось лишь в примечаниях. Из'ятию подвергаются также записи, посвященные фактам слишком временного или местного значения, утратившие в настоящее время свой интерес. Наконец, в весьма немногих случаях, где в записях была обнаружена хронологическая спутанность, пришлось переместить их порядок. Случаи эти отмечены в своем месте.

Напомним читателю главнейшие биографические факты, стоящие в связи с содержанием настоящего тома.

В мае 1879 г. В. Г. Короленко, в то время студент петербургского горного института, был арестован и выслан (вместе с младшим братом Илларионом) в Глазов Вятской губ. В октября того-же года В. Г. препровожден в Березовские Починки. В феврале 1880 г. снова арестован (вследствие ложного доноса о бегстве с места ссылки) и после нескольких месяцев тюремных скитаний привезен в Пермь, где оставлен под надзором полиции. После события 1-го марта В. Г. отказался от принесения особой присяги на верноподданство Александру III-му. За этот отказ он подвергся ссылке в Якутскую область, в слободу Амгу. В Амге В. Г. прожил около трех лет, занимаясь хлебопашеством и шитьем сапог, а свободное время посвящал литературной работе (первый литер. дебют В. Г. относится к 1879 г., когда в журнале „Слово“ (№ 7) появилась его повесть „Эпизоды из жизни искателя“). В период ссыльных скитаний написаны были рассказы „Чудная“, „Ненастоящий город“, „В подследственном отделении“ („Яшка“), „Сон Макара“, „В дурном обществе“, „Убивец“ и др.

По истечении срока ссылки (в сентября 1884 г.), В. Г. возвратился в Европ. Россию, избрав местом своего жительства Н.-Новгород. Здесь В. Г. поступил кассиром на пароходную пристань Зевеке, но прослужив около месяца, передал эту должность брату, сам-же занялся исключительно литературным трудом. С этого времени началось его сотрудничество в газете „Волжск. Вестник", а вскоре и в „Русск. Ведомостях" и в журналах „Сев. Вестник" и „Русская Мысль".

В январе 1886 г. В. Г. женился на своей давнишней знакомой Авд. Сем. Ивановской, в октябре родилась его старшая дочь, а в декабре того-же года вышел в свет 1-ый том его „Очерков и рассказов" (в изд. „Русск. Мысли").

Живя в Н.-Новгороде В. Г. часто совершал отсюда поездки и экскурсии по Поволжью в целях ознакомления с народной жизнью и собирания материала для своих художественных произведений (так возникли рассказы „За иконой", „Птицы небесные", „Река играет" и др.). В 1889—90 г.г. В. Г. посетил несколько раз кустарное село Павлово Горбатовского уезда; результатом этой поездки явились полубеллетристические „Павловские очерки", рисующие быт рабочих-кустарей. Осенью 1889 г. В. Г. провел $1^1/_2$ месяца в Крыму, откуда привез написанный вчерне рассказ „Тени". В 1892 г. В. Г. работал (с февраля по май) в деревнях Лукояновского уезда, организуя помощь голодающему населению. Отсюда он посылал корреспонденции в „Русск. Ведомости" (вторично напечатанные в 1893 г. в дополненном и переработанном виде в „Русск. Бог." и затем изданные отдельной книгой— „В голодный год").

С 1892 г. началось сотрудничество В. Г. в журнале „Русск. Богатство", во главе которого стал тогда Н. К. Михайловский. Первая половина 1893 г. прошла в напряженной

работе над очерками „В голодный год“, и публицистическими статьями для „Русск. Мысли“ (для отдела „Текущая жизнь“); в мае В. Г. готовится к путешествию в Америку на всемирную выставку в Чикаго.

Рукописи, составляющие содержание дневника:

1. Тетрадь обычного формата (в 1/4 листа) в твердом переплете; на приклеенном снаружи верхней крышки ярлыке авторская надпись: „1880 г. Пермь — Иркутск. 1) Чернов. „Подследств. Отд.“ 2) Первонач. набр. рассказа „Сон Макара“. 3) Отрывки (писано в Перми). 4) Из путев. набросков по Иртышу и Оби (писано на пароходе). 5) Отрывки, набросанные в Як. области“. В тетради следы многих вырезанных листков, и оставшиеся 76 листков не все держатся в переплете; авторская нумерация с пропусками и дана для каждой вещи отдельно; сквозная нумерация Ред. Комиссии дает 145 страниц. Шифр Ред. Комиссии В. 45. Подробное описание будет дано при общей описи рукописей архива, легшего в основу данного издания Полного Собр. Сочинений.

Отсюда извлечены для дневника три записи: 27 августа, 30 августа и 30-го августа в 6 ч. вечера, занимающие стр. 132—139 и относящиеся к 1881 г.

2. Два отдельных листка, формат — обрезанная кругом восьмушка; текст с обоих сторон и обрывается в конце 4-й страницы на полуфразе. Начало:—„21 число. То-есть день, когда в нашу далекую Амгу приходит почта“. Упоминание в первых же строках об Амге, зиме и юрте, в которой живет автор, дает довольно тесные хронологические пределы этого текста. В Амгу автор прибыл 1-го декабря 1881 г. и в юрте провел лишь 3—4 месяца, перейдя затем в избу Захара Цыкунова (Ист. Моего

Соврем. IV, 100—102), следовательно, отрывок мог быть писан или 21 декабря 1881 г. или в те же числа января либо февраля 1882 г.

3. Самодельная тетрадь в четвертку, шифр Ред. Ком. В. 46. На первом листке, составляющем обложку, надпись: „В. Короленко. Отрывки, Наблюдения, Заметки. 1884. Амгинская слобода". В тетради 48 лист., 94 стр. Содержание ее: 1) Заметка о якутском пении (заглавие „Песня") стр. 1—5. 2) Предание о двух героях-разбойниках Манчары и Омоче, стр. 5—12. 3) Краткий расчет почтовой повинности в Амге, стр. 13 (оборот пустой). 4) Первая редакция рассказа „В дурном обществе"— стр. 15—50, дважды прерванная посторонними заметками (на стр. 37—38 и на стр. 46 и 47). 5) Амгинский дневник (стр. 51—82). 6) Выписка из доклада проф. Анучина об экспедиции судна Жаннеты (стр. 82—85) и 7) Якутское предание „Омоллон" и заметки о религии якутов (86—94).

Отсюда взяты страницы Амгинского дневника. Выше упоминалось об условиях, в каких писался этот дневник. Скудость и однообразие впечатлений амгинской жизни, оторванность от культурной среды, большая перегруженность физической работой — все это отразилось на дневнике, сосредоточив его почти исключительно на мелких ежедневных событиях пустынной слободы. Он вышел бледен, мало значителен и почти ничего не говорит о самом авторе. Все же, что было характерного в этом быте и интересного в жизни самого автора и всей колонии политических ссыльных, сжато и ярко изображено в „Ист. Моего Соврем." и в рассказах „Сон Макара" и „Марусина Заимка". По всем этим соображениям Ред. Ком. дает место этому дневнику в Приложении.

4. Записная книжка в восьмушку в твердом переплете; шифр Ред. Ком. Ч. 24. Ярлычок на переплете носит

авторскую надпись: „1) Як. область, 2) В. Г. Корол. под надз. полиц.— Былое № 13 кн. 7 Июль 1918". Дорожный дневник, взятый из этой книжки, занимает в ней стр. 1—43, перебитый дважды (стр. 5—7 и 23—25) текстом рассказа „Станочники" (первый набросок к очерку „Государевы Ямщики"). Здесь помещены записи обратного пути из Якутской области в 1884 г., начиная с выезда из Якутска 23 сентября и кончая отправлением из Иркутска 18 ноября. Остальной материал книжки состоит из отрывков беллетристич. характера и заметок позднейшего времени к последнему тому „Ист. Моего Современника". В конце около трети листков не заполнено; на самых последних листках три карандашных рисунка видов Лены, сделанных очевидно во время того же пути.

5. Толстая тетрадь в 1/4 л., когда то имевшая переплет (уцелели следы кожаного корешка), в 126 листов с рядом вырезанных листков (14), что впрочем лишь в двух местах дало перерывы текста. На первом листке, теперь заменяющем обложку, надпись: „Вл. Короленко. 1887 и 1888 г." Шифр В. 17. Это — первая рукопись в значительной степени утратившая характер „общих тетрадей" и посвященная более всего систематическому дневнику Нижегородского периода; записи идут с 9 марта 1887 г., кончая январем 1888 г. Она печатается почти вся. Общие приемы редакционной обработки указаны выше; перерывы текста, сделанные из'ятия и перемещения всякий раз отмечены в примечаниях.

6. Тетрадь в 1/4 л. в твердом коричневом переплете. На ярлычке надпись: „Заметки. Год 1888, 1889, 1890 и 1893". Шифр В. 18. В тетради 85 л. и сплошная нумерация 1—179 стр. Несовпадение об'ясняется несколькими вырезанными листками. Она составляет продолжение предыдущей, но с перерывом в несколько месяцев, ибо первая запись здесь

помечена 13 июля 1888 г. Способ обработки ее для печати однороден с только что описанной.

7. Тетрадь обычного формата в твердом пестром переплете, на ярлычке которого написано пером рукою В. Г. Короленко: „Заметки. Год 1893 (продолж.) Влад. Короленко". Шифр тетради В. 19. Кроме того, на переплетном ярлычке имеются пометки синим карандашем: „II" и „III". В тетради 300 линованных страниц. Авторская нумерация (пером) доведена только до 239-й страницы, на которой заканчивается текст (газетной вырезкой). Текст начинается на первой странице тетради под заголовком: „1893. (Продолжение)", под датой 18-го марта словами: „Довольно обстоятельно повздорил с „Русской Мыслью"... и ведется до 22-го июня, после чего наступает перерыв до 1-го ноября 1893 г. С этого числа записи возобновляются под заголовком: „Опять в России" и ведутся до конца 1893 г. (Последняя запись: „Под новый год умер Гайдебуров"). В тетради имеются помарки и исправления и следы вырезанных листов. Из этой тетради здесь печатаются записи по 24 мая включительно. Дальнейшее содержание дневника 1893-го года вошло в следующий II-й том.

В виду того, что в дальнейших тетрадях дневника имеются авторские перечни содержания, Ред. Ком., сохраняя их, решила составить подобные же оглавления и для тех частей дневника, где их не хватало.

К дневнику приложен алфавитный указатель имен.

Март 1924.

ДНЕВНИК

1881—1893

1881 год *

27 августа

Пароход дал три слабые свистка и колеса стали работать тише. Пароход делал поворот: нам предстояло пристать к берегу для нагрузки дров. Я вышел на палубу.

День был светлый, но по небу ходили большие холодные тучи, порванные ветром. По широкой реке то и дело пробегали холодные тени, над волнами вставали белые хохолки пены. Берег, к которому теперь боком приставал пароход, был своеобразно-дик и пустынен. Совершенно белый песок, обмываемый холодной рекой, сверкал на солнце; сажени за две от уровня реки он подымался крутым обрывом; весенние разливы оставили на нем заметные следы. Далеко вдоль реки валялись на песке вымытые с берега и поваленные „карчи", обвитые старой травою и мохом. По мере удаления, в перспективе они рисовались на белой отмели красивыми причудливыми узорами, а еще далее сливались в странную сетку, пестрившую дальние отмели. Над обрывом торчали высокие стволы лиственницы, елей и сосен. Не было видно никаких признаков деревни или поселка, только по берегу стояли клади нарубленных дров.

* Запись относится к тому времени, когда Владимир Галактионович, отбывавший ссылку в Перми, был оттуда выслан (11 августа 1881 года) в Якутскую область за отказ принести присягу Александру III. Он пересылался с двумя жандармами на пароходе по Оби, и запись впечатлений 3-х дней этой поездки (27—30 августа) составляет этот хронологически первый дневник (см. „Ист. Моего Соврем." т. IV, гл. I). Описание рукописи см. в статье Редакционной Комиссии (1).

Мы вышли на берег, пока происходила грузка. Место это носит название Лямина бора*. Действительно,—убогий белесоватый тальник сменился на этом берегу высокими деревьями. Но в этом месте собственно бора уже не было. Вместо него, на далекое расстояние виднелись старые пни, остатки прежнего леса. Между ними стлался беленький мох и листья брусники. Кой-где еще торчали отдельные „лесины", рисуясь бледною зеленью на бледной холодной синеве неба. Дальше деревья становились все чаще, и наконец, глаз встречал вокруг уже действительный бор.

Весь пейзаж, с темной рекой, схваченной белыми песками, с бледной зеленью и бледным небом,— носил какой-то особенный, сибирский отпечаток. Тихо, грустно и бледно, точно все это недорисованный или поблекший ландшафт великого мастера или недоконченная работа творца. В бору не было слышно ни стука дятла, ни голосов птиц. Он стоял безмолвно и, казалось, ожидал первых ударов зимы, чтобы замереть окончательно.

Саженях во ста от берега виднелась одинокая избушка. Здесь живет сторож или нечто в роде подрядчика, занимающегося поставкою дров. Из более отдаленных деревень наезжают лесорубы и под его руководством рубят и складывают дрова в клади. Сам он теперь возил дрова на маленькой тележке и кидал их с обрыва, чтобы было легче брать их на пароход.

Мы подошли к избушке. Около нее валялись во мху опрокинутые „нарты", в роде саней, только с высокими копыльями и легче. На жердочках сушилась на ветру рыба. Старое заржавленное ружье кремневка висело на стенке. В окно виднелся самовар и несколько детских головок.

* Станция на Оби, близ Сургута.

Дверь избушки приотворилась и из нее выглянул мальчик лет 7-ми, с бойкими черными глазами и загорелым лицом. Он не был похож на дикаря и повидимому наше присутствие его не удивляло. Он только предложил нам следить за собой.

— Как-бы вам,— говорит,— чего здесь не украсти.

К берегу между тем приплыла лодка; приехал продавец рыбы, которая плескалась в маленькой лодке, налитой водою и затянутой сеткой. Сам хозяин ушел на пароход торговать, а у лодки остался работник, парень лет 18. Он сидел на лодке у берега, свесив ноги в воду. Коты, в которые он был обут, были велики и очевидно не способны были охранять его ноги. Мне самому стало холодно при взгляде на эту несчастную фигуру. Одет он был в какой-то серый халат, подпоясанный тряпкой; шея была обернута старою шалью, на голове — старый порыжелый картуз. Лицо у него было совершенно красного цвета, как у человека, который прозяб до костей; а между тем повидимому он пренебрегал холодом до такой степени, что не считал нужным высунуть ноги из холодной воды. Или ему было лень пересесть?... Сидел он неподвижно, как будто прислушиваясь, как холод проникает в самые кости. Когда вышел хозяин, он тихо поднялся, вяло отдернул от карчи тонкую бичевку, поддел ее на плечи, и поливая песок из своих громадных лоханей-котов,— поплелся берегом и потянул на бичевке лодку с хозяином и с рыбой. Хозяин сидел в лодке и только правил сзади маленьким весельцем. Долго еще, пока мы грузились,— мелькала по далекому прямому берегу между темными карчами эта вялая озябшая фигура, тащившая против воды хозяйскую лодку. Наконец, одна из туч, разостлавшись по небу, разорвалась над бором и сыпнула мелким холодным дождичком. И река, и дальние берега, и озябшая фигура потонули во мгле...

30 [августа]

Третьего дня, рано утром, мы проехали мимо Сургута. Это небольшой городок, населенный здешними сибирскими казаками, пользующимися очень дурной репутацией. Окрестное население—остяки. Поселенные здесь служилые казаки, чуть не единственные представители высшей культуры, и это развило в них чрезвычайное самомнение. Березовские и сургутские казаки, находящиеся в одинаковых условиях,— известны, как народ в высшей степени заносчивый, самомнительный, грубый. Кроме того, так как Сургут не представляет никакого поприща для предприимчивости и труда,— то единственное средство существования для казака долго представлялось исключительно в казенном „пайке", который прежде выдавался ежемесячно. Это обстоятельство оттенило и без того непривлекательный портрет сургутянина-служилого чертами беспечного тунеядца.

— Ну, народец,— говорил мне хорошо знакомый с ними пароходский служащий.— Хуже последнего остяка. Стянуть с тебя ни за что, нахвастать, напиться,— его дело и только...

Сургут расположен в 7 верстах от берега и видеть мне его не пришлось. Это чуть не самое северное место нашего пути... От Сургута Обь поворачивает к северо-востоку. Когда мы выезжали из Тобольска,— там было еще довольно тепло. Когда-же я вышел на палубу у Сургута,— погода ясно говорила о самой поздней осени. Ветер гудел в снастях, как несытый зверь в зимнюю вьюгу. Тучи заволокли все небо. Часам к восьми пошел даже снег.

А через неделю в Томске мы опять встретили еще, как говорят сибиряки, теплые и светлые дни.

Теперь мы уже „в остяках". По берегу кой-где виднеются маленькие избушки, стоят лодки, раскиданы сети.

Утром пароход пошел тише. Мы вышли на палубу, чтобы узнать причину остановки. Был порядочный ветер, по Оби ходили волны. За пароходом они бежали грядами, прыгая и пенясь. Под самым почти бортом парохода промелькнула лодка. Поровнявшись с кормой, она вдруг нырнула промеж волн, накренилась, подняла нос, затем мелькнула кормой и вдруг точно прилипла к бежавшей за кормою лодке. Три остяка примкнули к нам на ходу парохода.

— Рыба давай!—кричали они весело, взбираясь по канатам, между тем, как их душегубку швыряло и било волной.

Пароходские рабочие смотрели смеясь на смелые эволюции остяков,— молодые, очевидно еще новички, удивлялись, а опытные лоцмана смотрели на это зрелище равнодушно, как на нечто обычное. Остяки пристают даже к пассажирским пароходам на полном ходу.

Рыба была куплена за бесценок. Стерляжья уха на троих обошлась нам в 10 копеек.

— Винцо, винцо нет-ли?— спрашивали остяки. Они были одеты легко, но повидимому не чувствовали холода. Роста они были небольшого, лица темноватые с широкими скулами, с косыми глазами, плоские. Черты их точно приплюснутые. А у одного молодого парня нос вовсе отсутствовал, что служит, даже помимо пинжака, в который он нарядился, явным признаком довольно близкого знакомства с некоторыми сторонами цивилизации.

Через четверть часа они опять сели в свою лодку и мигом отчалили. На мгновение их закрыла пена и брызги, но через минуту их легкая лодочка стояла уже за грядой волн и взмахивая, точно крыльями, лопастями весел, поджидала баржу. Когда последняя, отбивая широкою грудью прядавшие на нее волны, поровнялась с нею,

подымая целый ад брызгов и пены,— бойкая лодочка опять юркнула в волны и точно впилась в корму баржи. Нам казалось, что она опрокинулась, что три фигуры барахтаются уже среди пены и волн,— но вот они уже [в] кормовой лодке и весело вытаскивают свой товар. За косушку водки они отдают охотно всю свою рыбу. На пароходах, где есть буфет, остяк, распродав рыбу,— тотчас-же идет угощаться. Шатаясь сходит он в свою лодочку, шатаясь усаживается в нее и отвязывает бичевку. И никто не помнит, чтобы пьяный остяк потонул. Всегда благополучно вынырнет его лодочка и стрелой пускается остяк домой в свою избушку, откуда пароход увлек его иногда за 10—15 и более верст.

Во время грузки дров я смотрел остяцкие лодки. Одну из них я легко приподнял руками: ее нетрудно было-бы унести на себе, и действительно, остякам приходится иногда таскать на себе свои судна. Лодки эти— долбленные из цельных стволов (кажется из ветлы) узки и чрезвычайно неустойчивы. Борта их в средине подымаются над водою не выше вершка. Тем не менее остяк смело пускается на ней в самую большую волну. В крайнем случае, когда волна расходится уж слишком сильно,— они погружают свои весла целиком в воду, увеличивая таким образом поверхность и силу упора. Как только пролетела волна, гребцы вдруг взмахивают веслами и мгновенно опять погружают их в воду, упираясь в широкую грудь новой волны. Весла их небольшие, сделаны очень изящно и напоминают лист какого-нибудь водного растения. Сходство дополняется еще тем, что они выдалбливают в лопастине большое стержневое углубление.

Тихий, смирный, бессильный и добродушный народ. Они дают нам за бесценок свою рыбу, а мы привозим им на своих пароходах и рассылаем с сургутскими

казаками—цивилизацию, хлеб, водку и сифилис. Говорят от этой „французской“ (как ее называют в народе) болезни мрут сибирские остяки шибко.

30 [августа] в 6 час. вечера. Вартовский бор (Верхний)

Высокий оборванный рекою берег. Внизу песчаный пласт, резкой прямой линией отделенный от верхнего напластования характера торфяного. Наверху над обрывом мелкие сосенки, елки на болоте. У корней разостлался душистый багульник (багун в Малороссии).

На берегу остяцкий шалаш из жердей и бересты. Он защищен сплошной берестяной стенкой от речного ветра и примкнут открытой стороной к оврагу. Холодно; утром шел уже снег. Между тем здесь в шалаше живет семейство: остяк с женой и с грудным ребенком. Шалаш, совершенно открытый с одной стороны, разделен на две половины; в другой половине помещается одинокий старик. Разведено два небольших костра. Жители шалаша варят ужин.

Мы собрались, с любопытством рассматривая внутренность этого своеобразного жилья. Мы все одеты тепло; а остяк, приехавший с реки,— снял кафтан и оставшись в одной рубахе и портах, снимает еще сапоги и босой садится на земле, как будто в избе на теплой печке. Ребенок тоже повидимому не чувствует холода. Внутри шалаша виднеется самовар и несколько вязок кренделей, на жердочке развешена вяленая рыба.

Я вступил в разговор со стариком. Он спросил — нет-ли белого хлеба, взамен за рыбу. Живут они здесь одиноко, вдали от всякого жилья.

— Амбар * — там,— указывал он рукою вверх по реке. Сам он из Тымского, нанялся с весны до морозов за 20 руб. сторожить дрова. Живет в шалаше. Не холодно**.

* Амбаром остяки называют русскую избу.

** На этом дневник в тетради „Пермь-Иркутск“ обрывается.

21-е число*. То-есть день, когда в нашу далекую Амгу приходит почта. Это случается только раз в месяц, поэтому понятно, отчего я то и дело взбираюсь на верхушку своей юрты и прислушиваюсь к чуткой тишине морозного вечера.

7 часов. На небе стоит полная луна, сверкают холодным блеском звезды. Вверху ясно. Ни облачка на светлом холодном небе. Но скоро и луна и звезды потонут в густом тумане, который внизу уже ползет на Амгу вместе с крепнущим морозом. Он покрыл уже стоящие кругом на горах лиственницы и разлился по лугам и, как сказочное чудовище, захватывает и глотает одну за другой бедные юртенки Амги.

Амга еще не заснула. Она во всеоружьи становится навстречу морозу. Из всех труб подымаются громадные белые столбы дыма. Целая рать их, точно привидения, клубится и слегка колышется в воздухе. Сквозь оконные льдины переливается свет камельков. Огни то и дело вспыхивают сильнее, и тогда целые снопы искр неистово кидаются из труб в морозный воздух и скачут, вертятся, трещат и беспомощно гаснут, охваченные жестоким морозом. И один за другим тонут эти столбы огня и дыма в сером беспощадно холодном тумане.

Все исчезает от глаза. Зато ухо чутко ловит малейший звук, гулко несущийся откуда-нибудь из под каменных

* Рукопись на двух отдельных листках бумаги. Год и месяц не указаны, но несомненно, это зима 1881—82 г., первая которую В. Г. переживал в Амге Якутской обл., куда прибыл 1 декабря 1881 г. Только вначале отбывания в Амге трехлетнего срока своей ссылки он жил в юрте, а затем перешел в избу Захара Цыкунова. Описание рукописи см. в статье Ред. Ком. (2).

утесов, стоящих над замерзшей рекою... Вот выстрелила треснувшая льдина, стонет озябшая лиственница, в тайге залаяла лисица. А вот в другом конце слободы скрипнула дверь, и затем понеслись какие-то странные звуки. Снег точно громко вскрикивает от боли, потом протяжно визжит и стонет, точно жалуясь на горькую судьбину, и опять отчаянно вскрикивает и вновь стонет с шипящими тяжелыми вздохами. Раньше, когда я в первый раз еще слышал в слободе эти звуки,— я долго не мог понять их значение и, признаюсь, странное, щемящее чувство невольно закрадывалось в сердце. Теперь я знаю: это хромой якут костыляет на своей деревянной ноге...

Но чу!.. Далеко, далеко как будто звенит колокольчик. Звякнул раз, другой и замер. Потом посыпал опять тихой, но частой малиновой дробью... Да, это он. Между горами, глубокою падью мчится из города почтовая тройка...

Я ухожу в юрту. Я знаю, что почта еще очень далеко, а между тем дыхание трещит, и пар, вылетая из уст, немедленно стынет на морозе.

Через полчаса яркий звон заливающихся колокольцев овладевает встрепенувшейся ночью. Какие прелестные звуки. Право, я думаю, тот не умеет ценить музыки медного колокольчика, кто, подобно мне, не слушал его с верхушки юрты, в темный морозный вечер... Вот он как-то разом становится гулче, разливаясь вширь и ввысь до самой луны, заглушая и покрывая своей медной трелью все эти визги, стоны и хрипы. Слышен уже и бег тройки: вот коренная отбивает частую рысь, вот скачут по бокам пристяжки, и визжат по снегу полозья саней.

Почта в'езжает в слободскую улицу, и слобода встречает ее*.

* Здесь вместе с концом страницы запись обрывается, без всякого знака препинания. Возможно, что дальнейшая часть рукописи утеряна.

1884 год *

Из Якутска мы выехали 23-го к вечеру **. Между Титаринской станцией и Батамаем путешествие в лодке на веслах. Переправлялись на правый берег Лены и там я рисовал (скалистый берег). Ранее на правом берегу— Тойонарымская станция — в пади между каменными уступами, стоящими сплошной стеною. Вверху — возвышенная равнина и кое-где на самом краю каменной стремнины виднеются изгороди пашен. В некоторых местах камни расступаются, образуя узкие пади, со всех сторон сжатые скалами. Весенние потоки нанесли сюда чернозему и зеленеет трава. В таких падях ютятся якутские юртешки, а порой и домик поселенца. Но видно трудно дается здесь борьба с суровой природой. В одной из таких падей ямщик указал нам пепелище. Несколько лет назад здесь была „заимка" поселенца-поляка Скупчинского. Поляки вообще являются здесь любителями земледелия. Пан Скупчинский вспахал склоны гор, нагородил изгородей и стал сеять. Каковы были плоды этих усиленных тру-

* Записи в книжке небольшого формата, на обложке которой стоит „Якутская область". Эта книжка служила В. Г. во время его возвращения из Якутской ссылки в Европейскую Россию в 1884 г. Записи дневника здесь чередуются с отрывками рассказа „Станочники". На трех последних страницах книжечки карандашем наброски долины реки Лены, по которой лежал путь В. Г. В этой же книжке позднейшим почерком занесены биографические данные, которые вместе с дневником впоследствии явились материалом для IV тома „Ист. Моего Совр.". Описание рукописи см. в статье Ред. Ком. (4).

** Из дальнейшего ясно, что число относится к сентябрю.

дов,— видно из того, что, побившись несколько лет, пан Скупчинский зажег свою юрту, порубил изгороди и побросал их в огонь, а сам ушел на прииска. Теперь на его пепелище якут воткнул колья своей незатейливой юрты и его коровы щиплют траву на брошенных пашнях поляка*.

Ат-Даванская станция стоит на высоком берегу. Узкая тропинка, извиваясь между камнями, ведет с берега на гору, к станку. Зимой нет в'езда к станку и коней приводят и запрягают на берегу. Незнакомый с этими местами человек мог бы проехать мимо и не подозревая, что саженях в десяти над ним находится целая деревня. Только один крест, стоящий на краю могилы, склонился над стремниной, да на берегу угрюмой Лены бьет прибоем две-три лодочки, причалы которых завалены камнями, так как в каменную почву нельзя вбить кола, чтобы привязывать лодку.

На ст. Мархачанской начинается Олекминский округ. Мархачанцы, говорят, отказали землемеру „в стакане молока" (полагать надо молоко тут—метафора) и поэтому он написал им 26 (кажется) верст, между тем как настоящее расстояние тут более 30-ти. Тоже можно сказать и о расстоянии между Чекурским ст. и Русской Речкой, где расстояние обозначено 31½ в., между тем как мы ехали этот станок порядочной рысью — более 5-ти часов. Тут я потерял свою книжку с рисунками**.

На ст. Наманинской писарь Стукальский дал письмо родственникам в Томск.

* Эпизод этот послужил материалом для II гл. рассказа „Государевы ямщики" (т. XI наст. издания).

** В этой книжке В. Г. подробно записывал впечатления обратного пути, условия жизни якутов, зарисовывал, иногда на сильном морозе, сибирские виды. После он не мог уже восстановить эти записи и сильно жалел о пропаже книжки. Об этом эпизоде см. т. IV гл. XXXVI „Ист. Моего Совр."

Около границы Олекм. и Якутск. окр. на пространстве нескольких станков,— вовсе нет якутов. Гористые берега не представляют удобных мест даже для якутов, поэтому правый и левый берег Лены представляют пустыни. Вдали — бродят лишь таежные тунгусы (орочоны). Тем не менее — на станках здесь население живет несколько лучше, чем в других местах, так как среди этих гор и падей они единственные хозяева и потому земли и покосов у них все же несколько больше, чем в других, занятых якутами, местах. Здесь и постройки лучше, и нравы русского населения, язык, даже наружность — сохранились неприкосновенными.

За то за ст. Наманинской мы увидели уже целое поселение якутов, первое в этом роде, какие мне пришлось видеть. Это деревня Харо. Здесь якуты живут не в юртах, а в амбарах, * при них не видно хоттонов **, есть даже небольшая церковка; виднеется много пашен. Вообще якуты здесь очевидно перешли к оседлому быту, оставили скотоводство, как главное занятие, держат более лошадей, чем рогатого скота и занимаются земледелием, а также поставками на прииска.

На последнем станке перед Олекмой — Солянке — курьезный спор ямщиков, в результате которого нам дают 4 лошади с 4-мя санями и двумя проводниками. Хоть это и неудобно для них и для нас, но так оно выходит по очереди!

4 Октября прибыли в Олекму.

16 октября

Из Олекмы в 3 часа — 17 верст. Дордусовская — 20 в., Берденская — 25 в., Бирюцкая — 22½ в.

* В избах.

** Хоттоном называется отделение при юрте для скота.

17 октября

Черендейская—32½ в., Неленская—21 в., Кочегарская—20 в., Дельчейская—22 в., Инняхская—19¾ в., Березовская—22 в., Точильная.

18 октября

30 в. Нахтуй (Мача). (251¾ верст от Олекмы).

19 октября

30 в. Жедайская.—23 в. Каменская (Ушакан).

20 октября

21 в. Тинная.—19 в. Жерба.—36½ в. Турухтинск. и Нюя.

Между Нахтуем и Жедайской ст. едем под крутым береговым откосом. Слева бурлит река, сшибая быстро бегущие льдины.

„Лисица!" кричит передовой ямщик. Действительно, на встречу, вдоль берега, бежит большая чорнобурая лисица.

Сзади, как то тяжело и глупо гонится за ней большая дворняга, выбежавшая за нами со станка. Лисица очевидно понимает свое критическое положение — слева крутой берег отделяет ее от тайги — справа река, сзади вспугнувшая ее собака, а впереди, гикая и растопырив руки несутся кучей ямщики и казаки. Хитрый зверь бежит неторопко, не разгоняясь и не напрягая всех своих сил,— в постоянной готовности воспользоваться первым случаем. Собака озадаченная шумом, останавливается и в тоже мгновение лисица, прошмыгнув между нею и ближайшим ямщиком,— пускается обратно уже во всю прыть. Еще с пол-минуты видно, как она несется между камнями и льдинами. Дворняга попрежнему тяжело и как будто недоумевая бежит за нею... ямщики начинают перекоряться... „Вот она перебежала где,—указывают они уже на горе след, пересекающий дорогу. Дворняга стоит тут-же, уныло смотря на чащу.

В другом месте на сплошной бело-желтой массе движущейся шуги виднеется какой-то черный предмет.— Лисица на льдине!— кричат ямщики.— Батюшки, черная!— Нет, ворона!— решает другой.— Какая ворона! Слепой...— Козуля!— вскрикивает наконец один более зоркий. Действительно среди столпившихся неровных льдин густой шуги можно уже ясно разглядеть красивую черную козулю с выгнутой тонкой шеей; ее несет почти по середине реки, и она, осторожно переступая на своих тонких ножках тихо подвигается к нашему берегу, пользуясь всяким случаем, когда быстро бегущие льдины спираются гуще, чтобы переступать с одной на другую. Все мы с большим участием следим за нею, пока наконец она не исчезает чуть заметной точкой на повороте реки... Шуга несется мимо с тем же сухим треском и шумом...— Звери загнали!— говорит один из ямщиков.—А может и сама надумала,— говорит другой.— Мудреннаго нету. Шуга густая. Теперь от того берегу идут они. Когда лисица плывет, когда козуля. Притрет льдину к заберегу, она и выскочит *.

Перед Жербой верстах в четырех от Тинной ст.— граница Якутской и Иркутской губ. Ямщик показал мне эту границу у громадного каменного утеса. На другой стороне реки несколько ниже подымается над рекой такая же каменная сплошная стена **.

Шум.

— Отчего у вас такие споры? Неужто между собой не можете разобраться.

* Этот эпизод послужил материалом для аналогичной сцены в рассказе „Мороз“ (См. т. XI настоящего издания).

** Против данного абзаца, на полях рукописи пометки чернильным карандашем, почерком последних лет жизни писателя: „Граница“ и немного ниже—„Споры“.

— Такая наша обязанность ямщицкая.
— Неужто обязанность — ругаться?
— Ничего не поделаешь.

— В церковь то ходим-же,— на свечку несем. Ну, так и к исправнику все равно. Несем.

— Берет?— Берет.— А не пьяница? — Ну, выпить выпьет, да дела не забывает.

Собеседник задумывается.— Берет, да дело делает. Это хорошо.

— Новости это у нас. Лет 15 началось опять, как в старинку. А между этим временем — не смели. Шипицын исправник был — Муравьев генерал-губернатор. Тогда этого не было. А после опять пошло. С писарей, с голов, да и так с кого попало — давай. Только и знают: давай, давай, не ладно все. Ну дашь — и наладится. (Измайлов горный исправник раскрыл злоупотребление). (Нюя).

21 окт. — 30. Салдыкой

На Нюе большие споры.

— Как же быть-то нам, сами подумайте. Нынче год-то какой! Этакого году старики не запомнят. Весна холодная, прямо сказать: 15 мая отсеялись только. Ну, сначала ничего,— всходы пошли,— радовались мы: мол — Господь хлебушко дает. А он показал, да и отнял. Ударили дожди. Ну, и ударили дожди, и пошли, и пошли, да не то что летние дождички, а прямо сказать ливни. Гор не видно, пыль!.. Хлеб и пошел расти. Растет, растет, вымахал с народ ростом,— а зерна нет. А там — подсада пошла, и пошла, и пошла — как шелк. А в июле — мороз. Колосья-то и побило. Кто с умом — взял да выкосил — по крайней мере коням корм. А я признаться

понадеялся, может подсаду Бог доведет. Да где! Подсохла она — опять мороз. Солома одна. Да что: проведрило маленько,— накосили сенца,— опять дожди! Господи! река взыграла, речки тоже — грянула вода. Поплыло сено по Лене вниз... Горе.

— Вот видите! А он тут со сбавкой.— Возьмите, говорим, во внимание ваше благородие: год какой!

— Знать не хочу! Найду подрядчиков без вас!— Что ты с ним станешь делать? (Каменская ст.)*.

— Просим: так и так-мол. А он и говорит: ты, старик, помнишь,— сколько в доселешные времена получали:—250 ассигнациями — говорю.— И жили ведь отцы-то.— Мох, говорю, Ваше-бл-дие, ели, да сосну жрали.— А ноне ты в сапогах ходишь?— В сапогах, говорю, Ваше-бл-дие.

— То-то-же! (Ibid).

Приехав на Салдыкой,— ямщик, воспользовавшись тем, что мы вошли на почтовую станцию спросить десятника, бросает нашу кладь на улице и уезжает. Я иду разыскивать десятника. Нахожу его в юрте. Спят. Бужу и спрашиваю: где поставлен наш товарищ, приехавший ранее.— Не знаю,— отвечает десятник сонным голосом.

— Не знаю! — передразнивает его жена, очевидно привыкшая „давать в доме порядки".—Оболокайся, розыщи! А то — не знаю!

Десятник, ничтожный мужиченко в рваном зипунишке выходит со мною и мы отправляемся разыскивать Ромася**.

* Против данного абзаца, на полях наискось чернильным карандашем, поздним почерком отметка: „Горе".

** Михаил Антонович Ромась, товарищ В. Г. Короленко по Якутской ссылке, выехавший из Якутска несколько ранее, в это время также возвращался в Россию.

по сонной деревне. Никто не знает. В одном месте слышатся песни, идет гульба. Там говорят, что — мол один проехал за пески. Идем туда, таща тяжелую кладь на себе, около полуверсты.

За песками все спят. Десятник указывает квартиру, а сам уходит искать Р., который точно канул в воду. Мы входим в избу. Темно. Зажигаем свою свечку. Пустая изба. Ободранные стены, в окнах рваный и грязный пузырь. Виднеется — одна дверь. Заперто извнутри. Не знаем, что делать.

Дверь открывается и в ней показывается изможденное женское лицо.

— Кто тут?

— Десятник на квартиру поставил.

— Ах язва! Чего делают. Я говорила ему,— не примаю.

— Почему? Да нам ничего не нужно, только самовар да квартиру.

— Так что. Вишь, чего делают. Мужику моему дают волю пьянствовать, да мотать... Вот, придет, меня-же из-за вас колотить станет.

— Да он у вас буян, что ли?

— Как не буян! Видишь ты: известно,— выше лба глаза никогда не живут, а все ниже. Хоть будь того лучше жена,— а он все куражится.

— Ну, как-же быть? Самовар-то нам с холоду нужно, да и квартиру тоже. Дело ночное.

Кой-как улаживаемся,— в передней избе. Самовар поставлен.

Изможденная женщина оказывается очень добродушной. Черты рано увядшего лица сухи и тонки, с печатью заботы и беспросветного горя: „думаешь, думаешь,— от думы от одной сохнешь. Дети ведь; а он все пьет да из дому тащит". Но улыбка этого изможденного

существа приятна и глаза по временам смотрят как-то даже по детски.

— Вот ноне с Терешкинского станка жена с поселенцем сбежала. Ну, я так располагаю, что не с ума она это сделала, а с глупости. Лучше-же пускай он меня дома решит, так по крайности от мужа предел приму. А то — прости Господи! с поселенцем сбежала. На поди!

Ночью, мы уже спим, когда нас будит шум. Кто-то суется по комнате, роняя стулья и ворча. Я зажигаю спичку и вспыхнувший огонек освещает большую фигуру в громадной бараньей шапке, из под которой торчит длинный нос настоящего пьяницы. Благоверный стоит в недоумевающей позе, расставив ноги и поводя тусклыми глазами. Моя спичка помогает ему найти дверь и через минуту из-за нее слышится перестрелка супружеской беседы.

22 октября

24 [версты]—Батамай, 20 в.—Мугурьяринская, 25 в.—Махтуя.

Между Салдыкоем и Батамаем.

Дорога бором. Мимо мелькают красные стволы стройных сосен. Снег опушил их,—лежит пучками на густой зелени. Слева кой-где меж стволов чернеет крутой горный берег Лены.

Впереди, у дороги курится дымок. Под'езжаем. На куче наломанных сосновых веток лежит человек. В головах небольшая сумка. Глаза закрыты,— поза изнеможенного тяжелым путем человека.

Этот роздых среди снегов у струйки дыма в лесу, в 11-ти верстах от деревни производит странное впечатление.

— Это что за человек? — спрашиваю я.

— Это? С приисков надо быть. Третьего дня, помню у нас ночевал. Вот доколе дошел.

— Что ты? Ведь тут от вас всего 11 в.

— Верно, 11. Да вишь тихо идет. Увечный. Ноги эво-как раскорячены.

— А далеко-ли идти то ему?

— Не знаю,— кака-то Манзурская волость.

Не менее 1000 в.!.. А он идет верст по 6 в сутки.

— Вот оно золото чего делает. Надо быть в забое ушибло, али от воды ноги отнялись,— равнодушно говорит ямщик.— У нас он и ночевал-то; хотел дрова рубить, да не рубил... *

Мы давно уже уехали, но перед моими глазами все еще мерещилась между стволами синяя струйка дыма и эта темная фигура обреченного на скорую гибель человека... Так гибнет на морозе отсталая, обессилевшая птица, тоскливо следящая взором за свободным полетом своих вольных товарищей, между тем, как кругом видны предвестники грозной зимы.

— Еще ладно ему: тепло ноне стоит долго. Хватит мороз — живо замерзнет право,— коментирует ямщик, растирая на ладони листок махорки... **

23 октября

31 в.— Терешкинская, 23 в.— Коньки, 25 в.— Хамра.

На Терёшкинской станции встретили мы огорченного супруга, о жене которого говорила баба на Салдыкое. Нам случилось стоять у него на квартире. Встретил нас мужик лет 45, плотный, с топорной фигурой, с широким лицом. Рыжеватая борода торчала клочьями врозь, глаза несколько слезились. Мы поздоровались.

* Против данного абзаца, на полях, позднейшим почерком пометка В. Г.: „Золото."

** Этот эпизод является одним из основных моментов в рассказе „Мороз".

— Откуда едете?

— Снизу.

— Не слыхали,— там бабу с поселенцем поймали?... При этом вопросе,— из соседней комнаты вышли старик, довольно повидимому древних лет, и старуха, с подвижным сердитым лицом,— и оба насторожили уши.

Мы не могли сообщить ничего.

— Видите: прямо сказать — с этого дому она и убежала.

Огорченный супруг встал со стула, отпер дверь и поманил меня за собой. Мы вошли на другую половину. Через небольшую светелку виднелись просторные комнаты, очень порядочно обставленные, — с запертыми ставнями.

— Смотрите: от какого дома бежала,—указывает супруг и садится налавку. Он, повидимому подавлен и еще не свыкся с своим положением. Голос его звучит глухо и в нем слышится нота, как будто просящая не столько о сожалении и участии,—сколько о признании его собственного достоинства.

Я начинаю расспрашивать.

Жили они вместе лет 13. Ей лет около 30,— красавица.

— А поселенец?

— Поселенец — известно, что уж. Поселенец и есть.

— Хорош собою?

— Может-ли он быть хорош,— презрительно говорит огорченный супруг.

— Чем-же он ее опутал?

— Да уж кто их знает. Говорится пословица: полюбится сатана...

— Молод он?

— Молодой-то молодой, да что толку: черноглазый, да горбоносый, тьфу!

— И волосы кудрявые?

— Кудрявые, да черные,—точно цыган, прости Господи. Родом хохол. И ведь вот не ждал никогда: сынишка

есть... любила она его — страсть. Раз поселенец тут играл да палкой неловко попал, бровь рассек,— так поверите — чуть не умерла, так убивалась. А тут и его бросила...

— Ну, и следов никаких?

Он оглянулся.— Сказывают за Мачей, в двух с половиной станках на горной стороне поселился. Дороги жду — по дороге поеду сам...

24 октября

25 [верст] — Половинная, 25 в.— Песковская, 28 в.— Крестовская.

Приискат. песня:

Зажурився чумаченько,
Що в кармане ни гроша
Сидит, хлопает глазами,
Как голодная сова.
Пил и водку и вишневку
И наливку выпивал,
А теперя прокутился
И в полицию попал.
От полиции откупился
Своим медным кошельком
И осталося в кармане
Три копейки серебром...
Я на первую копейку
Куплю трубку с кисетом.
На вторую я копейку
Куплю пачку папирос,
А на третью я копейку
Найму тройку лошадей.

25 октября

28 в.— Веледуй, 29 в.— (Романовская) и Витим.

Перед Веледуем встречаем почтовую пару, гужем. В просторной кошеве лежат 2 фигуры. Ямщики меняются и поэтому нам и встречным проезжающим приходится

перемещаться. Они подымаются. Первым встает дюжий мужчина лет под 40, хорошо одетый, с виду похожий на ухаря-купца или прикащика. Он тычет своему товарищу недопитую бутылку водки и пока тот начинает тянуть из горлышка,— сам подходит к нам.— Откуда, господа?*.

— Из Якутска, такие-то. А вы?

— Я? Я Бурмакин, слыхали, может, про меня.

Бурмакин известный спиртонос и его имя действительно гремит далеко.**

— Не слыхали-ли, господа, там в Якутске... я вот послал ребятам в замок письмо с деньгами. Получили-ли?

— Нет, не слыхали.

Его ребята — целая партия спиртоносов, выдержавшая отчаянную схватку с отрядом казаков в тайге. При этом 2 или 3 казака было убито, несколько ранено; была захвачена целая „уйма“ спирту и арестовано несколько человек, в том числе один черкес, товарищ Бурмакина.

Этого черкеса мне довелось однажды встретить в пути.

Я ехал из Ирк. в Як. Моими спутниками были два воина. На одной из станций, куда мы приехали под вечер,— мы расположились отдохнуть и напиться чаю. Когда мы сидели за столом,— одного из моих спутников отозвал в другую комнату почтовый смотритель, и между ними завязался оживленный разговор, из которого до меня доносились только отдельные слова: золото... едет один... скоро будет... отчаянный... вот бы!.. Не говорите!.. Ах, ты Б-боже мой.

Воин вернулся к столу весь красный и очевидно сильно взволнованный. Не успел он налить себе стакан

* На полях, против данного абзаца, отметка карандашем поздним почерком: „Встреча“ и ниже—„Бурмакин“.

** Бурмакин выведен в рассказе „Феодалы“. (См. т. XI наст. издания).

чаю, как под окнами быстро забился почтовый колокольчик и через несколько секунд наружная дверь отворилась. В черном квадрате резко выделилась высокая фигура, в чекмене, папахе и оленьих высоких камосах. За поясом виднелся чеченский кинжал, в узорных ножнах.

Увидав неожиданно военные мундиры,— черкес как будто вздрогнул и инстинктивно подался назад,— но это было только одно мгновенье. Затем он оправился, сдвинутые брови разошлись, и он развязно вошел в комнату.

— Здравствуйте, господа! Откуда едете?

Завязался странный разговор. Собеседники как будто щеголяли друг перед другом самой утонченной любезностию, но при этом коротко остриженные волосы военного человека как будто нащетинились, лицо налилось кровью и взгляды напоминали взгляды цепной собаки, рассчитывающей — не коротка ли цепь, чтобы кинуться на добычу. Черкес владел собою превосходно. Он только держался на некотором приличном удалении, играл рукояткой кинжала одной рукой, а другую опускал в карман, следя за своим собеседником сухим, быстрым и блестящим взором. А из другой комнаты, прописывая подорожную, — смотритель тянулся на стуле и ободрял воина жестами и взглядами.

Жандарм встал и потянулся.— Жарко здесь...— и он вышел на двор.

— Вэрно!— сказал черкес и последовал за ним, но через минуту они вернулись опять рука об руку. Жандарм чувствовал себя как буто под караулом и когда наконец долго тянувший обычную процедуру смотритель,— подал черкесу подорожную и тот вышел,— воин глубоко вздохнул. В этом вздохе слышалось и сожаление об улетевшем куше и как будто облегчение.

— Что же? Эх вы!— укорял его смотритель, когда ретивая тройка промчала черкеса мимо окон.

— Жизни решишься,— махнул рукою воин.

— Да ведь вас двое с оружием.

— А он без оружия что-ли? У него вот в возке баба как сова на золоте сидит и та небось как пушка заряжена. И ведь как увязался дьявол — не отстает ни на минуту, на руки так и смотрит.

Долго еще после этого, в пути оба мои спутника расчитывали сколько бы им пришлось за „накрытие". Цифра выходила порядочная и поэтому разговор на эту тему длился всю ночь.— Вы бы, Семен Федорыч, его справа, вот этак.— Да, справа!.. А он бы меня левой рукой вот этак! Это разве человек,— это дьявол!... К утру оба согласились, что тут действительно — решишься своей жизни,— и махнули рукой.

— Катит теперь, заливается. А до Иркутска доедет, лови щуку в море.

— Китайцам продаст.

— Да уж не иначе, что китайцам.

— Э-эх!...

Теперь этот самый черкес сидит где-то в остроге, но вероятно не надолго *.

Мы проехали уже мимо Романовской станции, мелькнувшей двумя-тремя огоньками на голом и диком утесе. Дорога убийственная: кошовку кидает по торосам **, кованные полозья скрипят и визжат, наезжая на камни. Темно и тихо. Только вверху шумит тайга,— слева река несет льдины, да по берегу — далеко-далеко горит пламенем большой огонь, кидая красный отсвет на окружающие

* Эти впечатления, встретившиеся автору по пути в сибирскую ссылку, впоследствии явились материалом для рассказа „Черкес". (См. т. X настоящего издания).

** Большие глыбы льда.

снега, на черную глубь Лены и даже на дальний остров. Но вот по берегу все чаще и чаще попадаются большие барки, шитики. Мы в'езжаем по удобному взвозу на берег и сразу оказываемся среди целого города барок всякого рода, величины и формы. Прекрасный барочный лес лежит в порядке,— вообще видны следы кипучей работы. Дальше идут домики.

— Виска это,— барки строют здесь. А вот это лабазы для муки. Для прииску все. Отсюда на Потайбу на барках посылают масло, хлеб, мясо,— всякие припасы.

Еще далее — двухэтажные отлично построенные дома. Кое-где светятся еще огни,— в окна видны занавески, зеркала. Это жилища служащих. В них идет тихая, отходящая ко сну, довольная и сытая жизнь.

А вот на площадке, освещаемой тем же заревом, только клубящимся тут-же под горою,— стоит громадная фигура какого-то российского Федота или Ивана с огромной суковатой клюкой, в нелепейшей овчинной хламиде—фигура—очевидно оберегающая эту приисковую сытость.

— Что за огонь это?— спрашиваю я у ямщика.

— А это землю оттаивают,— копать будут,— отвечает он, направляя коней на отлично построенный из нового лесу широкий и удобный мостик.

Мы опять едем тайгой и на ее верхушках все еще виднеются отблески далекого огнища. Мы забываем, что не далее получаса нас метало по огромным камням на узкой дороге, под дикими скалами. Отсюда до Витима — проложена прекрасная ровная дорога,— с мостами по одному образцу, гладкая, широкая.

Видно это не дикая якутская Мача.

А вот и Витим.

26 октября

21 [верста]—Чуя (на той стороне).

На Чуе подрядчик Шувалов снял почтовую гоньбу. За крестьянами осталась обывательская (500 р.) и конечно междудворная. Крестьяне озлоблены. Они гоняли ранее почтовую гоньбу сами; но потом отказались гонять за 2000, предложенные начальством. Тогда начальство подыскало подрядчика и сдало ему за эту цену.

— Нас вот штрафами одними как одолевали. Чуть не записного ямщика послал — глядишь — штраф да штраф. А у него вот поселенцы, бродяги возят — ничего!

Тоже и относительно экипажей: за крестьянами смотрели строго, чтобы лодки, экипажи, сбруя были в порядке и полностью, а Шувалов „почту что-есть на розвальнях доставляет".

— Да, вот они начальники-то!— говорит один из крестьян. И помирают, так на земле не остаются: как заседатели, как исправники, как губернаторы, все равно: положите его в домовище, он и пойдет скрозь землю, и пойдет, земля их никак не доржит. Не угодны Богу... хоть они и говорят: нет будто Бога. Врут!...

Живут без гоньбы—земледелием и подрядами на прииска,— доставляя туда по Лене барочный лес.

— Война, говорят: вся пушнина стала. Прежде вот белка была 25 коп., а ныне по 10—12 не берут. Соболей по 20 р. не берут на круг.

— У нас войны нету.

— С нашим то царем нету, а вот англичанин, да китаец, да француз.

— А пушнина от вас в Китай что-ли шла?

— Как не в Китай! Вот белка красная, вся ему идет...

27 октября

24 [версты] Рысьинский. 24 в. Паршинский. 19 в. Солянка.

Между Чуей и Рысьинской — встреча с писарем.

Между Рысьинской и Паршиной — серные ключи и больница.

Мы проехали верст 13 от Рысьинской станции.— Эво кто-то пешком идет,— говорит мальчишка ямщик.— Писарь шуваловской — вскрикивает другой.— Да как это он,— в одной рубахе и без шапки?

Все изумлены. Действительно через минуту мимо наших остановившихся одиночек пробегает фигура, без шапки и рукавиц, в сапогах и красной блузе. Писарь свернул немного в снег посмотрел на нас каким-то мутным взглядом и быстро зашагал далее. Лицо у него побито, изо-рта течет кровь. Пока удивленные ямщики пришли в себя,— он ушел уже около сотни сажень.

— Догнать надо,— воротить!

И старший из ямщиков соскакивает с облучка и бежит за писарем. Видя, что между ними завязался спор и писарь оказывает сопротивление,— я приближаюсь тоже. Двое мальчишек бегут за мною.

— Что тебе нужно? Ты это по какой например причине меня тащишь?...—говорит писарь, упираясь в камни ногами...— Ты мне не сват, не брат... имеешь-ли полное право?...

Но у ямщика свои резоны.

— Конечно-что... А между прочим—мы будем в ответе... Ты например застынешь, а мы почему тебя не воротили... отвечай из-за тебя... Это как...

— Пусти!

— Не-ет — говорит ямщик, ободренный нашим приближением.—Лучше-же я тебе еще надбавлю, а уж не пущу...

Писарь сдается. Он пьян; сильно озяб, руки у него закоченели. Ямщики завертывают его в кошму, покрывают сверху другой и мы едем.

По горам крутит снег, резкий ветер бежит сверху по Лене. Писарь, запевший было песню, издает какие-то взвизги и наконец звонит только зубами. Я предлагаю ему шубу.

— Благодарствуйте... а впрочем, сидя-то оно знаете — хуже... потому что пробирает сильно...

Он натягивает шубу.

— Извините, господин... в таком положении: все эти разбойники — ямщики шуваловские, ограбили вот, избили... это какой закон? Хотели совсем убить...

Верстах в 3-х на снегу лежит его шапка, пальто и небольшие салазки.

Оказывается однако, что шуваловские ямщики на этот раз явились защитниками угнетенной невинности.

По приезде на станок писаря встречают всеобщим сожалением, что он там не околел.

— Мало ребята наклали ему... дураки. Дитю малую в экой мороз везти на салазках. Есть-ли крест у тебя. Варвар!...

Оказалось, что спасенный нами писарь поссорившись с любовницей, с целью повидимому жесточе досадить изменившей возлюбленной, схватил четырехлетнюю девочку и повез ее, в одних легоньких сапожках... На Витим хотел увезти.

Теперь он похваляется напиться крови своей Дульцинеи.

— Верно. Завтра кандалы надену...

Дульцинея обращается к окружающим крестьянам, прося засвидетельствовать и поставить караул. Я подхожу к одному из них.

— Слушайте. Почему-же вы не сделаете с ним чего нибудь. Ну, отправьте его в Витим что-ли. Ведь он может убить ее.

— Не наше дело, господин. Еще-бы: они Шуваловские — промеж себя содомят, а мы отвечай: не может быть.

В конце концов,— расходившегося писаря уводит какая-то бабенка с мужем, при чем, для большей убедительности играет с ним, ласкаясь и обнимая его повидимому очень привычными жестами. Другие бабы,— принявшие явно сторону любовницы — тотчас-же стаскивают в избу ее пожитки и прячут их.

Огорченная Дульцинея начинает чувствовать себя центром всеобщего внимания, разнеживается, лежа на хозяйской постели и испускает целый поток жалоб, перемешанных с очень циничными излияниями.

— Пу-щай,— говорит наконец она, томно закрывая глаза...— Ежели он моей добродетели не чюствует — может еще вши голову-то с'едят...

28 октября

23 [версты]—Курильская, 29 в.— Дубровная, 19¼ в.— П.-Быковская, 17 в.—Частых. Шувалов гоняет 5 станков: Чуя, Рысья, Паршино, Солянка, Курильская.

Между Солянкой и Курильской опять серные ключи. Солянка богата солью. Кроме того соляные ключи в Ичоре (?) *.

От границы Алекминского округа до Витима — народ „чистый, щеголеватый", держатся с достоинством. За Витимом изменяется. Женщины за Витимом похожи на... **

* Против данного абзаца, на полях ранним почерком, рукою В. Г. написано: „Примеч." и затем вдоль страницы бегла я, мало разборчивая запись дорожного разговора.

** Неразобранное слово.

Ниже Дубровной в 4-х верстах — Бачинская Телка. Пьяный Бык — выше на 1/2 в. станции того-же имени.

29 октября

26 в.—Иванушкинская, 26 в.—Мутинская, 23 в.—Ичера и Мутинская дер.

30 октября

31 в.—Дарьинская, 20 в.—Ильинская, 23 в.—Ларинская, 25 в.—Шишнякова.

31 октября

28 в.—Горбовская, 26 в.—Алексеевская.

Между Вишняковой и Горбовской,— селение Чечуйское, в котором волостное правление.

На П.-Быковскую ст. мы приезжаем ночью. Деревня находится на другой стороне и теперь отделена от станка ледоходом. На этой-же стороне под горой стоит домик, где живут ямщики и устроена временная почтовая станция. Ее одинокий огонек мелькает на фоне густой тайги. Рядом в большой яме горит огонь, валит дым, по временам обливая красным светом дикую окружающую картину.

Ночевать здесь неудобно. Ямщики сами предлагают ехать далее,— но нам предстоит одна из худших станций на протяжении всей Лены. Уже давно по сторонам нашего пути, то справа, то слева в реку вдаются массивные каменные громады, под которыми приходится пробираться по кучам навалившихся камней или по голому гладкому льду. Это так назыв. „щеки“, или по местному — быки. Летом, когда вода стоит высоко,— эти быки торчат прямо из воды, на поворотах быстрой Лены, как-бы поджидая тяжелые неповоротливые барки и неуклюжие плоты. В 4-х верстах ниже ст. Дубровной мы проехали мимо

так назыв. Бачинской Телки, о которую некогда разбились барки купца Бачина. Теперь нам предстояло взбираться на хребет Пьяного Быка. Название это, под которым он известен очень далеко, утес получил с тех пор, как „забодал“ целый транспорт спирту. Разбив вдребезги барку, изломав бочки,— которые носились вокруг него по волнам, бык выкупался в хмельной влаге и с тех пор за ним утвердилось имя — Пьяного.

— Трудно ехать-то, господа — обратился к нам ямщик,— придется выходить, на угоры-то здыматься...

— Скоро-ли?

— Да и сейчас вот, тоже угор... саженях в 50-ти.

Он выпустил лошадей во весь дух, но пробежав на под'ем сажень 10,— лошади остановились и кошовка стала катиться вниз. Мы вышли.

Узкая дорога круто подымалась вверх. По бокам шумели деревья. Вечер был темный. Укатанный снег скользил под ногами и еще затруднял без того нелегкий под'ем.

Вершины растущих внизу сосен давно уже стали вровень с нашими ногами, а дорога все еще идет на гору, теряясь в темноте. Снизу, торопливо брякая колокольцами, взбегают лошади,—каждую минуту останавливаясь и тяжело переводя дух.

Наконец мы на вершине утеса. Луна еще не взошла, небо заволочено мглою. Влево, далеко внизу, чернеет широкая темная излучина реки, между белыми, покрытыми снегом заберегами. Над нею несется густая мгла заволакивая высокие горы противоположного берега. Справа шумят лиственницы и сосны. В эту сторону с пади в падь, с горы на гору — идет дикая, необитаемая непроходимая тайга.

— Беды,— говорит ямщик, отирая вспотевший лоб.

Наши спутники — спиртонос и отставной чиновник подходят снизу.

— Бывают тут у вас несчастья?— спрашиваю я.

— Как не бывают? Этто лошадей что есть на лесинах вешали. Горячего коня как тут удержишь... а разбежится — на повороте то прямо на лесины и вскочит — бывало это... не дай Господи.

— Да, тут один „горный" во весь мах на тройке спускается...— раздается в темноте резкий голос спиртоноса.

— Какой горный?— спрашиваю я.

— Ну... „Горный"—сами догадывайтесь,— инженер...— насмешливо об'ясняет спиртонос...

— Не к ночи помянуть,— робко добавляет ямщик и пугливо оглядывается на тайгу. В тайге тихо... точно кто настораживает чуткое ухо. Только временами по верхушкам протянет верховой ветер, да снизу из под скалы доносится треск. Это бык балуется, разбивая вдребезги набегающие на него льдины.

— Да,— продолжает спиртонос, как-будто бравируя, важно катался бывало с горы с этой... рассказывали мне старые ямщики. От колокольцев гром на 3 версты. Всполошатся все—ждут—не начальник ли... Никого и нету.

— Да,— тихо добавляет ямщик,— а то бывало бежит под быком лодка на пяти веслах,— так мимо гольца струю и режет. Выбегуть встречать — никого!..

— А теперь — бывает это?

— Меньше... а между прочим — куда девается?...

Действительно — куда девается. Где же и проживать еще темной, нечистой силе как не здесь, в диких расселинах,— где слева бурлит пучина, а справа стоит неведомая лесная дичь. Сойди в сторону версты на 3 и уже забредешь в чащу, гда не бывало ноги живого человеческаго существа. Только далеко, далеко по горным

речкам бродит дикий тунгус, для которого каждая лесина трепещет своей особой жизнью могучего и злобного фетиша.

— Ну, садитесь, с Богом!— приглашает ямщик до нового под'ема или слишком крутого спуска; по отлогостям лошади бегут бойко и колокольцы взапуски, как то крикливо и гулко, будят в падях чуткую таежную тишь.

А вот и спуск... Дорога узкой полоской теряется в темной пади. Выходим из саней и идем вперед, пока ямщики тормозят сани, перевязывая полозья веревкой. Кой-где то и дело падаем и подымаемся, а сзади упираясь ногами, скользя, падая под коней,— ямщики употребляют все усилия, чтобы сдержать рвущихся лошадей. Спуск оказывается для них еще тяжелее под'ема. Три таких пади пересекают нашу дорогу на расстоянии 17 верст.

4 ноября

Из Киренска.—$31^{3}/_{4}$ [верст] Заборье.— 18 в. Макарьевская.— 22 в. Потаповская.

5 ноября

14 в. Красноярская. $17^{1}/_{2}$ в. Улькон. 21 в. Марковская. 23 в. Назаровская. 23 в. Суховская.

6 ноября

24 в. Какуй. 22 в. Подымахинская. 27 в. Якуранская. 18 в. Усть-Кут.

7 ноября

16 в. Туруцкая.—17 в. Банная. 18 в. Рига.

8 ноября

18 в. Омолой. 23 в. Боярская. 20 в. Скокнинская.

9 ноября

22 в. Тарасовская. 17 1/2 в. Орлинская. 20 в. Басовская. 20 в. Дядинская. 15 в. Суровская. 17 1/4 в. Головская. 18 в. Шаманская. 19 1/2 в. Закаменская. 20 в. Грузновская.

10 ноября

27 в. Усть-Илгинская. 30 в. Жигалово.

С Усть-Илги—Верхоленский округ (граница между Грузновской и У.-Илгинской).

Чем ближе к Иркутску — нравы населения портятся. Уже не слышно уверений: „никто не тронет“,—„кому нужно“ и т. д. Напротив,— сами ямщики не советуют оставлять „бутори“ на станке,—„народ, мол, здесь со всячинкой“...

На Банной станции ямщик вносит в ямскую мешок,— сосед молол на своей „колотовке“—в виде соседской услуги.— „Как же мол... по суседски... Друг об дружке, а Бог за всех“... Открывает мешок,— и в нем оказывается одна мякина, да и то овсяная, почти без признаков муки. Ямщики хохочут. Удружил соседушка. Не зевай!... Начинаются рассказы об этом самом суседушке.—Из поселенцев эдакой-то редко попадется.

Особенно негодует один старик, лет 80, с совершенно черной бородой и очень бодрый. Он называет нас приятелями, расспрашивает куда и откуда едем, радуется за нас,—вообще „проявляет“,—как мы говорим в подобных случаях —„искру“. Он широко распространяется на тему о стыде, совести, о душе и Боге.

— Пешней* бы всех... туруцких этих да и банных тоже...— желчно произносит молодой парень, ставящий к огню свой чайник. Очевидно этот ямщик из более или

* Пешня—железный лом.

менее отдаленной деревни.—Плут плута надул,— добавляет он, когда обманутый мужик удаляется со своей мякиной.

— И верно, что плут плута... Это справедливое слово.

Начинаются разоблачения об ушедшем.

— И ты хорош,— шипит обличитель,— когда и старик, вежливо попрощавшись с нами, выходит.— Верно, что всех вас, с краю, пешней бы, варваров... Небось, заходил вот посмотреть,— нельзя ли вас к себе зазвать, да чайком попоить... как поселенцев тоже...

— Это зачем же?

— А затем,— такое его дело: этто поселенцев сколь о с ы м а л. Зазовет к себе: Ах, вы бедные, ах, вы несчастные. Заходите ужо — чайку попить. Ну, он и идет к нему,— думает на чести. А напьется,— тот и пристанет к нему: о н д а й за чай, да ондай за чай. Лонись * поселенца беднягу всего осымал. Блузу взял, да бродни. Вот он какой. Еще поселенцы то смирные: не пожгут его сукина сына...

Здесь уж не только не предлагают „хлеба-соли", как в других местах,— но даже за ночлег требуют плату и спорят, что мало. За то народ — чисто русского „новгородского" обличья, говорят по-русски без примеси инородческого наречия, только шепелявят: „шештой", „ражговаривать" и т. д.

Обстановка избы—напоминает северные избы вологжан, архангельцев и вятичей: полати с брусом, большая широкая печь, зыбка на длинном гибком шесте.

В Михайлов день пришлось заночевать на Скокпинской станции (Макаровской волости). По деревне идет гульба.— „Помочишку составили,— лодки вырубать из торосу"— а у соседей праздник настоящий.

* В прошедшем году.

В избу входит, покачиваясь, девочка лет десяти.

— Дуня пришла,—Господи! Да никак пьяна,—с веселым смехом окружают ее женщины хозяйской семьи.

— Девять рюмок выпила,— заявляет девочка...— у тятьки-то...

— Кто-ж тебя довез сюда-то?

— Кто довезет: сами пришли...

— Девять-то верст... Хлопуша!...

— Чего мне хлопать-то...

Девочка берется за виски... Очевидно хмель взял свое и бедный ребенок не протрезвился еще, не смотря на девятиверстное путешествие по глубокому „убродному“. свеже-павшему снегу.

Ее расспрашивают, находя повидимому довольно естественным, что ее хорошо угостили.

— Ну... да как не напьется... чать у отца была... не у кого... Чем же тебя подчивали?..

— Аладьям, мясом, дрожжалкой, крупой, да яблочком (картошкой), да рыбам, да пирожком...

— Хорошо же... А кто вино подносил?

— Да матушка и подносила...

Мы вмешиваемся с осуждением подобных угощений ребенку, и разговор тотчас же принимает тенденциозный оборот.

— Ну да такое дело... Рано будто.

— С этих пор напивается... Когды же худая баба будет,— иронизирует хозяин.

— А мне-ка чего не пить... даровое подносят...—говорит ребенок очевидно хорошо заученную фразу.

Глаза девочки потускли, подвелись синевой,— пухлое круглое личко посинело и осунолось; на нем виднеется страдание,— но она крепится, топчется, пошатываясь по избе, в своих неуклюжих „чирках“ напоминая большую

бабу, только в миниатюре... А молодые невестки, красавицы в самом русском стиле, только-что без кокошников,— ходят за ней и благодушно хохочут грудным мелодическим смехом...*

— Шапку потерял,— вваливается в избу пьяный зобач, с белыми льняными волосами...— Шапку соболью обронил...

— Ну, да у нас ты без шапки был.

— Верно, что без шапки,— подтвержают все.

— У кабака надо быть обронил... А какова шапка-то?...

— Шоболья...

— Ну шоболья, так уж „шмыли" небось...

— Шмы-ыли... чего толковать. А дорога-ли?

— По пятачку лапка... шчитай.

— Ну, прощайся... нечего толковать...

— Соболья,— дак прошшайся... Вон лонись у меня на штанку шубу сперли, 18 рублей стоила. Чего поделаешь...

— Нар-родец у нас — сентенциозно произносит зобач и вываливается за дверь вынося на подымающуюся к ночи метель свою белую лохматую голову...

11 ноября

21 [верста] — Пономаревская, 22 в. — Петровская, 19½ в.— Коркинская, 16 в.— Тюменцовская, 25 в.— Верхоленская.

Между Петровской и Коркинской шам[анский] камас.

14 ноября

Из Верхоленска—36 в., Качуг—24 в., Хорбутовская— 31 в., Большая Манзурка.

* См. эту сцену IV том „Ист. Моего Совр.", глава XL.

15 ноября

31 в.— Хоготовская, 29 в.— Баяндай, 25 в.— (?), 31 в.— Усть-Ордынская.

16 ноября

31 в.— Оёк, 12 в.— Хомутово, 23 в.— Иркутск.

Из Иркутска 18 ноября*.

* На этом дорожные записи В. Г. в записной книжке Якутской области прерываются. В архиве В. Г. не сохранилось никаких записей, относящихся к последней части его пути и к первому времени жизни в Европейской России. По возвращении из Якутской области В. Г. лишенный права жить в столицах поселился с семьей в Нижнем-Новгороде, где прожил 10 лет (с начала 1885 г. по конец 1895 г.). Дневник свой он возобновил лишь с марта 1887 года.

1887 год *

9 марта

Познакомился в Петербурге с Гл[ебом] Ив[ановичем] **. Впечатление от личности замечательно хорошее, но сильно „усложненное“ странным настроением, в котором он теперь находится. Это вообще „человек настроения“. При замечательной талантливости („гениальности“ — как говорит об нем Щедрин) — ум его недостаточно дисциплинирован, а образование не широко. Поэтому он часто натыкается на отдельные истины, которые его поражают новизной (для него) и потому вдвигаются в его миросозерцание слишком резко, нарушая перспективу, и становятся на время как-бы центром его мысли. Теперь он увлечен европеизмом, находя, что у нас напрасно считали Европу в корень обуржуазившейся. Там дескать о „правде“ и о народе и думают больше нашего и осуществляют лучше. Очевидно, в Европе он до сих пор не видел ничего подобного и теперь поражен открытием. Другая его идея теперь — это „газетность“ нашей жизни. Газета и преимущественно газета Нотовича *** является для него символом и квинтэссенцией всего канцеляризма, поверхностных писаний прожектов и лицемерных „бумажных“ забот о народном

* С 9 марта 1887 г. дневник ведется более систематически и последовательно в тетради, на обложке которой стоит надпись: „1887—1888 г.“. Эта тетрадь представляет из себя главным образом дневник, хотя такого названия нет на ней. См. описание рукописи в статье Ред. Ком. (5).

** Глеб Иванович Успенский (1840—1902). См. воспоминания о нем В. Г. в т. XXIV наст. изд.

*** „Новости“.

благе. Эти две „идеи“ теперь владеют Глебом Ивановичем всецело и ими он старается охватить чуть не всю жизнь. „Читайте Сюлли-Прюдома“,— „это все делает газета, газета!..“ Конечно, это односторонность и увлечение. Но зато она именно придает ту страстность, даже страсть, то горячее проникновение, с каким он и рисует данное явление, выслеживая своего врага во всех закоулках жизни. Вся система его воззрений шатка, противоречива, наконец,— неуловима. Но зато отдельные части в свое время всецело завладевавшие не только воображением писателя, но всей его душой,— согреты настоящим художественным проникновением (как „Власть земли“ например). Впрочем теперь он сильно исстрадался и устал.—„Вы счастливы,—говорил он мне,—ссылка позволила вам сохранить совесть. А мы, пережившие здесь эти подлые годы,— виновны уже тем, что пережили их, что остались живы и носим в душе подлое воспоминание. Это такое пятно, которого не вытравишь ничем.“ Нужно было слышать с какой глубокой искренностью, как просто это было сказано,— чтобы глубоко полюбить этого человека.

14 марта

На днях получил письмо от А. Т.*. Он пишет: „Во внешней и внутренней обстановке у меня все по старому — мозольно (!), серо, пасмурно и подчас до нельзя отвратительно. Видно такой уж мой удел, с которым я смирился, но подчас ужасно грустно бывает. А все потому, кажется мне, что нигде ни в ком и ни в чем я не вижу теплой души, искренней сердечности, чистой правды, а все фальшь и низкопробный грубый эгоизм...“ „В деле я забываюсь“,— пишет он дальше — „все время провожу в сообществе ямщиков,

* А. Томашевский — товарищ В. Г. по Петровской Академии, по прозвищу „Лишта“.

везущих меня и лесных сторожей, сопутствующих мне (с негодованием в душе) по дебрям уральским, где я как-бы забываюсь, плетясь с препятствиями по ужасным дорогам, или пешком или верхом на лошаденке. Так я провел все время с августа по конец сего февраля. Не больше недели, как в Уфе, а уже начинаю томиться. Или все ерунда на свете, или я такой остолоп, которого свет один раз родил".

Мизантропия и человеконенавистничество у бедного Лишты есть только оборотная сторона идеализации („хорошими" он считает теперь только трех человек и то ошибается,— потому что не видит в них ни одного пятна), тогда как нередко оптимизм имеет подкладкой скептицизм и критический темперамент. Жизнь состоит из света и теней, человек — смесь зла и добра. Зная зло, как данное — можно радоваться всякому проявлению добра и чувствовать себя поэтому хорошо. Наоборот, отправляясь от добра, как от данного,— приходится печалиться и горевать по поводу проявлений зла. Меня вообще считают настроенным оптимистически. Нет такого злодея, у которого не было-бы в душе божьей искры. Я их разыскиваю и радуюсь, когда это удается. Но и нет такого добродетельного человека, у которого не было-бы на душе изрядного количества гадости. Лишта поворачивает медаль этой стороной и это отравляет его настроение. Кто же тут пессимист, кто оптимист. Можно повернуть, как угодно: я подмечаю искры добра и радуюсь (оптимизм), но это происходит так, что я прежде признал зло и только на этом фоне для меня свет выступает еще ярче (стало быть отправная точка для меня—пессимизм). Наоборот, Лишта— страшный оптимист и идеалист (в обыденном значении слова, вернее — идеализатор) в точке отправления. Для него свет и добро — общеее правило, посылка. Понятно, что всякое пятно, всякий порок его режут и мучат.

На чьей стороне правда — ясно. Никого целиком не осуждать, ни перед кем не преклоняться. Сочувствовать всему доброму и любить все доброе даже в дурных людях. Бороться со злом без уступок, но вместе — как можно больше прощать—вот настоящая трезвая философия жизни. Я говорю „прощать", но не мириться. Прощать побежденного, но не мириться пока не побеждено дурное. Каждому дурному поступку, каждому дурному намерению необходимо противудействовать, но даже во время борьбы нужно помнить, что борешься с человеком, что, кроме той черты, с которой борешься, кроме того намерения, которому противудействуешь,— в нем есть другие черты, что и противник состоит не из одного зла. Воспитать в себе это чувство, суметь проанализировать и раздвоить чувство гнева, выделить гнев против данного поступка или намерения, от гнева против людей вообще,— это задача современного человека. Нельзя не противиться злу — как рекомендует Толстой, даже силой. Но не следует и воспитывать, раздувать чувство классовой и всякой другой ненависти одних людей к другим. Негодование против данного зла, поддерживаемого данными людьми — законно, законна и борьба с этим злом. Но ненависть ведет к мести, а месть преследует уже не данный только поступок, намерение, зло,— месть преследует самих людей, даже когда они отступились от прежнего. Сознания правоты дела и негодования против зла достаточно, чтобы дать силу на борьбу за свой идеал, на отстаивание его с опасностью жизни. Но ненависть к противнику, усиливающая пожалуй удары во время борьбы,— всегда портила дело свободы. Начиналось преследование не поступков и зла,— а людей и их мыслей. Создавалось мученичество и лучшие стороны человека восставали против торжествующей партии, боровшейся раньше за право

и переступившей пределы этой борьбы. Негодование против попирающих чужое право за это попирание — составляет этот предел. Ненависть против людей совершающих правонарушения — это уже ведет к переступлению предела. Раз цель сознана,— „удары противникам — великодушие побежденным". Это высокий девиз прежнего рыцарства; он осуществлялся и это доказывает, что мое разграничение ненависти и негодования не утопия. Ненависть усиливает удары, но без нее могут обойтись бойцы. Великодушие невозможно при ненависти, а оно необходимо. В борьбу, предстоящую нашему обществу, борьбу приближающуюся с роковой неизбежностию,—необходимо ввести этот принцип рыцарства. Это роль интеллигенции, даже так называемой революционной интеллигенции. „Нет ни безусловных злодеев, ни безусловно-добродетельных людей" — вот девиз, вот настроение, которое она призвана внести в борьбу. Те, с которыми вы боретесь,— должна она сказать народу — тоже люди, не злодеи. Исторические условия поставили их в это положение. Положение ненормально. Чувство человеческой правды возмущается, негодует. Хорошо — пусть борьба будет направлена на эти условия, а так как история действует посредством лиц, так как лица выступают на защиту ненормального положения — то придется бороться с лицами. Но не думайте, что нужно этих лиц ненавидеть, что это те — чудовища-аристократы, те вампиры, какими рисовали их Мараты. Нет, это люди, в которых теперь нашло опору данное зло, но в которых есть и много добра. Они любят, жалеют, они умеют умирать за свою идею (какова бы она ни была), как вы за свою. И не думайте также, чтобы вы и ваши были осуществлением добродетели. Вы тоже люди. Боритесь за свою идею, но не осмеливайтесь забыть человека в вашем враге.

Впрочем,— это уж я уклонился от первоначальной темы.

28 марта *.

Из Брандеса.

Описывая ландшафт, открывающийся с высоты одной из Богемских гор, Брандес говорит: Когда смотришь отсюда,— представляются два ландшафта: один под сводами (Prebischthor) с левой стороны, другой, открытый — с правой. Когда я сидел там в вечерние часы, первый ландштафт был суров, холоден и строг, а над вторым заходило яркое солнце. Первый был будто в минорном тоне, второй— в мажорном; первый был покрыт мраком, второй блистал и сверкал (стр. 282).

16 апреля **.

. . . . . Во всяком случае благодарю Вас за Ваше внимание и за Ваш горячий отзыв о моих работах. Позвольте мне, однако (совершенно искренно и помимо всяких соображений о скромности) — не согласиться с Вашей оценкой: до Толстого, Тургенева и т. д. мне, как до звезды небесной далеко и никогда мне не достигнуть их силы и полноты их развития. Не те у нас времена, не те условия. Художественный талант должен органически расти, отстаиваться так сказать, как чистый кристалл. С того времени, как

* Под датой 28 марта, 7 страниц дневника заполнены выписками из книги Г. Брандеса „Главные течения литературы XIX столетия". Темой этих выписок является романтизм. Здесь печатается (под 28 марта) только одна выписка, против которой на полях пометка В. Г.: „К Слепому Музыканту". В 80-х годах В. Г. с особенным интересом относился к Брандесу и много переводил его; в архиве писателя хранится тетрадь с его переводом „Главнейших течений литературы XIX века, часть III. Реакция во Франции". Перевод сделан с немецкого.

** Запись под 16 апреля 1887 г. является письмом к неизвестному лицу, вклеенным в дневник. Обращение и несколько первых строк этого письма зачеркнуты, а окончание написано на листках тетради дневника. Рассматривая его как страницу дневника Ред. Комиссия не переносит его в томы переписки.

человек сознает себя,— начинается постепенное наростание художественного темперамента, и оно должно идти непрерывно. Я же, хотя меня и называют „молодым беллетристом"— начинаю свою карьеру уже за тридцать (мне теперь 34 года) и хотя с детства я мечтал о литературе,— но после целый период прошел для меня в иных увлечениях, в иных впечатлениях. Это-бы не беда конечно, но дело в том, что в этот период я перестал даже „относить все явления к их изображению", что всегда инстинктивно делал раньше, и что, по верному замечанию Флобера, есть непременный признак художественного настроения. Среди замутившихся и так сказать „вихрящихся" условий нашей современности,— многие из нас подверглись тому-же процессу. Я знал очень многих и очень талантливых молодых людей, с сильными задатками художников,— которые направляли все силы души в другую сторону, а художественные инстинкты подавляли и глушили. Таким образом проходили полосы в жизни, которые нарушали целостность развития, и кристалл (возвращаясь к этому сравнению), получивший основание и верхушку, в средней части оставался аморфным. Теперь, когда я читаю могучие создания наших корифеев,— я чувствую, что ни мне и никому еще из нашего поколения не подняться до этой высоты. И кто знает,— роптать-ли на это. Брожение и муть в обществе — признак жизненной работы, и если эта ферментация трогает и разлагает отдельные таланты, отвлекая лучшие силы души в лучшее время жизни на путь, чуждый быть может зерну характера,— то это затем, чтобы в изменившейся среде вызвать современем к жизни и новые формы искусства. Таким образом исторический процесс, смысл и настоящая окраска которого пока еще не выступила ясно из-за временной мути,— требует жертв в виде отдельных художественных индивидуальностей для создания

нового и,— я не сомневаюсь в этом,— лучшего, более высокого типа и жизни, и самого искусства.

Несколько поколений, живших среди старых устойчивых условий,— дали известное накопление и физических сил, и сил душевных, так что когда пришлось выступать на борьбу с этими-же условиями,— первое „молодое поколение“ вышло в поход во всеоружии. Посмотреть только на Толстого, на Тургенева, что это за богатыри, даже и физически. А мы... Уже наши отцы жили в среде тронутой и неустойчивой; уже в них работала раз'едающая рефлексия; а мы дети этих тронутых отцов сами осуждены проводить лучшие годы среди наиболее сгустившегося мрака в общественной жизни, когда каждый шаг приходилось делать ощупью, каждый поступок обсуждать и анализировать. И нам не суждено дать из своей среды таких могучих талантов, как эти исполины искусства сороковых годов.

Даже в полголоса мы не напевали,
Мы горемыки-певцы,—

это сказано про нас, и сказано не даром. Наши песни, наши художественные работы — это взволнованное чирикание воробьев во время затмения, и если-бы некоторое оживление в этом чирикании могло предвещать скорое наступление света,— то большего честолюбия у нас „молодых художников“ и быть не может.

19 апреля

„Когда плохой поэт, говорит Гораций, не в силах ничего сделать, он начинает описывать рощу, жертвенник, ручей, вьющийся по зеленым лугам, шумящий поток, радугу“.

„В пору своей [старости] Попе презрительно смотрел на описательные опыты своей юности. Он высказывает положительное требование, чтобы тот, кто хочет достойно носить имя поэта, отказался как можно ранее от стремления к описаниям и сравнивал стихотворения,

не заключающие в себе ничего, кроме описаний, с обедом, приготовленным из одних соусов".

Мармонтель советует немецким поэтам своего времени: „из ряда образов лишь изредка перемешанных с чувствованиями, делать лучше ряд чувствований, кое-где перемешанных с образами". (Из Лессинга. Лаокоон. Перев. Эдельсона 1859 г. Москва. Стр. 116, 117, 118).

„Только двусмысленность слова (картина) обманывает иных и заставляет думать, что поэтическая картина должна непременно доставлять (готовый) материал для картины вещественной. Напротив, каждая отдельная черта, каждое сочетание нескольких черт, посредством которых поэт сообщает такую жизненность описываемому предмету, что он представляется нам яснее, чем слова, употребленные для его описания, составляют то, что мы называем поэтическою картиной, живописью в поэзии. Ибо этими чертами, поэт наиболее приближает нас к той иллюзии, к которой по преимуществу способна материальная живопись и которая прежде и легче всего ощущается при виде картины живописной" *.

„Живопись имеет дело с т е л а м и, т. е. предметами, которые сами или их свойства существуют друг подле друга в пространстве.

Поэзия имеет дело с д е й с т в и я м и, т. е. с явлениями, следующими одно за другим во времени.

Живопись, если изображает действия, то лишь посредством тел; поэзия имеет дело и с телами но лишь при посредстве действий.

Живопись где все представляется лишь одновременно, может представить один момент действия и потому должна выбирать момент самый плодотворный, из которого становились-бы наиболее понятными (и предыдущие и последующие.

Точно так-же поэзия, где все представляетя лишь в последовательном развитии может уловить одно какое нибудь свойство тела и потому

* То что мы называем поэтическими картинами, древние называли ф а н т а з и я м и..., а то что мы называем иллюзией, обольщением в этих картинах,— они называли энергией (некто из древних выразился: „поэтические фантазии, по причине их энергии,— суть грезы бодрствующего"). „Если бы, говорит далее Лессинг, наши учебники поэзии приняли этот термин и оставили слово картина, то мы избавились-бы от множества недоразумений. Поэтическим фантазиям никто не поставил-бы тесных границ вещественной живописи (как это сделал граф Кайлус относительно Гомера и Мильтона)". (Там-же стр. 99). (Примечание В. Г.).

должна выбирать такое свойство, которое-бы возбуждало наиболее живое представление о той стороне каждого тела, которая нужна для ее цели.

Отсюда вытекает правило о единичности живописных эпитетов и об умеренности в описаниях телесных предметов". (Ibid стр. 102 и 103).

28 апреля

Теперь, у меня есть рукопись человека, близкого к помешательству. Это сын причетника, не совсем грамотный, но очень начитанный (журнально) и ужасно горделивый. Он прямо об'являет, что жить ему невозможно, если рукопись не будет напечатана, и что он кого-нибудь убьет и сам убьется. Рукопись представляет громадный интерес, но лишь с психиатрической точки зрения,— тут вся сумятица последнего времени, вся буря идей, скептицизма, веры и безверия,— вторгшаяся в душу мало подготовленного человека (и притом наследственно-предрасположенного к сумасшествию). И вся эта буря бушует в этой несчастной душе, как в пустыне,— или вернее, как ветер в трубе в темную ночь. Мы читали громко,— и у всех разболелись головы. Мне приходит в голову мысль, что если-бы кто взялся приводить в систему и делать выборки из всего этого не попадающего в печать материала,— это была-бы в высшей степени благодарная и полезная работа. Здесь по большей части сказывается не художественная работа, а непосредственная боль, которая не дает покоя и требует исхода, побуждая этих авторов исповедать свои грехи и свое горе. Если бы накопить таких материалов лет за 15 — мы могли бы установить очень поучительную параллельность между литературой и этим ее подпольем. В литературу попадает то, что до известной степени обезличено, обобщено, возведено до абстракции, которая и делает произведение доступным массе читателей. Но настоящая, непосредственная боль — остается в портфелях редакций; настоящая история времени — именно здесь.

Лет пятнадцать-двадцать назад литература кипела, цвела и сверкала; теперь ее тон все опускается, краски бледнеют. Это литература печатная, растение выбившееся над поверхностью почвы. А почва—(те рукописи, о которых я говорю) — наверное соответствует этому расцвету и этому увяданию. В 70-х годах барышни например, наивно лепетали, делясь с бумагой своими мечтами о „герое", о „науке", о женском труде. А теперь те-же барышни так-же искренно и наивно описывают, как они „разочаровались", как тяжела нужда в столицах, как они принуждены выходить за „немилого", лишь бы выйти (третья рукопись такого содержания). А сын причетника, рассуждающий о Дарвине и Марксе, о царе и террористах,— не имеющий своего угла и хозяйства, бедствующий с больным братом, сестрой и матерью,— пишет, что он чувствует себя „не хуже Ваших знаменитых литераторов"— и грозит, что непременно убьет кого-нибудь из этих знаменитостей, если его не пустят в литературу*.

14 мая **

Не знаю, передали-ли Вам, как я о том просил,— мой поклон. Я приходил на пароход, вызвал конвойного

* Далее, под датой 29 апреля, следуют на 3-х страницах дневника выписки из совершенно бессвязной рукописи некоего В—кого, рядом с фамилией которого стоит со знаком вопроса: „Помешанный". После выписок приписка В. Г.: „Особенности слога, странные ассоциации", а на полях вдоль страницы: „Кто есть пустивый осла дивия свободна, узы его кто разреши?".

** Запись от 14 мая является письмом к Эвелине Людвиговне Улановской (впоследствии Кранихфельд), знакомой В. Г. по ссылке в Березовские Починки, Вятской губ. (См. „Ист. Моего Совр.", т. III, главу „Девку привезли"). В это время она следовала опять в ссылку, проезжая Нижний-Новгород. Начало написано на листке почтовой бумаги, затем обращение зачеркнуто, листок вклеен в дневник и окончание написано на листках тетради дневника. Повидимому В. Г. не мог послать это письмо и сохранил его как запись дневника.

офицера, просил свидания и не добился. Тогда я попросил по крайней мере, чтобы Вам сказали, что приходил Владимир Короленко и кланялся. Потом я вышел на берег, постоял, поглядел и стал взбираться на гору. С вершины крутого берега я еще смотрел на вашу баржу и вдруг увидел,— или мне показалось,— что в верхнем этаже баржи из дверей вышли несколько женщин и прошли к кормовой части. Вы это были или нет? В то время мне хотелось думать, что Вы были там. Я махнул несколько раз платком и мне показалось, что кто-то тоже махнул с баржи. Впрочем, у меня глаза плохие и более чем вероятно, что я адресовал свои сантименты фигурам конвойных солдат.

Мне нужно было домой, и я пошел, обещав еще придти хотя бы к отходу, и действительно приходил два раза. Если Вам слышна была с берега музыка и видны были во время отхода фейерверки, которые зажигались среди зелени на горе,— то Вы имеете приблизительное понятие о месте, где я стоял, думая о том, видите ли Вы меня из какого-нибудь оконца,— одну маленькую точку среди пестрой массы, толпившейся на гуляньи и глазевшей на Волгу. К десяти часам я опять подходил к тому же месту. Ваш пароход дал последний свисток, когда я еще подходил к откосу. И тотчас же Ваша баржа с пароходом отделились от берега. Не знаю, что Вы думали в это время, что Вам было видно. А мне с высоты была видна далеко внизу лежащая в темных берегах полоса реки, отсвечивающая каким то грустным светом, луга с неопределенно глядящими кое-где клочками поемной воды, заволжская даль, затянутая туманом внизу, тучей на горизонте. И по реке тихо откатываясь от берега, ползла какая то темная масса, неопределенная, широкая и тяжелая. Было заметно, что она состоит из двух

частей — одна тянула другую. Пароход вел баржу с боку. Дым тянулся из трубы, фонари плыли вверху, прикрепленные к невидным в темноте мачтам. Потом масса раздвоилась, одна часть с фонарем на носу явно стала опережать, вырезалась вся на речной глади, удалилась. Баржа отставала, отставала... Но вот расстояние между двумя темными предметами перестало изменяться. Мне показалось (хотя конечно я не мог этого видеть), что баржа дрогнула, будто темная паутинка натянулся канат — и баржа пошла за пароходом тихо, бесшумно и плавно... Только две чуть заметные черточки темнели на сумрачной реке, да дым, гонимый верховым ветром, забегал вперед парохода, да огоньки отражались, вздрагивая и волнуясь в воде...

Понемногу пароход и баржа как то таяли в темноте, уменьшались и задергивались туманом. Я смотрел на них долго, пока огонек еще блестел отражаясь в глубине, пока две точки маячили, сливаясь с темными очертаниями Фофановых гор. И во мне роились мысли о Вас, и о себе, и о толпе, которая шла мимо, все меняясь и оставаясь одинаково равнодушной к тому, что занимало меня. И все странным образом сливалось в моем воображении в общую картину, которую я не мог бы уловить определением,— так она смутна... смутна и неопределенна, как эта мгла, так грустно залегавшая на дальних лугах и так свободно охватившая вверху своими взволнованными очертаниями светлую лазурь ночного неба... Над самой тучей резко и ясно вырезался серп молодой луны, загорелись звезды, над чорным берегом тянул свежий ветер, липы на откосе шумели дружно и гулко,—а внизу плыла по реке баржа... Мне хотелось повернуться к толпе и сказать: Смотрите,— неужели вы не знаете, что эта баржа везет в Сибирь людей, которые смеют думать не так, как вы все, или не так боятся высказать то, что и вы быть может думаете?...

Теперь я сижу здесь и пишу, делясь с Вами тем, что я думал в ту минуту, как вы от'езжали отсюда, не подозревая моего присутствия,— а ваша баржа тянется теперь в темноте, по реке. И долго будет тянуться по Волге, по Каме. Я знаю эту дорогу. Через месяц еще я вижу такой же пароход и такую же баржу на далеких пустынных водах Иртыша и Оби. Счастливый путь, счастливый путь... А куда-то плывет общая баржа нашей общей русской жизни...

26 мая

СТРАННЫЕ СНЫ *

Я не знаю, что они означают, мои сновидения, но так как говорят, что сны имеют всегда реальное основание [в] действительности, то я считаю нужным рассказать несколько предшествующих, впрочем совершенно незначительных, обстоятельств.

Мы собрались с женой в деревню. Впрочем, я могу начать ближе, а именно с той минуты, когда поезд остановился на Канаевской станции и мы с женой вышли в зал I-го и II-го кл. Жена ушла в дамскую комнату кормить ребенка, а я пошел нанимать лошадей до К.**.

Перед вокзалом стояло несколько повозок. Ближе других оказался высокий мужик с длинной бородой, перешибленным носом и бегающими глазами. Звали его как оказалось Тимофей Васильевич. Он был ямщик и держал постоялый двор. Кроме меня на станции вышли из поезда чиновник с красным околышем и какой-то толстый господин чрезвычайно покладистого нрава. Услыхав, что

* Настоящий незаконченный отрывок набросан на страницах дневника карандашем, беглым почерком. На полях вдоль первой страницы записаны характерные народные выражения.

** Кузнецовка — имение А. С. Малышевой, сестры жены В. Г.

мне надо в К. и что чиновник дает не более рубля Т. В. пристал ко мне. Его телега на железном ходу, лошади лучше других, цена умеренная — 3½ за две подводы. Через несколько минут я с женой был уже в избе Т. Вас. и на столе стоял самовар.

Мои чемоданы увязывали на дворе.

— Ну, что, скоро готово? — спросил я, выйдя в сени.

— Готово то готово, да вишь неладно у нас с тобой.

— Что?

— Баба ругает меня... Оплошка вышла. Пассажиров то много...

— Ну?

— Дешево взял я. Видишь главное дело,— еще лошадь припрягать придется. Сундук тяжел.

— Ты на вокзале вещи смотрел.

— Смотрел, да видишь ты. Эх,— вот мои приятели с другими поехали, ей-Богу.

Он снял шапку и почесал в голове с видом крайнего огорчения глядя вслед проехавшему чиновнику и толстяку, на которых не обращал внимания на вокзале.

— Да ведь он поехал за рубль.

— Как за рубль?

— Так, я ведь слышал.

— Эх зря говоришь. Страсть не люблю, кто зря говорит. Ей Богу... Это мне, кто зря говорит,— просто и-и.

Он схватил с головы картуз и кинул об землю. В эту минуту проходила через сени его баба, старая некрасивая и довольно злая.

— Чего кидаешься!.. Шапки-то не жалко, что-ли? Эдаки цены с седоков брать, небось нову не на что купить будет...

Я чувствовал, что все это одна комедия,— и грубость ямщика, и притворная злоба бабы (они очень дружелюбно

совещались обо всем этом за минуту перед тем), но вместе с тем, я чувствовал также, что мне надо уступить. Ямщики раз'ехались, наши вещи все находились в избе Тим. В., мой ребенок плакал, жена нервничала...

— Тебе что-же нужно, говори прямо.

— Прямо буду говорить: полтинник! — решительно сказал ямщик.

— Ну, мне полтинника не жалко, прибавлю, а только это очень нехорошо: ты бы сказал на вокзале, а то заманил к себе, видишь, что ямщиков мне теперь разыскивать трудно...

— Не розыскать, ей Богу,— торопливо вставил Т. Вас.

— Запрягай.

В избе я застал еще двух посетителей. Оказалось, что изба моего хозяина нечто вроде постоялого двора и теперь два царицынских мужика кудластые и бородастые торговались с хозяйкой.

— Похлебать нам, двоим, да самовар.

— Ладно.

— А что например возмешь?

— 15 копеек.

— Что больно дорого?

— А дорого, ступай в друго место.

— А ты уважь хрестьянам. Ты вот с них подороже возьми, а с нас что взять (мужик кивнул в мою сторону).

Заметив, что я услышал разговор, хозяйка сердито прикрикнула на мужиков. Те сели на скамейку у стола.

Я чувствовал себя довольно скверно. Признаюсь, пароходные лакеи в грязных фраках и сомнительной белизны белых галстуках производили на меня более отрадное впечатление.

— Что угодно господин... Биток?... Сей минут-с.

Даже кондуктора с громкими возгласами — „билеты пожалуйте, господа, ваши билеты“ — все еще казались мне сносны. Когда я уходил с парохода лакеи, подобрав животы, наклонясь довольно грациозно вперед, выпячивали на меня подобострастные взоры, деликатно ожидая подачки. Кондуктор вкрадчиво наклонялся к моему уху и конфиденциально шептал:

— Дитю вашему ежели холодно,— затопить можно печечку... Конечно теперь по правилу не полагается, а все-таки можно для хороших господ.

И кондуктор в одно и то же время пояснял взглядом, что именно он разумеет под „хорошим господином“ и спрашивал действительно-ли я желаю таковым считаться. Хочу — хорошо, не желаю,— тоже хорошо. И все это культурно, деликатно, благородно. А теперь, выйдя с вокзала, я сразу почувствовал себя в другой, странной и шероховатой среде. Здесь меня сразу взяли в плен, требования пред'являли грубо и прямо, и не менее прямо заявляли, что меня рассматривают, как человека, обязанного платить больше по самому моему положению.

Хозяйка взяла с меня вдвое против хресьянской цены и мы тронулись в путь.

Большое село раскинулось на бугре на дороге.

— Это Ш.?

— Самая она!

— Сколько осталось?

— Верст 8.

— Значит, можно доехать без остановки. Будет к вечеру дождь.

— Нет, надо остановиться,—лошади устали. И ямщик без церемонии поворачивает к селу.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ 60-х ГОДОВ *

Афоризм:

„Всякая женщина у нас продажна, с той только разницей, что одна продается за полтину ou à peu près,— это . . . . . ; другая за обеспечение на некоторое время ее жизни,— это содержанка; третья за брак, приносящий либо воображаемые либо действительные выгоды,— это барышня или так называемая порядочная девушка. Согласие на брак со стороны барышни точно так-же не есть доказательство любви, как и согласие на . . . . . девки. И от той и от другой можно получить согласие домогательством".

Le coeur de l'homme jeune est un vase profond.
Si la première eau q'on y verse est impure
Une mer y passerait sans laver la souillure
Car l'abîme est immense et la tache est au fond **.

О Маколее ***.

„Что это такое, Господи! Словно в потьмах свечу зажгли! Где чудились безобразные дивы,— просто пустые углы; где ничего не было видно,— открылась роскошь и великолепие... Гизо **** перед Маколеем школьник, а Шлоссер***** просто немецкий дядько доброй нравственности, толстовский Карл Иваныч, который „был под Ваграм!" Маколей — это Кювье****** политической истории. Он первый подметил законы, по которым надо восстановлять прошедшее...

...Как ко всякой истине, так и ко всякому государственному постановлению надо п р и в ы к н у т ь. Политический переворот, сделанный не только по одному минутному увлечению, но и по одним началам

* Выписки из хранящейся в архиве В. Г. переписки 40—60-х годов А. Малышева и И. Павлова, найденной на чердаке деревенского дома зятя В. Г., С. А. Малышева.

** Сердце юноши — глубокий сосуд. Если первая вода, которую наливают в него, не чиста, целое море воды протечет и не смоет пятна, так как пропасть глубока, а пятно на самом дне.

*** Маколей—английский историк и политический деятель (1800—1859).

**** Гизо — французский историк и государственный деятель (1787—1874).

***** Шлоссер — немецкий историк (1776—1861).

****** Кювье — французский естествоиспытатель (1769—1832).

логики, помимо народных вековых привычек,— прочен быть не может. За акцией воспоследует реакция, за республикой — единодержавный деспотизм. „Английская революция была последней, потому что была обсужена и сделана большинством на основании (как казалось) положительных столетних законов; она не вышла из пределов давности"... Все эти истины — совершенная новость! Гизо об них не имеет понятия! Он принедлежит к числу адмираторов английской конституции, с ее двумя палатами, не понимая, что конституция эта потому только и хороша, что она английская, вся основана на вечно вчерашнем, вся в'елась в привычки народа".

„Русские беллетристы точно сын земли в борьбе с Герк[улесом]. Как только вышли из своего родного элемента — грязи и отрицания,— так и ослабели... оттого что литература ненародная есть аномалия; отрицание есть единственно доступная ее сторона. Между так называемым образованным классом и народом 150 лет назад легла бездна. Время не засыпает ее, а только размывает окраины. Чем же это кончится?".

7 июня *

НА ВОЛГЕ.

Опять толки старообрядцев и православных. Один нестарый торговец, в суконном картузе, сером пиджаке и сапогах бутылками, с очень приятным и умным лицом, обратил на себя мое внимание спокойным тоном и очень убедительной аргументацией.

— Нет, ты погоди,— говорил он горячившемуся раскольнику, с рыжей бородкой и раздражительным лицом.— Я тебя слушал, теперь ты меня выслушай. Почему мы считаем правильное перстосложение; потому что верим в святую животворящую Троицу. (Он сложил три пальца). Возьми три первые перста, знаменуя отца (он указал

* С 18 мая по 13 июня Владимир Галактионович был в поездке из Нижнего-Новгорода в Саратовскую губ. Запись от 7 июня сделана на волжском пароходе. Записанные здесь разговоры послужили материалом для рассказа „Груня". (См. т. XVI наст. издания).

большой палец) и сына и духа св. Вот которые у нас первые персты. А вот эти два: божество и человечество. А вы что делаете — первый у вас отец, а сына и духа вы на конце ставите. В середине божество и человечество. Я и сам прежде старообрядец был, да стал разбирать старые книги. Оказывается то же самое: разность. Феодорит говорит теперича: Один перст держи прямо, другой приклони: человечество склонилося перед божеством. Кирилл говорит: оба пальца протяни. А еще и так делают: — он показал три первые перста несложенные, а протянутыми одинаково.— Значит: — разность.

Он доказывал, что это обряд, что обряд дело неважное и что хотя он полагает, что логичнее складывать три первых перста, но что от этого спасение не зависит.

— Всякий человек зависит от своей жизни. Вот я, скажем, был старообрядец, слушал своего учителя, который учитель жил не в дальнем месте. 40 лет служил на государевой службе. Выслужил чин „его благородие", старик, 78 лет ему было. Я, говорит, 40 лет служил, а все вот как верую, значит и вы так веруйте. Ну, и слушались гордого человека. А после того пришла к нему смерть, по писанию, знаете сами: смерть грешнику люта бывает: вышел из кельи на порог, сейчас пал... Кончено. Дух вон! А после того племянник доказал, — сыновья убили, из за капиталу. Вот какая добродетель у них. Да!

Он признает, что преследования Никона ожесточали раскольников. Теперь они дробятся все больше и больше:

— Поморцев возьми: сейчас есть поморцы федосеевцы, поморцы беспоповцы. (Значит у одних попы (?) унесли будто дары в скиты). Теперь насчет брака вопрос: как совершать брак. „Да совершит отец с матерью". Другие

говорят: нет надо еще „венчалку“ одного, старика. Хорошо. А еще третьи, те так понимают, что в антихристово время брака нет, и стало быть который рождается младенец, то у него душа не от Бога,— а от антихриста. Слышите, какое слово: от антихриста, это у младенца-то! Хорошо это, посудите сами? Теперь, чтобы душу младенцеву очистить,— надо говорят отца с матерью развести врозь,— тогда младенец спасется. Видите: Христос у нас сказал: Бог союже, человек да не разлучает, а они что предписывают. Отчего? От невежества. И еще говорят: мать, чтобы не кормила грудью; пусть кормит млеком кравьим. Сами знаете,— если теперь младенец сложения деликатного станет хиреть, наконец того может и покончиться.

— Очень просто! — сочувственно подтверждают слушатели. Какая-то толстая мещанка глубоко и жалостно вздыхает: „чего придумают... над невинным младенцем-то. Господи!“

— А еще есть которые говорят: надо привести мать к купели и крестильной водой омыть груди... Всяко выдумывают в тайности... Про это не говорят, а говорят про двуперстное сложение... Тут дело не в этом!

Об антихристе:

— Говорят антихрист в мире находится, пришел. Как в писании сказано: св.....* говорит: злато и сребро и драгоценное камение будет вержено на землю и никто не польстится. А мы разве не льстимся? Ну, это они об'ясняют: говорят: злато и сребро истинного учения, старые книги... Пущай! Теперь возьмем другое: сказано, отвратимся от женской красоты, а мы что делаем: пуще

* Пропуск в рукописи.

прежнего прилепляемся,— которых нарядов наши бабушки и не знавали,— теперь мы теми нарядами жен украшаем, из-за моря выписываем. Говорят: Никон-антихрист, а то забывают, что антихрист родится „от девки от жидовки племя Данова"...

— Слышали, что говорит: ты аки дерево, или скотина, зверь (это я то-есть). Что-ж это за собеседование такое. Он мне это слово сказал, а я ему скажу: а ты-мол жук или например рак — ты есть печенай. Это разговор?

— Сонма это нечестивая, больше ничего.

— Ваша церковь почему православная?

— А твоя почему?

— А потому значит, что на правильной славе стоит можно сказать возвышенно сколько время!..

— Мы-то? Мы из Камы. Где есть Перма город, оттуда мы в 80-ти верстах. Вот мы откуда.

— Беляны сплавляли?

— Плотишки сплавляли мы, не беляны. Плотишки махонькие, небольшие: якоришко у нас маленькой: 240 пудов. Лота тоже не велики: по 700 пудов каждый. Вот мил-лай! Небольшие у нас лота, а все по 700 пудов... Да! Посадка неглубокая:12 четвертей...

Видно, что расспросы его беспокоят.

— Мы можем отвечать, потому: мы плотишки сплавили, хозяину противности не сделали на одну копейку. Получили с хозяв деньги. Немного денег получили, 400 рублей... А властям (неожиданно заключает лоцман) повинуемся. Властям... то есть предержащим... Вот!

Человек, лет 42—3, в парусиновом пиджаке и в лаптях, выдающий себя за солдата, охрипшим голосом защищается от шутливых нападок. Главным образом он обращается к какому-то угрюмому старику, в круглой шляпе котелком, странно сидящей на голове этой мрачной фигуры. Старик сосет трубку и упорно молчит.

— Нет, моя ошибочка вот в чем: выпил я стаканчиков шесть. Пьяный стал, а они трезвые. А то бы я на ихние вопросы мог дать 35 ответов... А что русской солдат, мать его так, на нож прямо лезет, а свою силу возьмет...

Он ломается и размахивает руками. Старик, все хмурившийся, встает. Его лицо красно, рука держащая трубку дрожит.

— Солдат. Какой ты есть солдат? Три года прослужил... Щенок ты, вот что. Я — солдат. 46 лет императору Николаю служил, да молчу... Ты что пристал ко мне?

Неожиданная вспышка окончательно добивает солдата в лаптях.

— Да еще он служил-ли. Не от людей-ли слышал.

— В пушку наср...., его и прогнали.

— Царю 7 копеек за крупу должен остался...

— Этаких солдат на Симбирской пристане по копейке пучок продают, в пучке 33 солдата...

11 июня

ИЗ ПИСЬМА К НАЧИНАЮЩЕМУ ПОЭТУ*

.... Помнится, еще Лессинг ставит требование, чтобы поэтическая речь возбуждала больше представлений, чем в ней заключено слов. Мне сейчас приходит на память пример, который приводил покойный Тургенев из Пушкина:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве зноем раскаленной . . .

* Выписка из письма, написанная на страницах дневника. Заглавие принадлежит автору.

Посмотрите, как тут 3-мя, 4-мя штрихами нарисована целая картина. Воображение читателя тронуто, возбуждено этими меткими штрихами и оно само уже рисует остальное. Вы как будто видите и цвет песка, и безоблачное горячее небо, и мрачный профиль дерева, — хотя об этом прямо не упоминается. Вот это называется силой стиха. Сила эта состоит в том, что в данной комбинации слов, каждое слово, кроме прямого представления, влечет за собой еще целый ряд представлений, невольно возникающих в уме. У многих из наших начинающих поэтов, наоборот, больше слов, чем представлений.

Далее, относительно лирических стихотворений можно сказать почти то же, только расширив сказанное. Главное условие успеха этого рода стихотворений зависит далеко не от одной удачной компановки, искренности и свойств стиха. Я уверен, что большая часть стихотворений Надсона, будучи напечатана каждое отдельно и под другим именем, не произвели бы того обаяния, какое эти стихотворения производили в действительности на читателей покойного поэта. И это совершенно понятно. В нескольких выдающихся стихах Надсон заинтересовал читателя особенностями своей поэтической личности. Читатель его узнал, в его индивидуальности, и полюбил, полюбил известное лицо. С этих пор уже все, до этого лица относящееся, встречает симпатию и отклик, хотя-бы это был элементарнейший лирический порыв, каких печатается бесчисленное множество. Тут опять является некоторое невысказанное дополнение, которое можно-бы назвать чем-то вроде психической аберрации. Прямое и непосредственное впечатление стихотворения падает на подготовленную почву, расширяет сферу своего влияния, захватывая прежде полученные впечатления, окрашиваясь ими.

„Ночь, грусть, вздох о прошлом, о гибнущей жизни"...* Как это часто встречается... Кто это грустит, о чьей жизни идет речь? Ах, Надсон... Да, какая прекрасная жизнь, и как ее жалко... Тут немедленно к тому, что стоит на печатной странице в виде рядов букв и строчек, присоединяются живые черты уже известной вам прежде личности. Общий мотив облекается живою плотью.

До тех пор, пока поэт еще не дал читателю этой психической так сказать почвы,— все его обще-лирические порывы проходят в воображении читателя, как отвлеченные схемы чувства, не пуская корней в памяти...**

11 июня ***

Сектант из-под Керженца толкует с толстым купцом Иваном Матвеичем. Они знакомы, пьют и закусывают вместе. Сектант одет по-крестьянски, но видно торговец или подрядчик из мелких. Купец говорит красно, сектант пытается прекратить разговор.

— Я что, я тебе отказываю, то есть спорить. Потому, я православный. А они бы тебе могли ответить; могут, брат Иван Матвеич, верно.

— Ты православный?

— Я... чай знаешь,— троих кстил.

— А сын 15 лет некрещеный ходит.

— Ну, тот действительно... Будет... выпьем лучше. Она вера-то, без дел мертва. Дела-те спасают.

— Нет врешь. Почему-же теперича в четьи-минеях написано: жил еврей богобоязненный и в тайности молился

* Против этих стрк на полях написано: „Пример".

** Далее в скобках написано: „В дополнение см. выписку из Михайловского на стр. 140". Об этом см. примечание к заключительным словам отрывка „Веселая барышня".

*** Запись карандашем, беглым почерком. См. примечание к записи от 7 июня.

Христу. Вот ушел к себе значит в спальную, зажег лампадку перед крестом-иконой, молится! Только и приди на тую пору другой знакомый, по торговому делу. Спрашивает теперича этот самый знакомый еврей у еврейки: где, грит, твой муж? „А не знаю, грит, ушел куда-то". А он возьми и приотвори дверь. И видит, что стало быть тот стоит на коленях, лампадка у него зажжона и молится Христу на кресте распятому. А, думает, вот оно что, пойду же я присоглашу свой синедреон. И присогласил. Пришел значит, атаковал дом... А тот себе молится, больше ничего, значит не отступает. Вот они порешили так, чтобы сделать как мол деды наши сделали. Этот самый крест поставили, давай его тыкать копьем. А после того дескать и того еврея, который молился тоже распнем. Только ткнут в один бок,— потекла кровь и вода. Что такое? Давай, говорят, еще в другой бок. Ткнули опять — опять, братцы мои, тоже. Вот оказия! Стали они сумлеваться. Веди говорят больных. Пущай же если он действительно есть Бог,— так пущай больных исцелит. И что же вы думаете: приведут слепого — видит, хромого — скачет, бесноватого — от беса исцеляется. Так вот оно ка-ак. Один мужик весь город обратил. Вот она благодать от изображения Христа распятого, а вы иконы отвергли.

— Постой, Ив. Матв. — погоди,— тянется сектант.— Погоди, я те скажу. А как же сам ты из Четь-Минеи сказывал про тех-то троих. Они нешто на икону молились. Только и знали: „трое нас, трое и вас, помилуйте нас". А как вашего архирея оконфузили.

Купец немного огорошен.

— Оконфузили, чем?

— А тем, что пришли к нему по воде, аки по сухопутью.

— Сколько ты, брат, глуп, что так говоришь,— горячится купец...— Ты думаешь им то лестно, что по воде идти, или архирея сконфузить. Им это вовсе не лестно, а что ищут наставления.

— Нет, погоди, не о том.

Подымается шум. Кто-то кричит: „А 105-е слово, ты, купец, знаешь-ли?“.

— Знаю 105-е слово, о светопреставлении, ты-то сам знаешь-ли...

— Ну, ну, брось,— примирительно говорит сектант.— Ну, выпьем. Оно об вере что говорить.

— Большое от веры заблуждение бывает,— философски замечает кто-то.

— Трудно говорить. Кто разберет. Тут сам Христос приди, и тому не поверят.

— И-и, бяда! Еще самого обидют.

— Особливо вы, Дунькиной веры.

— Нет, не мы, а вы. Ты, ваше степенство, первый давно бы ему плюхи две закатил.

— Врешь, не закатил бы!..

Это мы так разговариваем, как Хвост с Полыгаловым. Значит Хвост разоврался, ходит по комнате. А Полыгалов лежит на кровате трубочку покуривает.

— А слыхал-ли мол ты, Полыгалов, как в Америке три поля снегу сгорело, да два озера. Третьему не миновать бы сгореть надо, да огород помешал.

А Полыгалов сплюнул маленько и отвечает.

— Слыхать не слыхал, а на базаре рыбы паленой много видел. Не иначе думаю, как только с горелых озер той рыбе быть.

— А вот (Хвост опять) в городе Нью-Орге купец знакомый дом себе выстроил. Столь высок этот дом,

что курицы по крыше ходют звезды с неба клюют. Это видал-ли?

— Не совру, этого не видал, говорит Полыгалов,— квартала три не дошел до того дому. А на улице видел — петух пол-солнышка действительно таскал!

Комара оцеживаешь, верблюда глотаешь.

26 июня

Характеризуя наши тяжелые дни, Щедрин говорит между прочим (Вестн. Евр. кн. 6 наст. года. „Счастливец"):

„В прессе, рядом с „рабьим языком", народился язык холопский, претендовавший на смелость, но в сущности представлявший смесь наглости, лести и лжи".

Замечательно метко. Трудно лучше охарактеризовать „откровенное" направление, которое в сущности составляет теперь господствующий тон газетной прессы. „Претендуя на смелость" (откровенность) оно оставляет за собой право столь же откровенно льстить, для чего прежде тоже - ведь нужна была известная смелость (теперь уже не нужно). Наглость и ложь — необходимые, психические свойства „смелого льстеца". Ни одного эпитета лишнего и ни один не пропущен.

4 июля

К статье о Толстом*

Толстой прежде всего художник. Он ищет главным образом цельных психических образов, цельных сущест-

* Мысли, высказанные в этом наброске, были впоследствии развиты В. Г. в его статье „Лев Николаевич Толстой", „Русск. Богатство" 1908 г. № 8. Статья была включена автором в полное собрание сочинений издания Маркса. (См. XXIV-й том наст. изд.).

ваний. Найдя такое — он им проникается (подставляя чужое я на место своего). Проникшись, делает из об'ективного образа — суб'ективное мировоззрение. Таким образом вместо того, чтобы сказать: вот как думает такой-то (поразивший его воображение суб'ект), он говорит: вот истина. Это потому, что проникшись цельностью характера и темперамента (а цельность состоит в том, чтобы не быть тронутым противуречиями с основными воззрениями своими) — он и сам не видит уже никаких противуречий. Так, схватив художественным проникновением цельный образ, олицетворяющий наш народ в эпоху войны 12 года,— он проникся им всецело. „Блажен, говорит он, народ, который в годину подобного нашествия не умствует, не рассуждает о кротости и международном праве, а берет здоровенную дубину и гвоздит ею направо и налево до тех пор, пока хоть один враг останется на родной почве". Вы видите, какая тут происходит подстановка. Вместо того, чтобы сказать: наш народ действовал так-то сообразно своему характеру и выиграл дело (причем может быть, что другой народ с другими национальными чертами действовал бы иначе и тоже бы выиграл),— он прямо говорит: блажен и т. д.,— то есть возводит факт в мораль, убеждение мужика 12-го года — в свое убеждение, наконец в абсолют. Если бы он мог участвовать (как художник — представлением) в войне паладинов, с их приемами борьбы,— он тоже воссоздал бы цельный образ борца-рыцаря и воскликнул бы: блажен народ, который родит паладинов, умирающих охотнее, чем нарушить малейшее правило утонченной чести и великодушия к противнику. А к мужику с дубиной он питал бы презрение истинного паладина.

Нечто в этом роде случилось. Его поразило христианство, но его мучили противуречия учения и конкретных

жизненных фактов. В исповеди есть замечательное место, чрезвычайно метко указывающее тот способ, каким Толстой вышел из этого мучительного состояния. Он представил себе, что вот Христос восходит на холм, чтобы проповедывать, а он сам, граф Толстой, стоит у подножья холма и слушает. Но он не русский писатель XIX века, не граф; он просто современный Христу еврей. И тогда все ему стало ясно и он все понял и противуречия исчезли. Конечно. И вот проникшись цельностью 1-го века,—он тщательно охраняет ее в своей душе и уже не хочет признать, что он не еврей первого века, не один из малых сих, а капиталист, писатель и граф. Помилуйте,— все это пустяки. Еврею современнику Христа так все ясно легко и просто. И отсюда происходит та замечательная подкупающая искренность и сила с какою он ставит свои положения. Он еврей и верит тому, что говорит. Отсюда же происходит глубокая фальшивость, а нередко и поразительная нелепость его возражений против современной аргументации, представляющей факты, которых не знали евреи времен Христа. Он не может не чувствовать, что все это правда, но ему так жаль любимого и поселившегося в его душе цельного образа, что он отделывается от назойливых напоминаний о действительности кое-как, а сам закрывает глаза, машет руками и кричит: пустяки, пустяки. Какие там деньги, обязанности перед обществом... Нужно только исповедывать Христа перед римлянами и перед синедрионом. Ничего больше, ничего... Какой я граф, какие там капиталы, какие рабочие, какие классы, взаимная зависимость, рынки, экономические законы. Есть только земля, руки для работы и Христос, который проповедует с холма, а я его слушаю и больше ничего слышать не желаю!

6 июля

Из Тэна (Развитие политической и гражданской свободы в Англии или Histoire de la litterature anglaise. Пер. А. Рябинина и Головина).

Можно с полнейшим убеждением сказать, что неизвестное творчество, к которому уносит нас течение времени, будет всецело вызвано и управляемо тремя основными началами... исчисляя их, мы берем полный круг действующих сил и рассмотрев расу, среду, момент, т. е. внутреннее побуждение, давление извне и приобретенную скорость, мы тем самым не только исчерпаем все действительные, но даже и все возможные причины движения (Введ. стр. 21).

„Религия есть метафизическая поэма, подкрепленная верованием"... (стр. 25) *.

19 августа **

Во 2-м классе несколько возвращающихся с ярмарки купцов слушают оратора, тоже из купцов, но одетого с претензией на моду. Несносейший представитель газетного „просвещения". Шляпа котелком на затылке, кургузый спинжак, особые движения руки, подчеркивающие то, что

* Далее под датой от 18 июля в дневнике сделана выписка из письма к В. Н. Григорьеву. (См. Письма т. I, № 102). Вслед за этой выпиской, под датой 3 августа, написано заглавие: „Эпизод по поводу статьи о К.", но листок дневника остался незаполненным; предполагавшаяся заметка должна была касаться статьи о Каткове, что ясно из содержания письма к Н. Ф. Хованскому, которое вклеено в дневник вслед за пустым листком. Это письмо к Н. Ф. Хованскому без даты, также как и следующее за ним письмо к В. А. Гольцеву от 19 августа, печатаются в I-м томе писем №№ 108, 112.

** С 17 августа по 14 сентября этого года В. Г. был в поездке в Саратовскую губ., где у свояченицы жили его жена с маленькой дочерью и откуда они вместе вернулись в Нижний-Новгород. Запись 19 августа сделана на волжском пароходе. Описанная здесь сцена послужила темой художественного отрывка без заглавия, начинающегося словами: „В каюте II класса..." (См. т. XVI наст. издания).

он говорит. Нижнюю губу держит как-то неподвижно, стараясь говорить только верхней и такую же неподвижность придает глазам, приподымая брови.

— Ах чорт его дери! — говорит мой сосед нервный, интеллигентный человек.—Посмотрите, как помавает рукой. Ну, станет-ли так водить рукой человек, не читавший газет. И какой апломб.

Речь идет о Вышнеградском.

— Теперь мы имеем русского министра финансов, настоящего рррусского человека, на место Карл Иваныча...

— Ну, а что толку,— спрашивает один из простаков-купцов скептически.

— Да ведь это в будущем... Что будет это покажет нам будущее, а что было плохо, это мы уже видели. По крайней мере теперь имеем рррускогo!

— И если хотите... мм... мм... (он мычит и изящно ковыряет в зубах, заставляя ожидать своих мудрых изречений) уже и теперь видим. Понадобился заем, об'явлен на 60 миллионов, а подписано на восемь миллиардов.

— Ну, это...

— Извольте посмотреть, написано... где у меня газета... Это верно! Вот и говорите, что в России нет капиталов. У нас все есть, только нужно знать на что... А то, посудите сами: на железнодорожные потребности занимаем заграницей металлическую валюту.

— Вот видишь...

— Нет, вы постойте. А почему? Потому, что Карл Иванычи все... Да! Немцы! Наши бумажки в России идут хорошо, а им давай золото.

— Поляков, Губонин, Башмаков — все немцы по вашему?— не выдерживает мой нервный сосед.

— Да ведь не они одни... А Дервиз, Мек.

— Тоже русские подданные.

— Да ведь все-таки виллы заграницей строют, стало быть вывоз золота.

Мой сосед машет рукой, а оратор, оскорбленный возражением, как-то захлебываясь, накидывается на простаков-купцов, которые однако слушают болтуна холодно.

— Нет, вы сами посудите: русский человек, он все-таки русский. Никто не догадался насчет железнодорожных предприятий. Все с казны тянули, тарифы сами назначали, а Карлы Иванычи потакали. А русский человек, Вышнеградский догадался: нет, говорит, господа,— нельзя-ли сделать асаже!

— Ах, чорт бы тебя драл,— негодует про себя мой сосед.—Послушайте вы,—говорит он,—прежнего министра зовут Николай, а не Карл, и никто не может его упрекнуть в корыстных видах. Он ни в каких железнодорожных предприятиях, как вы говорите, никогда не участвовал. А вот Вышнеградский — тот совсем другое дело.

Голос молодого человека звучит резко и даже гневно.

— Ох-хо-хо! — вздыхает один купец и встает с места. Оратор чуть не всхлипывает от самолюбивой досады. В каюте носится ясно всеми чувствуемое представление о чем-то преступном, чут не о крамоле. Очевидно—хвалить Бунге теперь чуть не равносильно уже измене и злоумышлению.

— Горькое недоразумение,—говорит молодой человек, обращаясь ко мне.— И это общественное мнение, воспитываемое газетами...

13 сентября *

ОПЯТЬ НА ВОЛГЕ

Холодеет. Солнце склонилось к горам. Правый берег затянулся золотистой дымкой, озаряющей долины и скрывающей суровые очертания гор. Левый выступил резче, потемнел, похолодел. Сумерки чуть заметными взмахами вечерних теней бегут по дальним лугам, надвигаясь на Волгу.

Споры все еще кипели, когда три татарина сидевшие на носу и о чем-то тихо разговаривавшие между собой, вдруг поднялись со своих мест и ровной походкой серьезно направились на край верхней пароходной палубы, к кожухам. Там они разостлали свои верхние одежды потом сняли туфли, поставили их около, и сами благоговейно ступили на халаты. Отблеск заката отразился на строгих татарских лицах. Суровые фигуры резко выступали на светлом еще, холодеющем небе.

— Молятся,— тихо сказал кто-то. Две-три страстные реплики прозвучали и смолкли. Все повернулись в сторону татар.

Они стояли, зажмурив глаза, высоко подняв брови и видимо возносясь туда, где в вышину уносились и гасли лучи животворного света. Повременам они разжимали сложенные под грудью руки, прикладывали их к коленям и головы в бараньих шапках низко опускались. Затем они поднимались опять, протягивая к свету распростертые ладони. И губы их шептали слова неведомой и непонятной, но видимо благоговейной молитвы.

— Тоже вот...— сказал кто-то задумчиво.

* Запись карандашем, беглым почерком, от 13 сентября сделана на волжском пароходе, по пути из Саратовской губернии. Описанная здесь сцена вошла почти целиком в очерк „На Волге“ и составила главу повести „Груня“ (см. тт. XIII и XVI наст. издания).

— Свой обряд тоже сполняют,— заметил один из православных.

— Тоже молятся, прибавил третий...

Татары припали к полу, прикоснулись к палубе челами и затем быстро поднялись. Двое надели туфли взяли халаты и опять уселись на прежних местах, на носу. Третий старик с красивыми несколько суровыми чертами уселся поджав под себя ноги и долго губы его шевелились, а рука привычным движением перебирала четки.

— Вишь-ты — четки у него.

— Радетельный старик.

— Всякому человеку спастись хочется,— философски замечает добродушнейший из православных спорщиков.— Ни одному не хочется погибнуть, какой бы он не был, хоть скажем и татарин.

— Ну, а как же теперь думать,— спрашивает молодой человек, глядевший задумчивым взором в темнеющий свод неба.— Дойдет-ли эта молитва, или они это напрасно.

Минутное молчание. Несколько глаз невольно поднимаются кверху, как бы стараясь уловить среди вечерней синевы невидимый полет чуждого хотя, но видимо искреннего моления.

— Не дойдет,— резко и сурово раздается голос раскольника.

— Нешто это молитва,— лопочут они, а не молятся.

— Ну, не скажи,— говорит седой старичек.— Молятся они тоже Богу. Чай видишь — на небо смотрят...

— Кто знает, кто знает,— слышится тут и там из потемневшей кучки на палубе.— Трудное дело,— пути Господни...

Блок скрипит, фонарь золотой звездочкой взлетает на верхушку мачты, волна плещет где-то глубоко в сумраке, далекий свисток чуть видного вдали парохода тихо звенит

над замирающей рекою. В небе одна за другой зажигаются звезды, и синяя ночь несется бесшумно над землею...

И кажется, что земля о чем-то спрашивает, а небо молчит, исполненное величия и тайны*.

— Так мы еретики, по вашему? Еретики что-ли?

— Ну?

— Нет, ты скажи.

— Известно уж... Конечно еретики.

— А от какого корня у вас иерархия?

— От Петра.

— Высоко берешь. От великороссийской церкви. Амвросий кто такой? Ведь дело недавно было? Всего каких нибудь 40 лет.

— Так что ж... Ну, Амвросий.

— Он из каких?

— Епископ он. Значит исправленный.

— Кто его правил. Поп Иероним. Может-ли поп исправить и рукоположить епископа.

— А то не может по твоему. Поп исповедает и разрешит царей и патриархов, а не то, что епископа.

— А, ты вот куда? Погоди. В Кормчей сказано: еретика надо перекрестить, потом все чины с него долой и вновь рукоположить. Так мог-ли поп Иероним рукоположить его?

— Неправда, обливанца надо перекрещивать, а Амвросий крещен троекратным погружением, стало быть правильно. Павел Коломенский велит таковых принимать вторым чином. Он отрекся от заблуждениев...

* Против данного абзаца на полях написано: „Титин — число зверино".

— Из за денег. Нешто он из за благодати. К нему приехали ваши австрийские посланные, а он запрещенный был.

— Неправда, запрещенных не примем. У него не было епископии, а служить мог.

— Ну, ему обещали 5.000 червонцев, да еще дом, да пруд рыбный. Потом все одеяния с него долой, да тихонько и отправили, багажом еще... ха-ха! Епископ. Нет, наших багажом не важивали... Наши открытым лицом...

— Не зубоскаль...

— А что, дозвольте мне слово сказать,— вмешивается сосредоточенно молчавший до сих пор раскольник,— ваши епископы без денег служут?

— Жалованье им идет.

— Бумажками?

— Ну, бумажками.

— Только и разницы, что не золотом, а пруды рыбные тоже имеют?..

— Не заносись! не заносись. А лучше вот чего ответь: называете нас еретиками, а от нашего корня заимствуетесь: прежде наших беглых попов сманивали, а наконец того еще вон какого лица у нас-же тяпнули...

19 сентября *

К ВОПРОСУ О РОМАНТИЗМЕ

...По поводу Вашего вопроса о том, насколько я сам считаю себя романтиком,— ответить пока затрудняюсь. Я слышал уже этот „упрек“, мне его высказывали

* Под датой 19 сентября занесена выписка из письма, озаглавленная В. Г.: „Из письма к В. Станисл. Р—му. К вопросу о романтизме“. Она печатается здесь, а не в ряду писем, так как тесно связана со следующими за нею размышлениями писателя, составляющими дальнейшие страницы дневника.

и печатно, и это заставило меня еще внимательнее отнестись к вопросу, который интересовал меня и ранее: в чем сущность романтизма? Я перечитал кое-что по этому предмету, но признаюсь ответ только еще начинает складываться в моем уме. Брандес в своих „Strömungen“ дает в сущности ряд блестящих и очень метких характеристик романтических писателей, дает также и психологические очерки романтического настроения, но самой сущности того, что называется романтизмом — не определяет. Шиллер в „Разбойниках“ несомненный романтик — и он революционен. Остальной немецкий романтизм представляет неопределенные томления и реакцию. Французский романтизм в лице самого яркого своего представителя В. Гюго не имеет ничего общего ни с „голубым цветком“, ни с томлениями Тика и братии,— и однако он не менее романтичен. У одних реакция против „гордыни ума“ в пользу чувства (Wenn die so singen oder küssen, mehr als die tiefgelehrten wissen);* у других титаническая борьба вооруженной знанием мысли... Где-же тут то общее, что связывает все эти контрасты в одном определении „Романтизма“?

Вот вопрос, который я себе поставил, и хотя пока не могу считать его для себя решенным (для этого намереваюсь обратиться к литературным источникам из периода возникновения и борьбы молодого романтизма с „классиками“),— однако ответ отчасти предчувствую, и если он верен, то едва ли я вполне могу примкнуть к романтизму, по крайней мере сознательно (художественное творчество

* Стих этот взятый из романа немецкого поэта-романтика Новалиса „Генрих фон Офтердинген“, в русском переводе Вас. Гиппиуса передан так: „Когда певец или влюбленный узнает больше, чем ученый“.

не всегда соответствует тем или другим убеждениям и взглядам автора на искусство). Однако и крайний реализм напр. французский, нашедший у нас столько подражателей,— мне органически противен. В одной из своих заметок („О двух картинах“ *, „Русск. Ведомости“) — я отчасти тронул этот вопрос. В черновой рукописи у меня он был затронут гораздо больше, но я исключил эти строки, отложив их до другого времени. Там я высказал только, что современные реалисты забывают, что реализм есть лишь условие художественности, условие соответствующее современному вкусу; но что он не может служить целью сам по себе и всей художественности не исчерпывает. Романтизм в свое время тоже был условием, и если напрасно натурализм в своей заносчивости целиком топчет его в грязь, то с другой стороны, то что прошло — прошло, и романтизму целиком не воскреснуть. Мне кажется, что новое направление, которому суждено заменить крайности реализма,— будет синтезом того и другого. Вогюэ в своих критических этюдах о русской литературе определяет реализм, как реабилитацию в искусстве бесконечно малых величин. „Мы отказались, говорит он, от героев в пользу масс“. Но реализм Зола и др. идет дальше. Он отрицает самую возможность героизма в человечестве и малое отожествляет с низким. Это уже слишком, и реакция против этой крайности законна. Реакция эта до известной степени идет в сторону романтизма, но только до известной степени, потому что все таки мы кое-чему научились и у реализма, и не можем отказаться от признания масс, от признания значения малых — в пользу героев. Не знаю, понятно ли я выразил

* Не точно —„Две картины“ (Рус. Вед. 1887 г. № 102). См. т. XXV наст. издания.

свою мысль. Пока все-таки ограничиваюсь этим — до другого раза*.

Если считать представителем романтизма — Карлейля** (он не художник-литератор, не поэт ex professo, но он поэт и художник в истории),— провозгласившего, что история человечества есть ничто иное, как история великих людей, а представителем истинно-реалистического художественного мировоззрения — Толстого в „Войне и Мире", где он ставит принципом: только массы имеют значение, нет великих людей, нет героев, есть только рядовые в жизни и последний сержант значил более Наполеона в любой битве,— если, повторяю взять эти два полюса — реализма с одной и романтизма с другой стороны, то мы увидим, что и то и другое настроение есть крайность и оба они односторонни. Значение масс несомненно и установлено; массы состоят из единиц, но и каждая единица — существо сложное. То, что мы называем героизмом — свойство не одних героев. Наполеоны из рядовых носят его в своей груди. Романтизм лишает этого героизма массу и всю его сумму, все результаты приписывает исключительно своему излюбленному герою. Но реализм,— отрицающий его вовсе, тоже неправ. Неправ он и тогда, когда не хочет понять, что как возможны в жизни каждого человека минуты героизма, также возможны условия вырабатывающие эту черту в одних единицах в большей степени. Тогда эти единицы всплывают в замутившейся сутолоке жизни и играют выдающуюся роль. Они не отличаются от массы качественно и даже в героизме массы почерпают свою силу. Они продукт

* На следующем абзаце через текст красным карандашем, рукою автора написано: „О ром[антизме]".

** Томас Карлейль (1795 — 1881) — английский писатель, историк и философ.

массы и потому могут совершать подвиги героизма, что масса понимает в их время и ценит героизм больше, чем в другие времена. И это оттого, что героизм Наполеона в его время был рассеян по частям в миллионах сердец. Но Наполеон был фокусом всех этих действовавших в одном направлении сил. Таким образом открыть значение личности на почве значения массы — вот задача нового искусства, которое придет на смену реализма *.

(Об органической преемственности идей).

...„Батюшкову ** пришлось познакомиться с отрывками из „Руслана и Людмилы": „Молодой Пушкин пишет прелестную поэму и зреет",— отозвался он по этому случаю Вяземскому ***. А между тем поэма Пушкина упраздняла собой все давно лелеянные Батюшковым замыслы о подобном-же произведении с содержанием, взятым из народных преданий русской старины". (Т. 1, стр. 255—258. Биограф. Батюшкова).

„Анненков ****, говоря об этой первой поре Пушкина замечал, что во многих стихотворениях того времени „врожденная сила таланта проявлялась сама собою, заменяя при случае г е н и а л ь н о ю о т г а д к о ю то, чего не мог дать жизненный опыт начинающему поэту". Биограф Батюшкова прибавляет, что эта отгадка была облегчена ему упорным трудом его ближайших предшественников и особливо Батюшкова, в выработке поэтического языка и стиха". (В. Евр.). (Анненков. Мат. 2-е изд. стр. 50. Соч. Бат. т. 1, стр. 257 в биографии).

* Далее под датой 23 сентября в дневник вклеено письмо к В. Г. известной деятельницы в области народного образования Х. Д. Алчевской и ответное его письмо от 12 октября (войдет в дополнительный том писем).

** К. Н. Батюшков (1787 — 1855) — известный поэт, предшественник Пушкина.

*** П. А. Вяземский (1792 — 1878) — поэт и критик.

**** П. В. Анненков (1812 — 1887) — литературный критик, издатель первого по времени собрания сочинений Пушкина.

ЧТО ТАКОЕ „ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ"?

По настоящему, это должно бы быть вот что: художник тем же процессом, как и в обыкновенном творчестве,— охватывает все положительные возможности, имеющиеся в жизни; ставит в эти условия известный темперамент, богато одаренный по натуре — и смотрит затем как должен он развиться. В жизни такие условия редки, поэтому лицо будет исключительное. Но что-ж из этого. Если оно вышло живым, то значит оно возможно. Если оно не родилось в жизни, то родилось в воображении, живет в нем и действует. Читатель сразу почувствует живое это лицо или ярлык с надписью известных убеждений. Если оно чувствуется, как живое,— значит его возможность доказана художественно и значит тот строй ощущений и убеждений, какие в нем даны, есть дело если не реальности, то возможной реальности, т. е. идеала. Тогда положительный тип создан, и критику, вообще мыслящему читателю, остается изучить условия его возникновения в произведении, чтобы по возможности воссоздать эти условия в жизни. Вот на чем зиждется требование „положительных типов" и вот в каком смысле оно желательно. Но при этом — первое условие художественность. Иначе— это равносильно обману: автор говорит: вот возможность живого человека, а вместо этого дает не живого человека, а марионетку, которая движется не по собственной воле, не по указаниям собственного ума и чувства, а на веревочке логических соображений самого автора. *

* Далее следуют отрывочные записи о монастырях, монашеской иерархии и проч. сделаны, повидимому в пути, карандашем беглым почерком. Несколько фраз из них вошли в рассказ „Птицы небесные".

18 декабря *

ОБ АЛЛЕГОРИИ

Аллегорическая форма привлекает многих начинающих, быть может, потому, что в нее легче укладываются невыяснившиеся еще порывы и влечения, свойственные ранней юности. Кроме того юности и увлечению кажутся еще заманчивыми заезженные образы, которые у нас вызывают улыбку,— все ети белые женщины, куда-то зовущие, с бледными лицами и чудно сияющими глазами, эти аллегорические равнины, покрытые мраком, олицетворяющим зло,— и эта заря мерцающая вдали,— олицетворение надежды и будущего счастия. И белая женщина,— надежда, вера, благо, а иногда месть, борьба, наконец — революция... Она поворачивается, манит рукой, и ее „чудные глаза сверкают приветом“ (любовью, вдохновением, местью). Мы уже видали, к великому сожалению, слишком много этих белых дам в поэмах, в стихах, в прозе, на картинах и потому при новой встрече только скептически улыбаемся, но право,— кому такая дама явится впервые,— она очень и очень может понравиться... Это конечно не мешает аллегориям начинающих писателей быть очень и очень плохими.

В сущности же аллегорическая форма очень трудна именно вследствие своей легкости. Это парадокс только кажущийся. В об'яснение я могу сослаться на стихотворный размер, каким написана некрасовская поэма „Кому на Руси жить хорошо“. Размер этот, введенный впервые Некрасовым, и у него оригинальный,— очень привлекает неопытных поэтов,— и редакции завалены поэмами в этом

** На полях, против записи от 18 декабря помечено: „Ив. Ив. Колпецкий“, и ниже „Об аллегории“; повидимому это выписка из письма к начинающему автору.

легком повидимому роде. Но дело в том, что этот стих, именно вследствие своей легкости требует некрасовского таланта, метких народных оборотов, ярких картин; нужно, чтобы образы своими переливами скрасили однообразие и монотонность стиха. Нужно, наконец, чтобы стиль был выдержан строго, чтобы фраза, требующая короткости,— была сжата, проста и образна.

То же и с аллегорией. Нетрудно нарисовать белую даму в темной долине, указующую величавым жестом на отблеск зари. Нарисовать даже очень нетрудно,— но в высшей степени трудно заинтересовать этой старой знакомкой читателя. Для этого нужна во 1-х оригинальность идеи, во 2-х ее ясность и законченность, в 3-х полная выдержанность образа.

Если форма аллегории взята из природы,— нужно чтобы природа по возможности нигде не искажалась: данное явление должно развиваться органически стройно, в своей обычной последовательности и вместе с тем этот процесс должен быть весь проникнут насквозь отвлеченной идеей. Форма, образ и идея, должны развиваться каждое по своим законам и все таки вполне параллельно. Иначе явится или невыдержанность мысли,— если идея будет принесена в жертву образу,— или наоборот — невыдержанность образа. И тогда мы говорим, что аллегория притянута за волосы.

Передо мной яркий пример подобной аллегории, в произведении какой-то молодой девушки З—ой. Белая девица поманила перстом юношу и он пошел за нею. Шел, как водится, лесом, исцарапался, шел пустыней — изранил ноги. Шел мраком,— кругом слышались вопли разврата и насилия. Пришел на край пропасти. Девица (Вера и Любовь вместе) заставила его заваливать пропасть камнями, чем были заняты очень многие. Вдали, конечно,—

отблеск зари. Когда пропасть будет завалена,— в царство света будет проложена дорога из области мрака.

Пример, когда идее автор пожертвовал образом: как только явилось представление о заре,— тотчас является по естественной ассоциации дальнейшее развитие образа: заря разливается, все светлеет; но автору нужно провести идею труда для наступления света,— и потому он останавливает естественное развитие явления,— заря ждет, пока слуги любви зачем-то заваливают пропасть.

1888 год *

18 января

Сильный звонок. Отворяют и горничная, отступив на несколько шагов от двери и заглядывая в мой кабинет,— говорит довольно почтительно:

— К вам, Владимир Галактионович.

Я выхожу в переднюю. Там снимает калоши старик довольно высокого роста, с серо-желтой бородой; он в штатском сюртуке, но на гвозде висит его пальто со светлыми пуговицами и генеральской выпушкой. Под мышкой портфель, который мне сразу об'ясняет цель его прихода.

Я прошу в кабинет.

Генерал, не выпуская портфеля из подмышки, кланяется, выпячивая по военному грудь и говорит.

— Имею честь рекомендоваться: отставной генерал-майор Константин Васильевич Миронич.

— Очень приятно. Владимир Короленко — кланяюсь и я.— Чем могу служить, генерал?

— А вот-с. Извольте посмотреть.

Я ставлю генералу стул, а он, не садясь, вынимает из портфеля об'емистую рукопись и маленький редакционный бланк. Кинув беглый взгляд, я узнаю знакомый бланк „Русской Мысли". Печатные строчки с пробелами,

* 1888 год начинается в дневнике выписками из двух писем В. Г. к Н. К. Михайловскому. Первое из них является вариантом письма, печатающегося во 2-й книге писем № 2; второе предполагается к печатанию в дополнительном томе писем. Оно посвящено целиком вопросу о реализме и романтизме.

потом писанное заглавие „Из прошлого“ и в конце страницы: —„напечатано быть не может“.

— Вот-с, изволите видеть,— кладет генерал бланк на стол и водит пальцами.— Напечатано быть не может... Не может... Изволите видеть. Надо вам сказать,— пишу-с...

Я кланяюсь и бормочу что-то о товариществе по перу и т. д.

— А, что вы сказали?..— Он наклоняет ухо, немного глух.—Да! собратья, только я, знаете-ли, собрат из плохих. Вот видите: „напечатано быть не может“.

Он садится и смотрит на меня с заискивающим вопросом. Глаза у него серые, лицо широкое и энергичное, голос очевидно привыкший к команде, движения уверенные, осанка важная. И мне становится невыразимо жалко старого генерала... Откуда у него эта роковая страсть, которая теперь глядит из его серых глаз, так робко и так заискивающе. Мне как будто слышится какой-то ласковый визг. Это „писатель“ сидящий в генерале,— неслышно визжит и виляет хвостом передо мной, мальчишкой в серой блузе и больших сапогах, с наружностью нигилиста.

— Это из журнала „Русская Мысль“; знаете-ли — в Москве? Я послал им свою повесть... Большая повесть около 5-ти печатных листов... печати убористой... И вот, получаю это письмо. Видите: отставному генерал-майору и т. д. Н-не напечатали. Я думаю, это происходит оттого, что я не обозначил цифры гонорара. Знаете — думают вероятно: сколько-же назначить?.. Согласитесь, что это затруднение, какие нибудь претензии!.. Ведь это все неудобно, я понимаю...

Я выражаю сомнение: гонорар легко могла определить сама редакция.

— Да?.. Ну, значит надо было с'ездить самому; да, да! Надо было явиться лично... Знаете... больше уважения...

Он смотрит на меня опять с прежним выражением вопроса и опять мне видится в этом взгляде что-то виляющее хвостиком.

— А?.. нет, вы думаете?.. Значит...

Он опускает глаза, и выпрамляется с видом беззаботной развязности, под которой мне видится некоторая обида. В нем просыпается генерал; он поводит плечами и я жду, что вот-вот генерал совсем выскочит из-за писателя и он гаркнет своим командным голосом:

— Ма-алчать! Мальчишка! Печатать, когда приказывают!..

Но этого не случается, и генерал с видом деланной беззаботности, и чуть заметным оттенком обиды говорит:

— Ну, значит, гадко написано... Теперь вот другая повесть. Тоже значительных размеров... Вот извольте посмотреть.

Он кладет широкую ладонь на рукопись, и смотрит на меня с победным видом.

— Эту я думаю отослать в „Северный Вестник" в Петербург...

— Прекрасно, а чем я собственно могу служить В. Пр-ву?..

— Да! Вот видите... Сделайте одолжение... Извините ве-лико-душно!..

Он хватает мою руку обеими руками и жмет ее...

— Извините, что утруждаю. Больше не к кому. Все в один голос... весь Нижний говорит: ступайте к... к... Извините, не знаю имени-отчества.

— К Владимиру Галактионовичу.

— Вот, к Владимиру Галактионовичу... Единственный человек. Не хвастаясь скажу,— все хвалят повесть. Все... Но кто все, позвольте спросить: ну, знаете там: студенты, гимназисты, барыни... От вас жду оценки...

Я предвижу много неприятных минут и потому предлагаю генералу компромисс: в начале февраля еду в Петербург, доставлю рукопись в редакцию и привезу ответ.

— Благодарю, благодарю! Но все таки... (глаза его опять с'уживаются и сияют лаской). Нельзя-ли... два дня... прежде передачи в редакцию.

Я соглашаюсь.

— Ну, вот, отлично,— оживает генерал.— Вашу руку Вл. Гал.! Спасибо. Надеюсь, надеюсь. Не хвастаясь скажу: повесть не дурна! Т. е. я так думаю.

— Вам бы генерал,— свои воспоминания...

— Здесь! (Он хлопает рукой по рукописи). Именно мои воспоминания. Я и моя жена. Вы увидите здесь меня и мою жену, сов-вершен-но! Как мы, я и жена, скитались по западной границе... 1½ года жизни!.. Все это мы пережили, совершенно пережили. Я и моя жена...

Глаза его оживились. Голос стал увереннее, но в нем теперь звучит не команда. Генерал просто переполнился воспоминаниями юности.

— Две любви, знаете... переплетаются... Горячая кровь, молодость!.. Да, да! На нашей западной границе...

Я смотрю на генерала и думаю: как захватила его эта роковая болезнь писательства?

Он как будто угадывает мой безмолвный вопрос.

— Знаете, с молодости имел склонность. Что делать,— служба, походная жизнь,— не до того. А теперь, прослужив тридцать лет в офицерских чинах, пятый год в отставке... Детей пристроил: два сына офицеры, два — в кадетском корпусе, дочь на днях выдаю замуж... Ну, вот, посудите сами: один, жена хлопочет там по хозяйству, у меня дела нет... сижу, кругом тихо... и, и... пишу, знаете. Две повести — пять лет!.. Одну в „Русскую Мысль“... „невозможно напечатать“. Другую вот... Пять лет писал...

Внезапная мысль загорается в глазах генерала.

— Да, вот что, поедете через Москву,— пожалуйста, возьмите и ту рукопись. Скажите: рукопись генерал-майора Миронича. Вам выдадут.

Я обещаю.

— Ну вот и ее в „Северный Вестник". Непременно в „Северный Вестник". Гонорар—какой угодно! Сокращения там, поправки (сознаю: есть недостатки!) сколько угодно! Вот, так! Какой угодно, сколько угодно. Тогда вы думаете напечатают?

— Не могу, конечно, сказать ничего наверное, не зная содержания рукописей.

— Да, да! Возьмите, возьмите и ту. Тогда уж...

Лицо генерала озаряется улыбкой и все сияет.

— Тогда уж — обе будут напечатаны... да... И вы мне тотчас телеграмму: приняты обе. Больше ничего: генер.-майору Мироничу... приняты обе...

— Извините, задерживаю,— спохватился он, встал, поклонился по военному и взял со стола редакционный бланк с отказом.

— Может быть, вы оставите его у себя... Или мне взять... как прикажете.

— Помилуйте,— как вам угодно.

— Вам лучше знать эти порядки. Если позволите,— возьму. Знаете, иметь при себе...

Генерал бережно складывает никуда негодный клочок бумаги и прячет его, как прятал бы молодой рекрут какую нибудь неизвестно зачем выданную квитанцию.

Мы прощаемся. Через несколько минут молодцеватая фигура генерала виднеется уже в воротах, а я раскрываю рукопись: „Окопины.— Повесть".

„В 1856 году одна из артиллерийских полевых бригад была расположена близ города Мехова Келецкой губ.

Командир бригады ревностно занялся хозяйством и предложил старшему своему офицеру Семену Ивановичу Окопину (Окопин — это я! — вспомнилась мне фраза генерала) поискать и сделать покупку нескольких стогов сена. Капитан отправился на юг, где по рекомендации многих личностей можно было найти большие запасы доброкачественного сенного довольствия. Недалеко от австрийской границы капитан увидел красивый замок...

...Капитан Окопин охотно поддерживал знакомство с обитателями замка. Ему нравилась только что приехавшая из института Анна Андреевна, а потому он сначала находил какие-нибудь причины заезжать к пану П-скому, а потом ездил туда и без надобностей, пока не сделал предложения девице Анне Андреевне С-вой, на вступление с ним, капитаном Окопиным, в первый законный брак, на что получил от упомянутой девицы немедленное согласие"...

25 января

Опять посетитель.

Молодой человек, с землистым цветом лица, с глазами, которые глядят из каких-то черных кругов. Нос вытянут, подбородок также; небольшие усики и чуть заметная бородка. Помнится я где-то видел подобное лицо, на какой-то иллюстрации, и почему-то мне кажется, что рисунок изображал сумасшедшего. Он входит в гостиную, кидает пальто на стол и остается в шапке с большим козырьком и околышем министерства народного просвещения, в которой и проходит в мой кабинет*.

Я иду за ним. Он быстро поворачивается, берет мою руку и нервно сжимая ее и выворачивая, глядит мне в глаза.

* На полях против данного абзаца два наброска карандашом изображающие профиль посетителя В. Г.

— Буррматов. Пришел поговорить со своим (ударение) человеком,— перед концом моей жизни.

Лицо нервно передергивается и вместе с тем видно что-то экстатическое. От него пахнет водкой и сильно отзывается достоевщиной. Видно, что с ним происходит действительно нечто ужасное, что этот ужас расползся во всех мелочах его жизни, глядит из каждого пустяка, что во всем этом есть также нечто отвратительное и все таки этот человек носится со всем этим, как с чем-то высоким, точно с святыней и считает своим правом чуть не обязанностью делиться этим ужасом и этой душевной гнилью со всяким, кого он считает достойным.

Он садится за стол, кидает шапку на кушетку. Он меня знает, читал мои сочинения и даже ругал недавно в одном обществе... Знаете,— условно ругал потому что, потому что он так меня любит... одним словом. А все таки он после завтра покончит со всем этим и потому рад, что еще повидался со мной. Если я куплю вина или водки, он мне все расскажет, все, все...

Чтобы отклонить разговор от смерти и от водки, я спрашиваю:

— Вы кажется живете у С—вых?

— Да, живу у С—вых... действительно, и поэтому пришел к вам... там у меня произошла такая история. Вот именно поэтому... что я говорил о конце жизни...

Он вынимает сложенный вчетверо лист бумаги и дает мне прочесть, а сам покамест вытаскивает из кармана папиросы. Я замечаю при этом, что его движения порывисты и странны. Чтобы вынуть предмет из бокового кармана, он подымает плечо кверху, как-то особенно выворачивает его и запускает руку вертикально, тогда как все это можно было сделать и легче и проще. Затем он закуривает папиросу, а спичку опускает в чернильницу

с сифоном. Туда же после пытается кинуть и окурок, но спохватывается.

Письмо начинается словами: „Милая Еня". Это напоминает мне целый ряд писем К—ова, которого эта Еня убила, начинавшихся теми же словами. Далее в письме говорится, чтобы она не считала его скандалистом, истории вроде вчерашней он производит лишь тогда, когда видит около себя ненавистных лиц, торгующих людьми, но он не относит этого ни к самой Ене, о которой высказалось общественное мнение лучшей части общества (что-то в этом роде), ни к Юлии Ивановне (сестре ее). Он готов для нее на все жертвы, только пусть она „не требует доказательств и не вдается в крайности".

— Я из за нее в части ночевал,— заявляет он.

— Как это из за нее?

Дело в том, что он зовет ее следовать за ним. Ее надо вырвать оттуда... Надо, надо еще отнять у них девочку 10 лет из этого омута. Он учил девочку (лицо его передергивается, он плачет, но без слез, смотреть на него ужасно жалко). Он учил ее и никогда не думал, что выйдет такая... история.

Он смолкает и потом опять кидается к прежнему предмету.

К ним приехал недавно брат из военной службы для поправления здоровья. Он и его тоже обругал, кроме того, он с ним покончит, а когда его вели в часть, он сказал: напрасно она убила свою жизнь на К—ова. Нужно ей было прежде всего подобным образом расправиться с матерью.

— Что вы это говорите! Чему ее учите, что вы!

— Положительно... Как же можно терпеть такие создания. Нет, я так оставить не могу.

В его голосе слышатся слезы.

— Если бы у меня было пять голов, а не одна,— я бы непременно одну пожертвовал на этого мерзавца. Теперь, конечно, он может быть не сделает этого... Но впрочем может быть и сделает...

— Какое же вы имеет на это право?

— Да, конечно он обязан позаботиться, чтобы остаться безнаказанным,— не пропадать из за такого ничтожного негодяя... Но оставить так он не может.

— Что же вышло?

Он обругал брата идиотом. Видите, сначала он принял его хорошо, вступал в разговоры. Тот спрашивает: а вы из университета? Нет, не из университета. То есть бывал в университете, но сам не из университета... „А сколько в а с в войсках, но все это не имеет практической почвы".— То есть позвольте,— как это н а с?.. Социалистов. Видите! Хм... социалист, это я. Еня ему говорит: что ты, какой он социалист. Он богомольный.

— А вы разве богомольны?— спрашиваю я.

— Я не молюсь Богу. Но видите-ли, я ей раз сказал: если бы Бог был, возвышенный Бог, честный там, справедливый, высоконравственный,— я бы ему... т. е. если бы он был... отдал бы себя всего „не только душу, но и тело", одним словом,— решительно... т. е. если бы был.

Он говорит с глубоким волнением.

— Ах, что там у них делается. Он зовет ее, предлагает жениться на ней, а они запретили говорить с ним; он попал в часть; рубашка на нем была шитая,— вышивка вся изорвана, руки у него ободраны, всюду кровь... „Ну, значит, думаю себе, все покончил". Прихожу домой; Еня входит, говорит: „ты подлец". Видите,— я подлец. За что? „Мою мамашу обругал...". „Но ведь ты знаешь...".—„Все знаю, а ты мою мамашу не смеешь обижать".

— Накануне говорила, на край света пойду, и хотела последовать, но у нее разорвали шарф. Я думаю себе, знаете: ну, какого сорта она женщина. Пусть уж разорвут мою шаль, а я все таки последую,— ведь так. Пусть шаль будет изорвана... шаль наживная. Ну, она не последовала... Изорвали шаль...

Скоро он все покончит, он не может так оставить.

— Да что вы это, кто вам дал право судить их. Уйдите, ну зовите с собой Еню, а как же вы беретесь казнить других.

— А как же? Так оставить?

— Конечно,— там уж Бог рассудит как-нибудь.

Его глаза загораются.

— Если-бы был. Да ведь нет его, нет! Вот почему он так не может оставить.

— А чем вы будете жить?

— Я знаете много могу... работаю. На железной дороге служил, на дрезинах с начальником дистанции ездил,— там эти исправления осматривать. Потом приехал в Екатеринбург, встречаюсь с Амбаровым. У тебя, говорит, все еще я вижу практической почвы нет под ногами. А! Что бы вы сделали, если бы вам сказали такую вещь. Видите: составили мы общество по десяти рублей каждый. Заниматься непременно земледелием и непременно конопле... Знаете: костерь на . . . . *, а пеньку... ну все равно, только непременно коноплей. Там золотопромышленники, богатеи, 2000 десятин засевали,—что им стоило присмотреть за нашими 120-ю десятинами. Надзор ничего не стоит. И непременно коноплю... А Дмитриев, вы знали Дмитриева?.. Женился, как я говорю, на мешке с деньгами,— пожалел своих 10 рублей. Говорит: не связывайтесь с Бурматовым. Все в тюрьму попадете... Видите: нет практической почвы!

* Пропуск и знак вопроса у автора.

Я говорю Амбарову: конечно нет практической почвы: я со штейгерами не стану за контрациками гоняться, ловить их из за каких нибудь 25 рублей. Ах, если-бы вы знали что там делается. Видите: каждому старателю выдается книжечка... А вот Вор-ков А. П. — светлая личность. Знаете: примирился с практикой: приедет к нему урядник. Дайте взятку, такое то дело сделаю. Он посмотрит,— полезное ли дело, какая выгода и дает взятку. Уряднику дает взятку, если польза. Но личность светлая, не погряз, об народе заботится... Однажды все хотел бросить,— говорит обманули его. Но впоследствии убедился... Не может быть, чтобы русский народ обманул такую светлую личность.

Вообще во всем его тоне звучит чрезвычайная искренность, страдание и полное бессилие. Хочет уехать в Москву, между прочим потому, что солдат брат Ени может его „посадить".* Как? Оказывается, что он еще вначале знакомства,—„давал солдату Бокля читать"... Ну и... одним словом, солдат уже грозил. Человеческий характер есть нечто в высшей степени сложное, и его нормальность состоит в гармонии: переложит природа одной какой нибудь добродетели и недоложит чего нибудь другого для равновесия,— смотришь, готов психопат или сумасшедший. В Б-ве поражает чрезвычайная чуткость к чужому горю, к несправедливости... Но нет, как он сам выражается „практической почвы" (т. е. практической жилки). И потому его чуткость слишком раз'едает его душу, а исхода ей нет. Кроме того,— в нем особенно заметно горе нашего времени: нет Бога в сердце. А сердце в сущности жаждет Бога, т. е. высшего закона жизни.

* Против этих строк на полях дневника написано: „На Крым-пески журавлей пасти".

Действительно ли он может убить. Ужасно, конечно, что человек говорит об этом, как о своем праве, если уж нет Бога, и говорит совершенно искренно. Но привести эту угрозу в исполнение — наверное не приведет. Характерно одно место письма: я готов для тебя на все жертвы, но ради Бога не требуй доказательств. Действительно, он готов, когда говорит это, на все жертвы и он сознает в своей душе присутствие этой готовности. Но не требуй доказательств. Когда я прочел это место, у него даже лицо передернулось: доказательства! Это — не пей! Он не может, он готов, но не может. Работай, трудись, устрой прежде свое положение,— потом сильной рукой возьми меня за руку и выведи из омута,— он тоже не может. Нет практической почвы, а конопля и костерь не удались. И потому — верь в готовность, потому что этой готовностью у него вся душа переполнена, но не проси доказательств, потому что у него нет силы и всякая попытка оставляет только боль в душе.

То же самое и с этими угрозами. Он смотрит на них, как на свой долг и свое право, и говорит о своей готовности. Но во 1-х он не справится и с котенком, к счастию, а во 2-х, у него и прямо характера не хватит. Он только знает, что эти люди вредны тем, кого он любит, что их влияние надо устранить, а для него даже в идее теперь это равносильно устранению самих людей, потому что сам он, пьяный, бесхарактерный, влияния нравственного оказать не может, материальной поддержки тоже. Поэтому он и заявляет о „готовности“ устранить их, но к счастию доказательств, без сомнения, опять представить не в силах*.

* Далее в дневник вклеено письмо неизвестного автора, на котором рукою В. Г. написано: „В материалах есть еще стихи того же автора“.

27 января

Познакомился с о. Андреем Аргентовым*. Из его рассказов хочу отметить следующее.

На Шелагском мысу, по чукотским сказкам и песням, жили когда то шелаги и омоки. От шелагов теперь не осталось никого, омоки еще были во время пребывания в Чукоции о. Аргентова. Чукчи рассказывают, что эти шелаги и омоки были русские, но только некрещеные. Они пришли раньше чукчей. Последние зовут себя не чукчами, а просто „мурим", что значит мы. Шелагов же они звали „о н и", „д р у г и е". Эти другие выносили соседство чукчей, но когда явились русские, крещеные, то шелаги не раз делали набеги на Колыму, причем плыли по реке в б а й д а р а х. Так поется в песнях; между тем слово байдара вовсе не употребляется у чукчей и также неизвестно колымчанам. Из этого о. Андрей еще более убеждается, что шелаги были русские и предполагает, что когда Владимир с Путятою крестил огнем и мечом свой народ, то некоторые ушли. Конечно, трудно думать, чтобы ушли они так далеко.

После появления русских шелаги собрались и ушли куда то, но куда неизвестно. С ними и омоки, но из омоков ушли только богачи, а бедные („гуща" по выражению о. Андрея) остались.

К рассказу о попытке чукчей принести миссионера в жертву: воин-разбойник или „богатырь" Котто явился спасителем.—„Энель"— не троньте.— Чукчи есть оленные и жилые,— рыбаки. Последние — а н л е к е н. Оленные же — ч а у х ч и, откуда и название чукчей.

* Повидимому В. Г. ошибся в имени. Речь идет очевидно о священнике Александре Аргентове, миссионере и исследователе Якутского края, авторе „Путевых записок в приполярной местности" и других.

Чукчи независимы. В своде законов они поименованы, как несовершенно-подданные, и во внутренние их отношения никто не вмешивается.

Очень интересная страница зачеркнута почему то цензором: на Чаване, описывая свое пребывание там, о. Аргентов отмечает „местные ветры", не имеющие определенного направления, дующие от или около утесов и хребтов и происходящие от неравномерности температуры у камней. Там называют их „своими" или „жилыми" и происхождение их чукчи об'ясняют следующим образом: около каждого утеса есть небольшой камешек не меньше мухи и не больше кулака. Он имеет форму птицы, или волчьей или медвежей лапы и т. д. Это хозяин. Он помещается в углублении в роде чашечки и постоянно пошевеливается. И вот, куда такая птица-хозяин повернет свою голову,— туда дует ветер.

Такие хозяева, только быть может другой формы — есть и в воде и в лесу. Рассердить их беда. Тогда в соответственном промысле пойдет незадача,—„урос" *.

3 марта

Веселая барышня! Я встречаю уже не первую „веселую барышню" в этом роде. Этот заразительный смех, оживленная болтовня, остроумие, блестящие глазки,— и под всем этим дрожит и бьется накипевшая в глубине души меланхолия; среди смеха замечаешь вдруг какие то подергивания лица, губы вздрагивают и начинаешь

* Далее в дневнике следуют выписки из писем к В. А. Гольцеву и к В. Н. Полляку от 22 февраля. Первое письмо касается размолвки В. Г. с „Русской Мыслью" по вопросу об отношении к „Северному Вестнику". Письмо к В. Н. Полляку — о проекте устава предполагавшегося общества литераторов и журналистов. Письма эти печатаются полностью во 2-й книге писем наст. издания (№№ 7 и 8).

бояться за нее,— а что, если ее смех вдруг оборвется и она разрыдается. И болтовня странная: она говорит о себе, о других так много, так откровенно, но вместе с тем чувствуешь постоянно, что она хранит в себе так много еще невысказанного, с каким то страхом избегая малейшего прикосновения к чему то, лежащему в душе. Скрытность или сдержанность лежат под ее откровенностью также, как под веселием — скрывается грусть и слезы. Тем не менее,— я ужасно люблю слушать, как она говорит и смеется: все таки тут бьет ключом и журчит природная живость, как ручеек под тонкою льдиной.

Сегодня наша веселая барышня чуть не умерла: угорела. С большим усилием, среди ночи доползла она до двери, отворила ее и, неодетая, вышла на лестницу. В эту ночь была страшная мятель,— настоящая буря. Ее обдало холодом и снегом, и она потеряла сознание. Придя в себя от того, что ноги закоченели в снегу, она поднялась к себе в комнату, наскоро накинула шубку и калоши и опять спустилась с лестницы: оставаться в комнате, чуть не ставшей для нее могилой, ей было страшно: ей вспоминалась тоска близкой смерти, когда она, отуманенная, теряя сознание, искала и не могла найти выход. Поэтому она опять часа два сидела на крыльце. В двух аршинах от нее висела ручка моего звонка,— ей стоило позвонить, и она нашла бы у нас тепло и уход. Но — это тоже характерно для нее,— она, как несчастный маленький зверек, жалась на холоде, зябла и думала, что может замерзнуть,— но и не подумала позвонить и потребовать этой услуги. Сегодня она хохочет и рассказывает обо всем этом, как о веселом приключении. Она усвоила этот тон в обращении с людьми, и уже только тогда расскажет им о том, что заставляло сжиматься ее сердце от тоски и ужаса смерти,— когда сможет над этим

посмеяться. А над многим еще смеяться она не может, воспоминание о многом сводит ее губы в плачущую гримасу — и потому о многом она, откровенная, никогда не заикается.

Тем не менее, сегодня мы с ней поговорили по душе без смеха и серьезно. Она начала с ощущения близости смерти.

— Стра-ашная тоска, такая, знаете, тоска была, когда я не могла найти дверь,— ах какая тоска. Значит, я еще сильно жить хочу, право.

И она смотрит на меня немного наивным, недоумевающим взлядом.

— Знаете,— я долго не знала, что такое смерть. Не верила, право не верила, что люди умирают. Так как-то, просто игнорировала. Это когда еще в гимназии была. Потом у меня умерла подруга, которую я ужа-асно любила,— от чахотки. Я уехала на каникулы, когда уж она плоха была, но от меня скрывали. Я всегда была впечатлительная. Потом приезжаю, брат и говорит: ты бы сходила к Мане, она плоха очень. Хотел подготовить меня,— знаете ли... Пожалуй, говорит, уже не застанешь. А я такая уж глупая,— всегда понимаю буквально, что мне говорят: он хотел во мне возбудить тревогу, сомнение, не правда ли? Очень плоха, пожалуй не застанешь... А я и не думаю, что уж она значит умерла. Купила апельсин, прихожу... Вхожу в квартиру, смотрю, а там гроб. И Маша лежит... Не Маша, а что-то такое, другое совсем... Ах, что тут со мной сделалось,— вы не можете себе представить... Если уж она, такая хорошая, гораздо лучше меня,— и умерла, так я и думаю себе: как же мне жить. И я захотела непременно умереть: стала нарочно бегать в мороз не одетая, чтобы простудиться. И действительно заболела сильно. Сначала мне было все равно,—поправлюсь или не поправлюсь. Но потом мама увезла меня в деревню, и я стала поправляться. И тогда мне опять страшно

захотелось жить. Ужасно захотелось жить. Ах, вы не знаете, как я люблю жизнь...

И она захохотала своим веселым смехом, и искорки забегали у нее в глазах, а лицо закраснелось, как будто от стыда за свою любовь к жизни.

— После этого я спрятала Машину карточку, чтобы ее совсем и не видеть и старалась не вспоминать о ней. Это эгоизм, не правда ли?.. Но только я даже всегда бывала недовольна, когда ее мать приходила к нам. И зачем, думаю бывало, она приходит, только раздражает меня.

— Вторая смерть — была смерть отца. Я его очень любила... Тут со мной Бог знает что делалось,— в гроб к нему ложилась, вынимали меня,— одним словом с ума сходила. Но все же еще не так... А вот когда умер один господин, знакомый... Хороший, честный, ах, такая право, идеальная личность...

Говоря эти слова она опять застенчиво взглянула на меня, как будто боясь, что, заговорив об „идеальности" рискует встретить с моей стороны насмешку и готовая тотчас закрыться от нее своим переливчатым смехом. Но я не смеялся, и она продолжала с большим доверием и грустно:

— Знаете, главное ощущение мое было, что все это как то непонятно и глупо. Так глупо, так глупо, что я не могла этого вынести. Прежде еще я хоть верила, что Маша есть, где то на том свете, а уж когда умерли отец и тот господин,— я уже не верила этому. Просто вот были люди, хорошие, гораздо лучше и честнее, и сильнее меня, и потом их нету и ничего от них нету... Я решила уморить себя голодом... Право.

Она чуть-чуть засмеялась, опять застенчиво посмотрела на меня, но видя, что в защите нет надобности, что в открытый ею уголок души я сумею взглянуть с участием и интересом,— она продолжала с возростающим доверием:

— Девять дней я ничего не ела. Ходила к знакомым, никто ничего не замечал. Только со мной начались какие-то странные припадки. Это оказывается от голода. Когда я после рассказала одной женщине-врачу,— что вот я испытывала когда-то такое состояние,— она и говорит: матушка моя, да ведь это симптомы голодной смерти, право это симптомы голодного умирания!..

— Ну и что же?

— Ну, вот, все таки я очень живуча! Как-то пришла к одному знакомому, там как раз письмо получено из Петербурга, читают, спорят. Я и очнулась. Что же это я делаю! Тут кругом жизнь кипит, а я что задумала... Говорю вам: страсть, как я люблю жить. Ужасно люблю!

— Что-же так и прошло это, без следов?

— Знаете,—какая-то болезнь со мной случилась; мне стало казаться, что я все выдумала, что все мне только кажется: и Петербург я сама выдумала и всех этих идеальных людей. И потом я себя спрашиваю, а сама я себе кажусь или нет.

Тут она опять весело захохотала, покраснела еще сильнее и потом продолжала, наклонясь над вышивкой, из которой выдергивала иголкой канву. Лицо ее густо покраснело,— видимо от порыва непривычной откровенности, в которой она заходила все дальше и дальше с обычной своей нервностью, доходя в этом настроении до конца.

— Ну, потом вспомнила я про одного своего знакомого, который ужасно любил есть. С таким он всегда аппетитом и так старательно-старательно ел, точно что нибудь особенно важное делал. Вот я и думаю: уж этого я наверное не выдумала. Ну, идеальных,— могла выдумать, а уж это нет: непременно бы выдумала иного какого нибудь. Пришла к нему,— право,— и говорю:

— Пришла я посмотреть, как вы едите.

Теперь мы оба расхохотались.

— Что же он, не обиделся?

— Стра-ашно разобиделся сначала. И заметьте: как раз застала его за едой. Сидит за столом, под бороду салфеточку завязал, щеки у него жирные, масляные и губы, когда он собирается есть,— какие-то особенные. Ну, думаю, такого действительно никак не выдумаешь. Ей Богу,— говорю ему,— вы не обижайтесь. Покушайте, пожалуйста, а я посмотрю, что ведь вот есть же люди, которые кушают себе, пьют, спят и вообще значит ничего особенного еще в мире не случилось...

Мы опять засмеялись.

— Что же он исполнил просьбу?

— Да,— он был добрый человек, очень добрый. Мы с ним были приятели, и он меня тот раз очень успокоил одним своим видом.

Она замолчала.

— Вот,— сказал я,— ведь одна какая нибудь минута,— если-бы вы не спохватились, или заснули-бы, а не читали книжку,— и теперь мы не разговаривали-бы с вами, а вы-бы лежали мертвая, а мы-бы тут стояли, жалели, может быть и поплакали.

— Да,— сказала она серьезно, поднимая глаза с наивно вдумчивым и как будто жалостливым выражением на подвижном лице.— И все-бы жалели, а я ничего-бы не слышала, ничего, ничего... Вот ведь говорят: тяжело умирать, хорошо умереть. Нет, а я ужасно рада... Как подумаешь, что ничего-бы от меня не было, я-бы не чувствовала себя, совсем, совсем-бы исчезла...

— А вы в этом вполне уверены?

Она опять кинула застенчивый взгляд, наклонилась еще ниже к вышивке и сказала тихо:

— Н-нет, не вполне. Впрочем, я не знаю, только думаю, что во всяком случае сознание зависит от всего

организма, от крови, от нервов, от всего и значит, если все разрушится... Знаете — трудно сказать... вот насчет Бога например... Но только меня, все таки не будет. Говорят там — переселение душ. Конечно пустяки! Или вот спириты,— нет я никогда не поверю этим глупостям. Или еще: все дела человека оставляют след, нравственное влияние. Но ведь это останутся мои дела, они будут в других, а меня, именно вот той, которая теперь чувствует и говорит,— все таки не будет.

— А знаете,— вот я вспоминаю себя, какая я была прежде, в семье, когда была маленькой девочкой. Ведь уж я и теперь не та, что была. Я вспоминаю о себе, как о совсем постороннем человеке. Вы это чувство испытывали?

— Нет, никогда. Я часто вспоминаю себя мальчиком, как с книжками в руках я шел в пансион и гордился тем, что я уже в училище. И тогда я думал: а ведь я когда нибудь вырасту и буду большим. А теперь у меня есть минуты, когда мне кажется, что я еще не дошел до пансиона, а остановился на улице, продолжаю мечтать и мне только кажется в воображении, что я большой, а я все еще тот, маленький мальчишка.

— Ну, значит, вы не переживали такой крутой ломки, а я пережила страшный переворот. Семья у меня была патриархальная, религиозная. Я была ужасно набожна и помню раз плакала, почему я живу в такое время, когда нельзя умереть за Христа. А во время исповеди мне все казалось, что я разговариваю с Христом и открываю перед ним свою душу... Так приятно, так приятно... Вы это испытывали?

— Нет... То есть испытывал, но мне, наоборот, бывало ужасно тяжело. Я все старался, звал его, обращался к нему. Иногда мне казалось, что я действительно говорю ему, но тотчас же образ удалялся и слова заученной молитвы летели в воздух. Мучительно.

— Ну, а мне было приятно. Знаете,— мать моя и до сих пор очень набожная и верующая. И это не ханжество,— нет, право это у них искренняя вера. Она говорит, что эта жизнь обречена на горе, на страдания, что мы и не должны стремиться к радости. Поэтому у нас в доме всякое веселье, всякое развлечение, всякая забава—изгонялись и преследовались. Все это, весь этот шум жизни, считали грехом. Очень религиозная была семья,— и уж я какая то такая уродилась. Все мне хочется, чтобы в жизни была радость. Думаю,— ведь есть же она где нибудь. А если нет теперь, так все таки может быть, хоть когда нибудь, хоть для других. Вот, знаете, и началось это у меня. Еще отец был жив. Прочитала в газетах о каком то голоде... Дети, ни в чем еще не грешные,— корчатся, мучатся... Прибежала я к отцу с газетой, в исступлении каком-то. Ну где же ваш Бог говорю,— по крайней мере, где Бог милосердный, праведный... Где он. Ужасно много я тогда о свойствах божиих думала и все с отцом спорила. Он у меня очень живой был,— целые дни бывало спорит, а потом утром, я еще в постели лежу, он придет и опять: давай, деточка, еще поговорим. Это он всю ночь думал, придумывал, чем меня убедить. Покажется ему, что нашел неопровержимое доказательство, а я опять опровергаю... Раз священнику призналась. Тот в ужас пришел: „это все оттого, говорит, что вы рассуждаете, а надо просто верить". После этого, я у них уже никогда не спрашивала. Все сомневалась, а уж потом в Петербурге,— тут совсем другое пошло...

— Что-же, совсем порешили?

— Как то не думала. А все таки, знаете, когда один господин пришел ко мне... Развивать (она опять звонко и весело засмеялась)— мы с ним порядочно поругались. Он тут говорил, говорил, а потом указывает на икону

и спрашивает: это у вас что за картинка повешена? Так мне это показалось нехорошо, фальшиво. „Я не хочу, говорю, чтобы вы смеялись... Да и зачем этот вопрос". А он и говорит: ну не будет из вас толку: для верного понимания социальных идей необходимо предварительно покончить с этими предрассудками...

— Да, а знаете, что я думаю: я думаю, что необходимо прежде так или иначе разрешить эти вот вопросы, а уже тогда решение социальных вопросов выйдет из этого, как частная задача из общей формулы. Нужно постигнуть общий смысл жизни.

— Да, да! Я тоже думаю... Вот для мамаши жизнь имеет смысл: страдание здесь, чтобы там радоваться... Равновесие какое-то...

— Ну, хорошо, М. П., а как вы думаете: если Бог действительно есть, будет он сердиться за то, что вы его отрицали.

— Нет, не будет,— сказала она, подымая опять глаза от вышивки...— Я искренно...

Вот какие мысли бродят в голове веселой барышни...*

Говорят, литература есть лишь зеркало общества, и ее назначение — лишь отражать то что есть. Тут заключен один пошлый трюизм и одно очень вредное заблуждение. Когда нам говорят, что в литературе отражается

* Дальше под датой 8-го марта сделаны выписки, впоследствии зачеркнутые рукою В. Г., из статьи Н. К. Михайловского о Надсоне. („Дневник Читателя", „Сев. Вестн." март 88 г.). Выписки эти пометкой на полях („К стр. 49") связаны с записью от 11 июня: „Из письма к начинающему поэту". Далее под 9 марта выписки из статьи Спасовича „Байронизм у Пушкина и Лермонтова" („Вестник Евр." март 1888 г., стр. 82) также зачеркнутые рукою В. Г. На полях в начале выписки написано „К статье об Альбове". Затем после даты „17 марта" оставлена незаполненная страница и вырезаны четыре листка тетради.

данное состояние общества, что (по Тэну*) литература является результатом трех факторов: расы, климата, истории и не может дать ничего, чтобы не включалось в известную „причинность",— это теперь уже трюизм, с которым никто не станет спорить. Таким образом литература п о н е в о л е зависит от данного состояния общества. Но что же из этого? Следует ли отсюда, что у литературы нет другой цели, как лишь отражать данное состояние общества, его жизни, но никуда не звать, ничего не отвергать, не проклинать, не благословлять? Вовсе нет, я думаю. Это можно было бы сказать лишь тогда, если бы сама жизнь была чем то неподвижным, мертвым, статическим. Но жизнь изменчива; от форм прошедшего она непрерывно переливается к формам будущего, а настоящее — это некоторая фикция, в понятие которой мы лишь прихватываем часть от прошлого и часть от будущего, взаимодействие и борьба которых представляют то, что мы называем современностью. Если таким образом, жизнь есть движение и борьба, то и искусство, верное отражение жизни,— должно представлять то же движение, борьбу мнений, идей... Теперь вопрос: нам скажут — пусть так, литература о т р а ж а е т д в и ж е н и е, но как зеркало, она только о т р а ж а е т, не пытаясь стать на ту или другую сторону (ведь это для зеркала и невозможно). Тут то начинается вредное заблуждение. Зеркало, отражающее мои поступки — не я и не часть меня; а слово, печать, литература, искусство,— это часть, это функция самого общества; это не зеркало. По литературе можно судить о состоянии общества,— да; так же, как по походке мы судим о крепости того или другого человека. Но все же его походка не есть зеркало; для него она — походка

* Ипполит Тен, (1828—1893) знаменитый французский мыслитель, историк.

и сама по себе имеет целью унести его с одного места и привести к другому. Так же и литература, кроме „отражения“ — еще разлагает старое, из его обломков созидает новое, отрицает и призывает. И вся эта деятельность не может, конечно, выйти из пределов причинности. Наши идеалы *отразят* на себе наш характер, наше прошлое, нашу расу и историю. Но это отражение—не цель. А цель — в движении, в тех или других идеалах.

Еще пример: проповедник громит пороки, призывает к добродетели; слушатели плачут, разносят по домам новые чувства, новые намерения, новые верования; они сжигают дома своих фетишей, они меняют свои отношения, они перестают приносить человеческие жертвы.

Приходит последователь Тэна, в роде ну хоть г. Чуйко *, и говорит: этот проповедник, происходя из того же племени, отражает в себе все его характеристические черты. Его проповедь есть не более, как результат его прошлого, его расы, его истории и т. д. В его горячих тирадах — слышно влияние климата, страны, прирожденного темперамента. Мы слушаем г. Чуйко и говорим: верно. Но каково было бы всеобщее удивление, если бы г. Чуйко обратился к проповеднику и сказал: ты — то же, что и твои соплеменники, ты только отражаешь свое племя, как зеркало, твоя проповедь не имеет иной цели. Как?—ответит он,— я, понявший истинного Бога, и эти антропофаги — одно и то же. Я отражаю их точное изображение, когда указываю им на Единого Бога и зову к любви? Без сомнения вы, г. Чуйко, шутите.

И действительно, это похоже на шутку и очень притом обидную для человечества. Недоразумение тут происходит от смешения *признака* одного из присущих свойств — с целью. Проповедник, о котором идет речь,— неизбежно

* В. В. Чуйко (1838—1899), литературный и художественный критик.

отразит на себе многие черты своей расы и будущее, к которому он призывает, неизбежно прихватит в себе много из прошлого и из настоящего. Но это неизбежное отражение не есть цель проповеди, а лишь ее свойство. Г-н Чуйко скажет, что это цель.

Может быть возразят, что литература и проповедь не одно и то же. Я хочу сказать только, что способ аргументации „отразителей" одинаково относился бы и к моральной проповеди. Все дело в том, что литература только шире и разностороннее. Но ее орудие, слово, не есть мертвое и внешнее зеркало; оно есть в то же время орудие живого, движущегося, совершенствующегося духа. Оно есть орудие совершенствования. Всякая современность есть переход от прошедшего к будущему, движение. Она заключает сложнейшую систему, сплетение отживших моментов с действующими и только еще зарождающимися. Как ноги уносят человека, положим от холода и тьмы, к жилью и свету, так слово, искусство, литература — помогает человечеству в его движении от прошлого к будущему. Пусть само орудие неизбежно зависит от характера самой жизни. Жизнь — движение, борьба, а искусство — орган умственного движения и борьбы; значит цель его — не просто отражать, а отражать, отрицая или благословляя. Из сложной сети современных явлений оно берет одно явление, как отжившее, другое, как признак обновления... Понятно, что всякий орган функционирует согласно со своей природой. Работа критической мысли—определения и точные выводы. Работа воображения—образы и картины. Поэтому от художника мы не требуем точных чисто логических определений, но в праве требовать „точки зрения". Только хорошо выбранная точка зрения дает верную перспективу, в которой тени и света располагаются правдиво. И мы тогда видим, откуда встал свет и куда ведет та или другая затененная

тропинка. Путь истории человечества длинен, утомителен, порой освещается сиянием света, порой спускается в мрачные долины, где лучи сквозят скупо и где мы склонны усумниться даже, — уж есть ли полно на небе солнце...

Искусство, которое в такую пору только отразит общее уныние, отчаяние и безверие, будет только его зеркалом,— изменит своей святой и высокой цели. Нет, в толпе, которая бьется во тьме и холоде, найдутся люди, которых восприимчивость к свету солнца и дня была больше, которых воображение бодрее и здоровее, в крови которых дольше играет сияние дня. Они напомнят о блеске солнца, о синеве неба, о том что уже много раз была тьма и опять сиял свет. Они скажут это не одними сухими доказательствами,— в их словах засверкает действительно блеск и сияние, которое другие увидят в их творениях, и поверят, и вздохнут бодрее, и скорее выйдут на свет. Вот цель искусства в такие периоды. В периоды пессимизма, разложения характеров и отчаяния,— эти отрицательные стимулы невольно врываются в искусство, отражаются на нем. Но в этом ли отражении цель? Нет, — тем более нужно бодрости, веры, призыва... Изображать это нужно, но это должно быть не стихийное отражение, а проповедь, поучение, отрицание. Если вы дадите это отражение в перспективе верной, широкой и правдивой,— значит, вы уже тем самым отрицаете его. Вы покажете свет, наряду с тенью и уже это соседство отнимет у тени ее мрак и угнетающий душу характер. Но для этого нужно, чтобы среди ослепших от темноты людей вы, художник, сохранили остроту зрения, чтобы вы отражали не одно то, что является господствующим в данной современности.

Есть одна местность, покрытая страшными топями. Неверный шаг,— и вы погружаетесь в трясину. Жители этой местности, отправляясь в путь, берут в руки длинные

шесты. Правда, шесты эти затрудняют несколько быстроту движения. Зато, провалившись в трясину,— путник находит в шесте спасение. Одним концом шест падает назад, на то место, откуда путник только что сошел и где он стоял твердо. Другим—шест достигает непременно твердой земли лежащей впереди.

Искусство представляет такой же шест на пути человечества. Логическая мысль, логические выводы действуют легко, быстро, точно и определенно. Вывод следует быстро за посылкой. Но,— несколько неверных посылок, несколько неверных шагов по пути силлогизма,— и логическая мысль заводит вас в трясину. Работа воображения не так подвижна, не так точна и определенна в смысле выводов. Люди, наделенные сильным чутьем жизни,— не пишут утопий. Крупные художники никогда не стояли (или очень редко), как таковые, в самых передних рядах крайних политических партий. В момент, когда мы горячо искали новых жизненных форм, горячо отрицали старые и быстро кидались на новые,— у нас вышла не малая таки ссора с крупнейшими из наших художников. Я не говорю уже о Гончарове, который к своим образам примешал несколько чисто логических формул заключавших грех против живого духа, но и Тургенев и Толстой оказались „отставшими". Но вот время изменилось, и имена наших великих художников являются для нас знаменами, которые стоят в высоте, освещенные солнцем в ту минуту, когда мы после нескольких шагов вперед — сделали много десятков шагов назад и засели в настоящую трясину реакции. Их образы не вполне укладывались некогда в рамки наших утопий, и мы предпочитали произведения, поучавшие нас, не изображая жизнь, а подтягивая и ломая ее. Теперь, когда подтягивание и ломка идут в другую сторону,— мы обращаемся к нашим художникам.

8 апреля

Приехал из Петербурга *.

20 апреля **

I

Мы заблудились, и пробродив часа два по болотам, наконец вышли из лесу на поляну. Вдали чуть виднелся горный берег при слиянии Оки и Волги, затянутый сизою, светлою, но тем не менее плотною мглою. Такая мгла стоит по временам над Волгой. Она суха и трудно проницаема. Не то туман насыщенный дымом, не то дым из пароходных труб, отяжелевший от речной сырости и повисший низко над рекой. Из за этой завесы неясно, какими то намеками виднелись куполы церквей, очертания больших домов. Все это чуть-чуть проблескивало кой-где и казалось плавало в этом море тумана.

Но над полями воздух был прозрачен, лужи синели глубокой синевой, кой-где пробивалась яркая молодая зелень. Мы прилегли над одной из таких лужиц, синевшей в ложбинке и отражавшей синеву неба и тихо двигавшиеся по ней белые облака. Откинувшись на спину, мы лежали на сыроватой прошлогодней мураве и смотрели вверх. Не хотелось вставать, не хотелось говорить, двигаться. Только глядеть туда кверху, где продвигаются белые, легкие облачка, да дышать этими весенними веяниями, что проносятся свежими острыми струями. Да еще слушать...

* Далее под датой 13 апреля В. Г. записал рукописи с их краткими характеристиками, отосланные в журнал „Северн. Вестник", в редакции которого он в это время принимал участие. Эта запись, очевидно позднее, зачеркнута и следующие за нею 12 страниц дневника вырезаны.

** Против записи от 20 апреля, рукою В. Г. поздним почерком написано „Жалко, не продолжал".

Что? Ничего в сущности... Какой то звон, идущий будто из под земли, яркие трели жаворонка, к которым уже прислушался, так что почти их не замечаешь, отдаленный крик вороны, накликающей дождь. Из лужи слышны еще два голоса. Один низкий, но звонкий, полный и мелодичный. Другой повыше, но такой же глубоко-печальный... Какие симпатичные, полные грусти голоса... И подумать, что издают их две лягушки. О чем это они грустят, на что жалуются... И невольно вспоминается старая нянина сказка. Да, только она, несчастная царевна, прекрасная, как сияние майского дня,— может жаловаться на судьбу так мелодично, так трогательно и задушевно. Она, превращенная злым колдуном в самое отвратительное из животных, с холодной кожей с зелеными глазами на выкате. Что может быть ужаснее,— любящая душа и отвратительная оболочка... Мне вспомнилась она,— с такой же прекрасной душой, как у несчастной царевны и с безобразным лицом. Я задумался о ней, под продолжавшиеся жалобы лягушки и забыл обо всем. Я только смотрел в синюю лужу... В одном месте на ней шли легкие круги. Что-то вздувалось там, вода вздрагивала, черный бугорок всплывал на поверхность, мелодичный стон проносился в воздухе, неизвестно откуда, неизвестно где замирал,— и круги на воде тоже замирали, а лягушка скрывалась, чтобы мы, слышавшие ее голос, не могли видеть ее безобразия.

И о н а также ушла в свою нерадостную темную кожу, и давно уже улеглись круги, которые она подняла когда-то в окружающей жизни*...

* На этом запись обрывается. Несмотря на то, что после ряда точек рукою Владимира Галактионовича написано: „продолжать", в архиве не найдено никаких следов дополнительной работы над этим намечавшимся, очевидно, началом очерка.

ПЕССИМИСТЫ*

I

Мы поднялись и огляделись, куда предстояло идти. Налево роща, кругом охваченная пашнями, синела ровным четыреугольником, под ней что-то в роде кабака с еловой веткой на шесте и мимо пролегла серая полоска шоссе. Проследив глазом ее направление, мы увидели его невдалеке от себя. Вправо оно убегало межь деревень. Две мельницы быстро махали крыльями, кой где на полосках виднелись пахари, по шоссе тянулись телеги. Мы узнали вправо деревню, где вчера ночевали и пошли туда. Идти по холодку было приятно и мы решили идти прямо, не заходя на место ночлега. Впереди обозначались верхушки ярмарочного собора, налево высокая труба сормовского завода тихо выдыхала клубы темного пара, направо почва покрытая бурым дерном, как то особенно поднималась правильными долгими буграми. Это виднелись уже склады керосина... По бокам дороги как и прежде синели лужи с опрокинутыми в них кустами, заборами, и с тихо ползущими отблесками от облаков.

— Что,— упрел?..

Это окликает меня мужик едущий в телеге на одной лядащей лошаденке.

— Ничего...

— Далече идти-то?

— В Нижний. А тебе?

* Заглавие „Пессимисты“ в начале этого наброска проставлено очевидно позднее, так же, как и номер „I“. Затем беглая приписка в конце: „Развить. Заглавие: Пессимисты (не связать ли с очерком „Кондуктор“?)“... указывает, что эту запись Владимир Галактионович предполагал развить в очерк. В записной книжке за 1888 год под датами 13 янв.— 6 февр. занесен набросок, озаглавленный „На железной дороге“ и далее „Кондуктор“.

— В Сормово... Масло вот везу да еще кое-чего.

— Продавать?

— Продавать.

Он подгоняет лошадку, но та только помахивает хвостом, и не может обогнать нас. Мы идем быстро. В виду этого мужик продолжает разговор, нахлестывая лошадь...

В стороне от дороги видны шатры. Бурые сверху, грязно серые внизу,— они тем не менее очень живописны. Молодая черноволосая девочка или девушка как стрела вылетает из шалаша и кидается к нам.

— Ба-а-рин, добренький...— тянет она подбегая за нами то и дело падая на земь и целуя ее...— На здоровличко тебе-е... Несчастные сербияне, турками разорёны... Подай, добренький барин.

В других шалашах пологи тоже шевелятся и еще два таких же черномазых существа несутся прыгая через придорожные канавы. Чтобы избавиться от этих ноющих причитаний, от этих провожатых,— я наскоро вынимаю 15 коп. и подаю первой девушке.

— Всем троим,— говорю я и быстро иду вперед.

К моему удивлению, не успеваю пройти нескольких шагов, как у моих ног уже лежат два черномазых существа. Они не отстали.

— Да ведь я дал всем.

— Не дает... уна... уна... не дает.

— Эй ты,— дай им,— кричу я.

Но девочка поворачивается ко мне со смехом. Ее белые зубы сверкают, чорные глаза искрятся на оливковом лице.

— Не дам,— говорит она весело, с торжеством подымая в руке монету и быстро перескакивает через канаву. Между тем двое нападающих кувыркаются у моих ног, припадают к земле целуют ее и опять забегают вперед.

Мне вспоминается сказка о том как змей ехал в гости к цыгану и до смерти напугался цыганчат... Чтобы отвязаться я даю и им по пятаку.

— Дал таки,— говорит мужик, который все время внимательно следил за этой сценой.— Невозможно не дать,— говорит он, замахиваясь кнутом на своего серка.— Такие уж народы. Прошлого году этто иду из лесу мимо вон той корчмы (он указывает кнутовищем назад на домик с елкой). Набрал себе в лесу ягод и сам себе так говорю: будут цыганяты просить,— не дам. Потому им ближе,— сходил в лес, набрал. А то весь день на солнце спины парют. Ну, иду. А они в ту пору около корчмы становище имели. Вот выбегают: „дядюшка, милостыньку дай... Ягоду дай"... Пошли, говорю, лентяи,— вон лес под боком, бери сколько хочешь. Сам иду. Что же ты думаешь: две версты бежал за мной этак же... Не выдержал я: на говорю, чертенок, бери одну ягоду. Взял... одну ягоду взял, побежал назад. Стало быть за стыд себе почитает, ежели не дать ему: не умел дескать выпросить.

— Д-да, всякие народы по нашей дороге ходют,— произносит он.— Идет народ, и идет я тебе скажу, народ просто без счету. Вон вишь — странник...

Впереди навстречу идет странник в какой-то удивительной шапке, в подряснике, ноги обвязаны тряпками, за спиной котомка. Поровнявшись с нами, он окидывает нас быстрым взглядом, останавливается, как будто решаясь попросить, но так как мы идем не замедляя шагов, то он тоже проходит. Через несколько минут он виднеется уже далеко назади.

— Да, много,— продолжает мужик...— Теперича из Сибири сколько этого народу идет... И такие есть, что по подписке...

— Как по подписке?

— А так... Подписывались, что значит царю у нас не быть или вроде этого. Знаете-ча... политические... вот какие...

Я взглядываю на него. Он одет не совсем по крестьянски. На нем рыжеватый пиджак, короткие брюки из летней материи на выпуск. Небольшая фигура, сгорбленная на передке телеги с висящими на воздухе короткими ногами в грубых сапогах... на голове городской картуз. Он еще довольно молод, и лицо его скорее напоминает мещанина. Глаза глядят спокойно, говорит он также спокойно, хотя и охотно.

— Да мало ли их теперь гонют, целыми вагонами возют. Вон царя убили,— что хорошего вышло, чего хотели... Ну, ты, трогайся!.. Да, чего хотели?.. Неизвестно. То ли обидно им, что крестьян отнял?..

— Вон поляк шел из Сибири... стало быть строк ему вышел, к себе возвращался. У меня и ночевал. Не любит нашего царя, обиждается. Что говорит,— продали мы свою царству за мешок за-золу, за бочку за масло, да за бочку за-золото. Одна, говорит, часть пошла пруссаку, другая австрияку, третья самолучшая сторона Варшава — доставалась притеснителю, говорит, русскому царю... Вот как... Зачем же ты, говорю, про нашего царя так говоришь. А затем, говорит, что искоренил нас в корень, корни т. е. унистожил... Я вот сам 30 дервеень имел, а теперь за соху приходится держаться. Пуще всего этим обиждается. А я говорю: стало быть, так Бог велел, что мы вас взяли. Нет, говорит, не Бог велел, а сделали в роде грабежу. Будет, говорит, время, опять Польша будет... Другой слышь с им шел странник, тот в роде насмешки песню ему поет: еще Польска не згинела пока вудка не скваснела... А он сердится... Все говорит взяли, ну, а коруну нашу не нашли. Скрыли мы коруну, не найти вам ни вовек.

— А что нам,— я ему говорю,— в коруне в вашей. Ср... что ли в нее в коруну-то... Ну, ты, мертвая!..

— Коруну, говорит, не нашли... Можем свою царству поворотить назад... Будет это только, значит поздно... Корни унистожил руской царь...

— Вот как говорит... А то еще шел другой... Тот сам себя русским называет. Русской я говорит из N города... Политический с соколинского острову. 4 говорит прошения подавал. Сорочка на ем хорошая, а пальтишко так себе, и с котомочкой. Денег видно нет, пешком идет по железной дороге. А за что, спрашиваю, вы господин, туда попали? А зато, говорит, попал,— за вас.— Чего же вы желаете?— А желаем мы свободы народу.— Какой же свободы, ежели мы слава Богу освобождёны Александрой царем.— Ты, говорит, не понимаешь,— потому вы народ темный, тупые вы. А когда, говорит, дети ваши в приходских училищах довольно обучатся,— тогда весь народ поймет. И сделают республику. Будешь ты тогда, например, республиканец.

— А что такое республика?— спрашиваю я.

— Царь чтобы выборный,— отвечает он небрежно.— Ну нет, говорю,— это нам в писании не указано. Может Бог то не попустит. Ну, а впрочем,— добавляет он задумчиво,— кто знает. Свет к тому идет. Училища теперь, мальчишки балуются. Прежде бывало с 10 лет его в кузницу ставили к работе. Стало быть ему глаз от работы поднять некогда было,— не то что баловаться. А теперь они до 16 лет по школам набаловываются.

— Так значит, может и будет республика?

— А что ты думаешь,—по грехам нашим может случиться, ежели Бог то отступится. Очень просто. Все идет не к хорошему, а к худому. Сколько не учи,— разуму не научишь. Образованию научишь, науке научишь,—а разум от Бога.

— Конечно от Бога. Но ведь Бог дает разум людям, чтобы они передавали его другим.

— Верно.

— Значит если учитель разумный, так он и учеников научит разуму.

— Нет, разуму не научишь никогда. Выучи его чему хочешь, а если он баловник, так баловник, а смирный да разумный — ну тот и останется *.

— Да еще и родители теперь дураки стали. Этто раз учитель ударил ученика линейкой, стало быть по руке. Так что ты думаешь отец-то? Чем бы благодарить учителя за строгость... Он говорит — я на тебя прошение подам. Нет, слабо, слабо ноне. Еще учителя ничего — бывают и хорошие, строгие, а уж учительницы... Нет! Слабы.

— У тебя дети есть?

— Есть.

— Куда ж ты их? Кто учить будет?

— Да уж никуда, — в школу. Куда больше.

— Как же если в школе балуются?

— Посмотрю я. А только невозможно. Как без этого. К тому свет идет теперь,— без грамоты человек вовсе никуда...

Все это он говорит со спокойной продуманной уверенностью. Теперь его несколько странное мещанско-мужицкое лицо начинает мне сильно нравиться. Он говорит с такой уверенностью, как человек много думавший, пришедший к нерадостным, но очень определенным заключениям. Он видит кругом торжество враждебных принципов, знает, что они должны восторжествовать окончательно и сообщает об этом другим.

— Тот то господин...— говорит,— и др . . . .** На то и идет... Надо бы,— близко бы было позвать урядника,— да уж так...

* Далее абзац от слов: „Да еще и родители теперь...“ до слова: „Слабы“ написан на полях тетради без точного обозначения места, куда он относится.

** Пропуск у автора.

— А урядник у вас хороший?— спрашиваю я, чтобы от вопросов высшей политики перейти к вопросам непосредственного интереса.

— Хо-ро-шой... старичок у нас, ничего...

— А взяток не берет?

— Не... а между прочим,— кто его знает. Может и берет с кого... с прочих. Мы не знаем, потому никогда не суживались. Раз к свидетельству был-же зван. Этто магазин Болотова обокрали. На другой день приехали двое,— нанимают до Орловки. Два с полтиной дали. В ту же пору говорил бабе: мотри, говорю, будет у нас из-за этих спрос: потому до Орловки-то полуденна машина бежит, а они на лошадях едут. Так мотаются,— вижу. Доставил. Посля того,— вернули из лесу,— говорят зовет меня кто то в корчму... Пошел. А это, слышь, Косткин был, сыщик, член полиции. Переодетой! Так одежонка на нем плохонькая, а с ним другой, пристав что ли, урядником одет. Ты, говорит, такой то?— Я.— Куда возил двух людей тогда то. Расскажи.— В Орловку-мол возил.— Куда привез?— В трактир.— А оттуда куда ушли?— Не знаю-мол куда ушли. Я уехал. Он опять сначалу: возил?— возил. Куда привез?— В трактир.— А оттуда куда-мол они ушли?— Не знаю. Как же ты сейчас сказывал, куда они ушли.— Что вы мол, господа. Вы пишите, коли памяти нет. Да што вы это за присутствие в кабаке открыли. Мне некогда. Ты вот тут водки уж напился, а я может с утра не ел.— Ах ты, ссукин сын,— ты разве можешь мне такие слова выражать.— А ты можешь ругаться. Вот что: я уйду-коли. Приходите на в'езжую избу, коли вы начальство,— а здесь я вас и не знаю. Повернулся. А другой меня за рукав. Постой,— говорит,— я с тобой не ругаюсь.— Хорошо,— я говорю,— а этого гони из-за стола.— Что ты, что ты,— как ты можешь. Это член полиции.— А коли вы

член полиции,— вы не должны ругаться. Вы должны нам пример показывать, чтобы мы укреплялись, а не то-што ругать человека скверным словом. Вот видишь, как я говорил с ним,— потому он без мундира.

— А если бы был в мундире?..

Он задумался.

— Побоялся бы... тогда бы не посмел.

Мы подошли уже к сормовской линии, и маневрировавший паровоз загородил дорогу.

— Микита, Микита! — стал кричать мой собеседник на кочегара, который только что вскочил на подножку паровоза.

— Ступай, ступай,— отмахнулся тот,— буду дожидаться на вокзале.

Паровоз быстро убежал по рельсам, а лошаденка Трофима тихо свернула влево и еще тише заковыляла вдоль линии.

— Прощайте, господа,—мотнул он головой и я в последний раз увидел его странное лицо с глазами, глядевшими с такой успокоившейся грустью из-под странного козырька порыжелой шапки...

Я долго стоял на месте и смотрел, как лядащая клячонка тащила плохонькую телегу с фигурой пессимиста вдоль линии, вслед за быстро мчавшимся паровозом. Наконец дым сормовских заводов закутал и паровоз и клячонку и телегу...

Развить. Заглавие: Пессимисты (не связать ли с очерком „Кондуктор"? Поляк — страстный и преданный до фанатизма своей родине; тоже пессимист. Сопоставление со спокойной философией Трофима. Последний видит и в поляке одну из враждебных сил грядущего зла. Затем — фанатик политический *.

* Далее в дневнике пол-страницы не занято текстом.

21 апреля

II

Пьяный с всклокоченной бородой и мутными глазами идет ругаясь и ворча по улице. Я иду навстречу с 4-мя детьми. Увидев, что я собираю ребят в кучу,— пьяный становится у тротуара. „Во фрунт!“ — командует он сам себе и снимает шапку, вытянувшись по военному. Когда ребята прошли мимо, он опять командует: „Накройсь! Налево кругом, марш“.

Городовой из будки с большой седой бородой и хронически-неодобрительным выражением на лице следит за его поступками. Видя, что его вмешательство не потребуется (да если бы и потребовалось,— едвали он поспел бы во-время) — он только качает головой.

— По какому случаю напился пьян,— говорит он с презрением.

— А по какому?— спрашиваю.

— Христос помер (дело происходит на страстной неделе в четверг). И так все будет горевать до самой пасхи. А как воскреснет Христос,— он опять напьется, уже с радости.

Он выпячивает губу и с крайним неодобрением смотрит вслед пьянице.

— Так уж у нашего народу,— ваше благородие... Поведения такая. Нет, я так понимаю, что руськой народ...

Он задумался.

— Неприятной! — и он махнул рукой.

— Неприятный, — переспросил я, заинтересованный этим своеобразным чаадаевцем.

— Верно,— с убеждением произносит он и потом добавляет с оживлением:

— Вот в шведчине... нет, там не так, там поведения совсем другая... ах какой аккуратный народ. В субботу скажем в 4 часа,— сейчас он работу бросает; хоть ты ему

какую кучу денег навали, вон экую (жест руками) — не станет работать. Сходит себе в кирку свою, потом домой... Выходи ты в воскресенье на улицу, с ружьем, — пали, знаешь, вдоль... т. е. по улице например.

Он прижмуривает глаз и прицеливается.

— Зачем это? — удивляюсь я.

— Нет, это я к слову, стало быть к тому, что можете вы выпалить, — никого не обидите: живой души нет. Чтобы это пьяных там или что... Ни-ни! В понедельник, например, во вторник там, в середу... они попляшут, повеселятся. И водочки когда выпьют, в меру. А в праздник нет. Как можно приравнять наш руськой народ к шведському. И-и!

— Да вы там жили, что-ли?

— На службе состоял.

— Ах, это в Финляндии.

— Ну-ну! Все одно, — шведчина, Финляндия называемая. Хорошая сторона, порядошная... *

ДЕТСКИЕ ФАНТАЗИИ **

Поздно ночью, часов около 12-ти в середине мая 88-го года, мы приехали в Сызрань и с парохода пришлось переезжать на вокзал, что бы поспеть к ночному поезду ***. Ночь была не холодная, даже, пожалуй, по весеннему-теплая, влажная и мягкая. Недавно выпал дождь, небо

* Далее в дневник занесен отзыв о трех рукописях для журнала „Северный Вестник".

** „Детские фантазии" записаны В. Г. в конце тетради дневника 1887—1888 г. без определенной даты, вместе с более ранними записями детских лексиконов и более поздними наблюдениями над старшими девочками. Для сохранения большей стройности дневника записи эти располагаются в хронологической последовательности.

*** В середине мая 1888 года В. Г. провожал жену с маленькой дочерью в Саратовскую губ. на хутор к сестре его жены А. С. Малышевой. Вернулся в Нижний-Новгород около 25 мая.

уже очистилось вверху, только на горизонте скучились облака; из-за них всходил месяц, но его еще не было видно; только свет его разлившись в сыром воздухе позади туч,— служил фоном, на котором облака рисовались резко и ясно: гребни чуть-чуть тронуло светом; кой-где мелькали причудливые просветы, и от них очертания облаков были фантастичны и странны. Сверху-же мигали звезды...

Укутав девочку, я вынес ее и уселся с нею на извозчика, с Дуней. Когда пролетка заколыхалась и колеса заплескали по наполненным еще водою рытвинам дороги,— она проснулась и поднялась у меня на руках, оглядываясь с удивлением. Несмотря на темноту — мне были видны ее широко-раскрытые глаза на белом личике. Ветер обдувал ей лицо, влажный воздух ночи, колыхание пролетки, темные крыши убогих пристанских лавчонок, проползавшие мимо и уходившие назад, потом широкий пустырь, налево — огоньки города, направо — далекое освещение вокзала и вверху — темное небо и звезды — все это было ей еще ново. Около года назад она тоже ехала здесь,— но тогда ей было только 1/2 года и, конечно, не могло даже остаться воспоминания. Теперь же она сначала притихла,— потом подняла лицо кверху и стала шевелиться стараясь высвободить и поднять руку к небу. Звездное небо в первый раз еще глядело сверху в эти синие глазки.

— Что это?— спросил я,— указывая на небо, куда и она тоже тянулась высвободив ручонку.

Она задумалась. Вообще, я заметил, что она редко оставляет вопросы без ответа,— старается всегда подыскать ответ, иногда удачно, иногда отделываясь явной бессмыслицей. Теперь видимо молодое воображение работало и два темных глаза продолжали смотреть кверху.

— Цитёцьки — вдруг сказала она.

— Что?

— Цитёцьки... вотъ — и она протянула ручонку кверху. Синее небо с рассеянными по нем желтыми огоньками она сблизила таким образом с муравой, по которой пестреют желтые цветы. Надо заметить, что она вообще очень любит цветы, и луг с цветами или сад всегда производит на нее ярко-радостное впечатление. Мне невольно вспомнилось при этом еще и то вероятное обстоятельство, что дети не должны различать синевы от зелени, как и младенческие народы. Это должно еще усилить сходство синего звездного неба с зеленым лугом, пестреющим ее любимыми одуванчиками.

Сон совсем прошел. Всю дорогу она ловила жадно раскрытыми глазами и чутким слухом—впечатления и звуки ночи.

— Сибака... аить...— задумчиво произносила она, когда к нам доносился нз спящего предместья ленивый собачий лай. И она искала собаку глазами, но не могла найти.

— Аить...— повторяла она вопросительно и с недоумением.— Аить... сибацька.

Это обстоятельство подало повод к новой странной идее: когда мы приехали на вокзал, и я ввел ее в комнату первого класса,— она только в первое мгновение окинула глазами обстановку вокзала и заплакала, когда я хотел ее уложить. Тогда я пустил ее на пол и она тотчас-же, взяв меня за руку, стала тянуть к выходу.

— Падём... папка...

— Куда?

— Дюдя... дюдя... И желая пояснить свое желание, добавила: цитёцьки.

Я вынес ее на крыльцо и сел с нею на широкой каменной тумбе. Она прислонилась ко мне и подняла лицо кверху...

— Диивцё... сюмить...— сказала она вдруг. Слово „шумит“ она произнесла еще в первый раз. Шелест деревьев, окружавших небольшую куртину перед вокзалом, слышался ясно, хотя движения ветвей не было заметно.

— Ко-ё-я му-у-у... опять сказала Соня и приподняла голову.

— Му-у — коё-я.

Я сначала не слыхал, но потом прислушавшись, различил полусонное мычание коровы где-то в хлеве или на каком-нибудь дворе. Вокзал стоит за городом, но около него ютятся гостинница и кой-какие постройки. Я не мог различить даже, в какой стороне раздается это мычание. Эти звуки были, если так можно выразиться,— так же темны и неопределенны, как и очертания деревьев, как темные хижины и пустырь. Одни только облака, из-за которых сквозил лунный свет,— во всей картине выделялись своей определенностью. Луна подымалась, облака тихо оседали книзу; от этого во всей их группе чувствовалась постоянная, хотя и не быстрая смена света, теней, очертаний; казалось, они двигались, ходили.

— Сибака... а-ить... Асядька... кицить...— все новые и новые звуки неясно и издалека выползали и достигали ее слуха: то лай собаки, то крик петуха, то ржание лошади. Наконец, девочка остановила взгляд на облаках и будто нашла то, чего искала:

— Воть...— указала она мне рукой.

— Что?— спросил я.

— Ко-ё-я,— сказала она.— Воть... му-у.

— Нет, Соня, это тучки.

— Тюцьки му-у...— согласилась она.— Асядька воть... сибацька воть...

Очевидно тучи казались ей теперь живыми, мычащими и лающими существами. Она твердо стояла на этой идее и когда я увел ее в вокзал и затем, по ее настоянию опять вывел,— она сразу повернулась к облакам:

— Коё-я — му-у...

Теперь воображение ее расходилось и в комнате ей не сиделось на месте. На столах горели свечи, отражаясь и дробясь в стекле бутылок, стаканов; за буфетом, склонясь головой спал прикащик; мальчишка, лет 14-ти, закинув голову, спал на стуле, у громадного самовара, который тихо пыхтел и дышал из отверстий паром, в ожидании близкого поезда. Соня подбежала к мальчишке, стараясь заглянуть ему в лицо,— подбегала к столам, перекатывалась как шарик из одного конца зала в другой.

— Сиб*а*ка, сиб*а*ка... вдруг закричала она и покатилась, подпрыгивая на пальчиках, в дальний угол, где за столом на лавке спал какой то пассажир. Он зашевелился поправляясь и укрываясь пледом, и тем привлек ее внимание. Лица его не было видно,— лишь одни ноги, закрытые пледом. Я удержал Соню, но через несколько минут, когда я, сидя на стуле, немного вздремнул,— я опять услышал ее уверенный голосок.

— Сиб*а*ка, сиб*а*ка.

Я проснулся, но уже было поздно. Она успела подбежать к господину и схватила его за ногу. Тот проснулся, быстро поднялся на ноги и я увидел его удивленное и недоумелое лицо. Сонька же стояла против него, тоже удивленная.

— Дядя...— сказала она, немного сконфуженно, подбегая ко мне и пряча лицо в колени.

Очевидно— лай собаки в темноте слишком ярко зародил идею собаки в ее головке, и она теперь всюду искала собаку: и в тучах, и в темных фигурах сонных пассажиров по углам большой вокзальной комнаты.

Только когда поезд сызранско-моршанской жел. дороги, вздрагивая, громыхая и покачиваясь,—отошел от станции— девочка, утомленная новыми еще впечатлениями в первый раз виденной ночи — стала засыпать под однообразный бег, стук и скрип вагона...

1 июня

Буланже* произнес или вернее прочитал в палате речь. Буланжисты никак не могли заставить его выучить ее наизусть. Все путал бедняга. В палате стоял хохот. Клемансо спрашивает: неужели-дескать палате предстоит серьезно вотировать „документы, прочитанные генералом"; в другой раз называет речь „мемуарами". Даже и Рошфор убедился, что малый безнадежно глуп, blitzdumm, по удачному немецкому выражению, и А. П. П-ва лишила его покровительства в „Волжском В-ке". Но зато теперь уже официально так сказать буланжистская партия окрещена „новоцезарианцами" и стало быть Буланже официально утвержден кандидатом в цезари. И пожалуй будет. История ставит свои требования и подбирает людей. Теперь ей очевидно понадобился дурак (уж не затем ли, чтобы окончательно сдать в архив и старо и ново-цезарианизм?) и вот историческая волна подхватывает и несет на своем хребте феноменального индивида в этом роде, который величаво посматривает и кругом и на будущее; дескать: другого такого не отыщешь!

3 июня

Когда я пишу какую нибудь сцену,—говорил Легуве** Скрибу***— я слышу. А вы — вы видите. При всякой написанной мною фразе голос говорящего звучит в моем ухе. Вы — олицетворенный театр. Ваши актеры ходят, суетятся перед вашими глазами. Я слушатель, вы — зритель.— Ничего не может быть справедливее,— воскликнул Скриб,— знаете-ли где я нахожусь, когда пишу пиесу? В средине партера. (La psychologie du Raisonnement, recherches expérimentales par l'hypnotisme, par Alfred Binet) (cité par Bernard, de l'aphasie, p. 50).

* Буланже — французский генерал, выдвигавшийся в то время бонапартистами в качестве претендента на императорский престол.

** Эрн. Легуве, французский писатель, драматург и романист. Некоторые из его драм написаны им в сотрудничестве со Скрибом.

*** Огюстен Скриб (1791—1861), французский драматург, пользовавшийся в свое время огромной известностью.

Алфред Бине * характеризует три типа памяти и соответственно 3 интеллектуальных типа людей: тип зрительный (type visuel), тип слуховой (tupe auditif) и тип двигательный (motrice) **.

15 июня

Автор этого стихотворения *** — человек небольшого роста, с большим выдающимся вперед носом, впалыми глазами. Узкая грудь, неверная походка. Хватается обеими руками за лацканы сюртука, как будто боится, что он с него свалится и оставит его в неприличном виде. Щеки впалые, взгляд несколько лихорадочный. Губы нервно поджимаются, усы длинны, придают физиономии что-то смешное. Видимо одержим стыдом собственного существования, робостию, а может быть и душевной болезнию. Принес два стихотворения: бой гладиаторов и послание к Венере (последнее приведено выше). Я говорю, что стихотворений не напечатают. „Нет, вы... все-таки... вы отдайте в редакцию".

Сегодня явился.— Ну, что?

— Не приняли.

— Как не приняли? Почему же такое? Какая... причина?

* Альфр. Бинэ, французский психолог. В цитируемом выше труде, написанном в 1886 г., он впервые говорит о применении гипнотизма в психологии.

** Далее на 20 страницах дневника (под датой „1 июня") следуют: сначала выписка по-французски, а затем перевод из „Le langage interieur et les diverses formes de l'aphasie par Gilbert Ballet". Paris 1886. Страницы эти автором впоследствии зачеркнуты. Несомненна связь этих выписок с наблюдениями над детским языком маленькой дочери и племянницы, которые зафиксированы в дневнике рядом записей.

*** Перед записью от 15 июня В. Г. вписал длинное стихотворение, озаглавив его „Стихотворение психопата", совершенно нелепое по форме, начинающееся словами: „О капризная красавица Венера! Зачем исчезла в тебя моя вера"...

— Находят, что слабо.

— Слабо! (удивление и горькая улыбка). — Стих неправильный?

— Да и стих неправильный.

— Я знаете пишу так, что ударение через два слога на третьем. Конечно... иногда есть отступления, но все таки... Вот Лермонтов... Читали вы Лермонтова Смерть гладиатора? Там неправильностей еще больше, чем у меня! *

ЖЕНЬКИН ЛЕКСИКОН **

Женя — Валя, Боря — Каля, Вера — Аня.

Девочка — Катя (вероятно от Кати, девочки соседей), тоже Катя — девочка на картинке, на коробочной крышке, отсюда и сама крышка тоже Катя.

Много — пять.

А-*а* — нет.

Нянька, каб*а*ка (ругань).

Гадкий, грязный, старый — ф*у*. Ф*у*-тюфли — старые туфли.

Отсюда: ф*у*-няня — прежняя няня, которую очень любит; ф*у*-няня м'ака (старая няня милая).

Возьми — ам.

Шляпа — к*а*па.

Бам-бам — музыка.

Дядя Валю ам
И пув*а* бам-бам (нараспев).

* На полях набросок пером мужского профиля, вероятно собеседника В. Г.

** Женя, племянница В. Г., дочь М. Г. Лошкаревой, умершая 17 сентября 1888 года. В. Г., записывая слова и выражения, не отмечает возраст ребенка, как это он делает впоследствии в таком же лексиконе своей дочери.

В виду отсутствия в шрифте, которым печатается весь текст, букв с ударениями — ударения в детском лексиконе отмечены курсивом.

Кошка — Маня.
Тявани, дявани (вставай, давай).
Мимнозецько.

Ходить птицька висиле
Пле топинки бефти
Ни плидвидя отсево
Никаких посвеци.

Аль-аль! — а й - а й.
Дяль, дяваль — д а в а й.

Нядолеге павстлицяль
Он мидведя с федем.

У *лю*ко-м*о*ля дюбь зелениль
Злята-ля цель! Ня дюби тем!
И днем и нецю коть ущений
Се ходит п*о* цепи клюгом.

Ля весь в огне, ля весь гол*ю*,
Подяльти мне мал*ю*, мал*ю*...

СОНЬКИН ЛЕКСИКОН. (Род. 28 Окт. 86 г.).

Первые слова: мама, папа (няня?). Затем — „п*у*ка“ (п*у*-у-у-к*а*) (пуговица). Вообще, пуговицы очень ей нравились и всегда привлекали ее внимание около году и в год с небольшим.

Па-п*а*-а-а-к*а*, мам*а*-а-ак*а*, папицька, мамицька.
Баб*а*ка (собака), бубака.
Кайд*я*тик (каранд.).
Кат*я*й (лошадь).
Ц*и*па, ка (кра!).
Цит*и* (цветы), цитецьки.
Ципу-у-к*а* (чепуха).

Бо*и*-и-си (боюсь, при виде первой мухи, 30 марта 88 г.).

М*о*ська (мошка).

Боська (Барбоска)

Мя-мя, кися, коська, косицька.

Коея — корова

Пиеись — Петрович, Питеиць (12 мая).

Пи*е*я — Петровна.

Дети — дитя, дети.

Си-си — Алексей Алексеич.

Гулять.

Те-ти, те-ти, Пейцик,— что-ты, что-ты, Перчик!

Мис*я*й-мис*я*й! — (не мешай, не мешай,— кричит, когда сама бежит мне мешать).

Му-к*а* — молок*а*.

Му*о*ка — мокро, мук'я.

Ма-си — мяса; мяси.

М*а*-а-а-*ли*! — небольшой кусочек, ма*и*нький, малинький (показыв. на пальце).

Каеська — Карошка (собака).

Титистик — статистик (Аненнский).

Мыйка! — милка.

*Е*я, *И*йка — Вера, Верка.

*О*я — Оля.

Боя — Борис.

Дюдя — туда.

Писитецик — петушок.

К*у*я, к*у*ися — курица.

Катийка — картинка.

Буб*а*ба, бубазя, бумманя — б у м а г а.

Б*у*-ка — б у л к а, б у л к и.

Ва-ва, Б*а*-ба,— бабушка, бабицька.

П*у*ба,— шуба.

Т*ю*ти — туфли.

Мас*е*ныця — мошенница.

Муз*и*к — мужик.

Ма-ц*и*-ка — мальчишка.

Мама пийс*я* — мама пришла (17 марта 1 фраза самостоят.).

Ва-ва пац*я*ти, Маня пац*я*ти (прощайте). 29 февраля (повторила).

Дя-тичи,— здравствуйте.

М*а*пу — н*а* п о л, мапий (15 апр. 88 г.)

Ханеси — хороший.

Йебысь, юбысь — л ю б и ш ь, л ю б л ю.

Подюську... нес*е*ть (26 апр.).

Сядики... м*о*-ко (в садике мокро).

Цяю пить... хоцися.

Гуять хоцися (в начале мая 1—2-го).

Бо*я*я, бо*я*-я! (большая большая), бойсяя (май).

Ой, батюськи, п*а*я... Ой батюшки, упала (нач. мая).

Маинький... кус*е*тцик... *и*ба... хоцися (10 мая 88 г.).

Баисьня... кусиить (про себя говорит за чаем 11 мая).

Нем, ннемик (дом, домик).

Пуки*е*дик (пароходик).

Г'едзик — гвоздик.

Дет*и*к — доктор.

Ги*я*динизи — грязный.

Ку-м*е*-е... на руки (от вопроса: не хочешь ли к о м н е?).

Цииз уецьку (тоже — оттого, что я переносил ее через улицу на руках).

Ни-*ю*цьки — тоже.

Дяй-ка п*а*ень вилевку (10 сентября).

Босево дева потяву (поставлю в камелек большое полено) (11 сен).

Ни дяде, ни дяде! (не надо, не надо!—кричала еще в мае).

Псе — все.

Псядики, б'есики — в садике, в лесике.

Цеква, цеков — церковь.

Цитецьки пять, ад*я* пить, пукиедик пить, месиць пить... Псе-псе пять (перед сном).

Маматите-ка, мамати, мамати!— посмотрите-ка!

Пукань, (Букан, бука).— У Сяси б'есики пуканюв мнего... (10—15 сен.). (Неизвестно откуда она заимствовала эту идею о буке; как бы то ни было, она усвоила ее замечательно легко и крепко. Сегодня, указывая вечером на темное окно от сада,— говорит: „тям пукани". Когда же я поднес близко и сказал, что никаких буканов нет,— она высказала приведенную выше фразу: а у Сяси б'есике пуканюв мнего...).

Ись тякое?— что такое (12 сент.).

Поцеють модзя? — поцеловать можно?— Поцеють ни модзя (август).

Хохониясь — хлопнулась (22 сент.).

Пецит баба каяци	Печет баба калачи
Они мяконькии и гаяцинькии	Они мягки, горячи

(серед. сент.).

Гуять падю... псядик. Цитецькиф нибию, маинькив. Басиф ни дяде цитецькиф бать, маинькиф модя цитецькиф бать... мнего, мнего...

Пыци — спички, сьпицьки. Убегу сь спицкими, убегу со спицькими!.. (23 сент. 88 г.).

Муська гадькая... А папка никадя ни гадький бываеть... (20 октября).

— Соня не мешай мне, ты мне мешаешь,— говорю я за письменным столом.

— Я писять будю... Сьте ти сютись!.. Нийзя сютять, я писять будю... (25 окт.).

— Сисись: ветий пацить?... Сисись: ветий стюцит.
Сидит несколько секунд смирно, прижавшись.
— Ни увидить ветий няс... (25 окт.).

— Ти сьпать хоцис?
— Да.
— Э-э-э... пацю я.
— О чем?
— Папке сьпать ни вию... (30 окт.).

Должно быть Сонька находится в периоде фетишизма: все явления кажутся ей одушевленными и действующими сознательно. Вчера топилась печка. Когда дрова догорели, Перчик* в отсутствие Соньки сгреб угли в глубину печи, в кучу. Сонька пришла, посмотрела с неудовольствием на красные угли, выглядывающие из глубины печки, и обращаясь к нам говорит:
— Кудя заезь?..
— Кто?
— Огонек кудя зяезь... Гадький...

13 июля **

Приходил Вас. Зах. Васильев,— молодой человек по наружности похожий на Злат-го***. Белокурый, с склоненной на бок головой и льняной бородой. Автор рукописи „Трудн. путь", где излагались мечты о народнической деятельности. Рукопись замечательна полным отсутствием знаков

* Семейное прозвище брата В. Г., Иллариона Галактионовича.

** С 13-го июля Владимир Галактионович начинает вести дневник в тетради, озаглавленной „Заметки". На обложке проставлены годы: „1888, 1889, 1890 и 1893" и цифра II синим карандашом. См. в статье от Ред. Ком. описание рукописи (6).

*** Н. Н. Златовратский — писатель-народник (1845 — 1911).

препинания, абзацов и т. д., какое то однотонное, ровное бормотание. Народник устраивает все „как лучше“, заводит школы, артели и даже строит „мирской“ завод, доходы с коего разверстываются миром по душам, а сам он является мирским управляющим. В той же деревне превосходная учительница, тоже устраивающая все „как лучше“; народники влюбляются друг в друга, об'ясняются,— и вдруг все под то-же бормотание автора врывается в комнату молодой крестьянин, тоже влюбленный в учительницу и убивает народника ножом. Неожиданно и нелепо в высокой степени.

Автор явился ко мне внезапно, стал говорить резким и грубым голосом о том, что едет в Пермскую губ. на мыловаренный завод, что хочет переделать рукопись, что просидит над нею два года, что в Псковской губ. мужикам живется плохо, что он не знает, как „они будут сердешшные“, что они предлагают ему: „ты купи землю-то в Сибири, а мы у тебя возьмем“, что он думает регулировать переселения, что это не трудно „при условии единомысленной группы“, что 30 семей хотят переселиться, ехать придется через Нижний, а он не знает есть-ли здесь контора (он не знал даже о существовании переселенческих контор, в роде конторы в Батраках) и т. д. Я посоветовал над рукописью не трудиться, что-же касается до переселенцев, то посоветовать ничего не мог, тем более, что все это мне казалось каким-то сочинением. Сам В.— нечто в роде народнического психопата. Говорит уверенно, но так, что под этим тоном слышится желание уверить самого себя. „Не знаю, не знаю, как уж они будут сердешные“. Прощаясь он сказал, пожимая плечами и как-бы невольно умывая руки в судьбе молящих его о помощи людей: „Не знаю, уж... напишу, пускай приезжают ходоками“.

Мне хочется написать на эту тему рассказ. Народник мечтает и мечется, чтобы пристроить свое пустое и жаждущее любви сердце, чтобы стать чем-нибудь... Он успевает уверить себя и другого (ну, хоть меня-же), что ему удалось, что партия переселенцев только и ждет от него помощи, совета, указаний. Хлопоты, суета, мечты, чувствительность, энтузиазм — и все это вследствие фантазии. Приходит партия,— суетливый народник кидается к ней,— но тут его никто не желает, никто на него не надеется и он выбрасывается из этого потока, как щепка, а поток темный, суровый и жестокий в своей суровости — проплывает мимо, не желая оценить добрых желаний интеллигента. Они не принимают его подачки, и сами не дают ему милостыни, которую народник выпрашивает для себя у народа. (Сызрань и сызранские переселенцы).

19 июля

И. ШЕРР. *

(Из человеческой трагикомедии).

„Маленькая мораль убивает большую“— изречение Мирабо **. Не значит ли это: временная мораль (соображения пользы данной минуты) — убивает в революционные периоды вечную мораль истины, непосредственной гуманности и т. д. Или он хотел сказать наоборот, и для него маленькая мораль есть именно мораль элементарная, а мораль, считающаяся с „благом народов“,— мораль большая? Смысл, впрочем, одинаков.

* Иоган Шерр — известный немецкий историк литературы (1817—1886).

** Мирабо — знаменитый деятель великой французской революции (1749 — 1791).

20 июля

„Omnia fui et nihil expedit“ * — выражение Септимия Севера ** (начало III века),— это выражение, которое по словам Шерра может поспорить с классическим „vanitas vanitatum, omnia vanitas“ *** — есть настоящая формула пессимизма; в ней все пессимистические романы и весь Шопенгауэр ****. Omnia fui et nihil expedit!

„Могучее природное влечение (любовь) выражается у мужчины открытее, у женщины-же сильнее, потому-что у нее стыд сдерживает страсть, а вследствие этой сдержанности самая страсть принимает все большие размеры. Кроме того, эта страсть поддерживается в женщинах еще тем обстоятельством, что каждая из них желает и должна быть матерью, чтобы осуществить самое возвышенное и святое чувство, какое только есть на земле: материнскую любовь. Для мужчины любовь — фазис развития, для женщины — все, целая жизнь, небо и ад“.

„Для мужчины обыкновенно вместе с „поясом и покрывалом“ утрачивается „прекрасная мечта“, но для женщины брачное ложе служит путем к ее истинному существованию, потому что с утратою девственности в ней с торжеством проявляется материнство“. „Бесспорно, что женщина может из любви сделать более, чем мужчина. Она умеет, в особенности, когда, сделавшись матерью, она отдала уже дань „мрачному деспоту“ (половому влечению),— понять любовь идеальнее, чем мужчина, у которого с удовлетворением страсть уменьшается и исчезает... У женщины, напротив, удовлетворенная страсть переходит в нежную благодарность“. (Из ст. Абеляр и Элоиза, стр. 88—89).

21 июля

Маленький, но характерный курьез: одна провинциальная газета (В. В. *****) поместила заметку о водовозах, оканчивающуюся следующей фразой: „водовозный промысел

* „Я был всем и ничто не приносит пользы“.

** Септимий Север — римский император (193 — 211).

*** „Суета сует и всяческая суета“.

**** Шопенгауер — знаменитый немецкий философ (1788 — 1860).

***** „Волжский Вестник“.

доставляет хороший заработок, потому что водовозы, приобретая каждое ведро воды по 1/4 к., продают его за 1 коп., и следовательно имеют 75% валового дохода".

Очень характерно и типично. Сколько рассуждений строится по этому самому типу: водовоз получает 75% валов. дохода, тогда как наиболее выгодная торговля миллионеров-торговцов не дает более 20. Ergo — водовозом быть выгоднее, чем купцом. Мусорщик, роющийся в выгребных ямах и ничего не платящий за свои находки, получает %, высота коего не поддается даже исчислению. Вот самая выгодная профессия!

1 августа этого года родилась Наташа*. В семье у нас был коклюш. Женя (Манина) серьезно заболела. Ночью я долго работал, потом заснул и проснулся от Сониного кашля. Бедная девочка стояла в уголку своей кровати и тянулась от кашля (кровать ее поставили в моей комнате). Потом короткий сон опять был прерван. Пришлось бежать за акушеркой (Над. Ем. Румянцевой). Только начинался рассвет. Никогда не припомню такого упорного ливня. Я пробежал несколько улиц, нигде и признаков извозчика. Наконец уже на площади у №№ Грачева сквозь пелену дождя я заметил туманные очертания лошади и пролетки. Едва разыскал спрятавшегося извозчика...

Ощущение необычности и тайны новой, появляющейся жизни овладело мною очень сильно. Маленькая девочка с круглой головкой родилась легко.

* Запись о рождении второй дочери Натальи занесена автором в тетрадь значительно ниже. Так как запись без даты, не связана с текстом и очевидно случайно попала в 1889 г., то здесь она печатается в хронологической последовательности.

6 августа *

„В немецком переводе Августа Шольца вышли на днях два рассказа г. Короленко: „Бедный макар“ и „В подследственном отделении“ (Sibirische Geschichten von Wladimir Korolenko. Berlin S. Fischer). Немецкая критика очень сочувственно отзывается о таланте нашего симпатичного беллетриста, знакомящего, как отзывается один рецензент, с совершенно новым для западно-европейского общества миром“. („Русск. Вед.“ 1888 г. 5 авг., № 214).

11 сентября

Соньке один год и 10 месяцев (11-й).

Сегодня после соленой ванны,— она прилегла со мной на постель и заставила рассказывать сказки:

— Акази казецьку.

— Про кого?

— Па дядю... Потом: па тетю...

— Про какую тетю?

— Па беинькию,–это ее обычный ответ на вопрос: какой.– Я рассказал какую то ерунду про дядю, потом про тетю.

— Исе па девицьку.

— Какую?

— Касинькию (красную шапочку).

Рассказал.

— Дыянь войк! Дыянь...— говорит она слезливо и с гневом.— Дыянь... бабуську сей...

На глазах ее появляются слезы; глаза начинают смотреть тускло. Ей хочется спать и потому она говорит: „не будю пать, не будю“... В окно, сквозь запотевшее стекло виден фонарь и луна...

— Месиць... пать хоцит...—говорит она сонным голосом, поворачивая к месяцу дремлющие глазки. В это время доносится лай собаки на соседнем дворе.

— Сибака аить ни месяця...— говорит Сонька, все более засыпая.

* Эта дата поставлена рукою В. Г. вверху газетной вырезки, наклеенной на странице дневника.

На утро ей вспомнились впечатления вечера. Очевидно и для нее это было не случайное совпадение собачьего лая и месяца, а целая картина.

— Сибака *а*ия,— говорила она за чаем.— Тимн*е*-тимн*е* и сибака ни месяця аия. А типей ни тимн*е*-тимн*е*.

17 сентября

Женя* у нас умирает. „Нет уж видно не от*о*бьется от смерти“,— говорит няня. „Ей теперь уж легко смерть принять,— вся изболела“. Действительно вся изболела. Если все относительно,— то и смерть, по сравнению с этими страданиями — благо.

— Нечего плакать. Ей лучше: умрет, по крайней мере не станет в жизни муки принимать. Теперь свое приняла,— прямо в небо уйдет. Уж и теперь она ангел.

— А зачем-же ей-то мучиться?

— А з а т е м, ч т о б р о д и т е л и с м о т р е л и.

Няня у нас и неумна и несимпатична, а в важных случаях жизни умеет говорить и умно и симпатично. Не от того-ли что на эти случаи у нее нет своего взгляда, а ее устами говорит то, что принято называть народной мудростью. Тысячи поколений умных и глупых людей вырабатывали эти взгляды, как вырабатывается песня, пословица, религия (эта поэма, подтвержденная верованием, по выражению Тэна). Тысячи-же поколений вырабатывали и подбирали форму для выражения этих взглядов. Для нас нет ни этой формы, ни этого содержания. Во всех важных случаях жизни мы действуем, думаем, говорим на свой страх и действуем во всяком случае лучше, чем могла-бы действовать, думать и говорить няня, если бы ее лишить

* Женя — племянница В. Г., дочь М. Г. Лошкаревой.

опоры в общих взглядах и предоставить самой себе. Как личности, мы выше. Но зато в результате сплошь и рядом мы падаем под бременем своих одиноких усилий в важные, торжественные или грозные моменты жизни. Мы гордо отбросили все предания, всю веру, все утешения, которые предлагает нам темный эмпирический опыт миллионов поколений и встаем дерзко навстречу роковым вопросам одни или почти одни со своими собственными, на свой страх выработанными взгядами на жизнь, смерть, вечность. В этом есть своя доля величия. Но как часто мы оказываемся детски слабы и падаем под бременем отчаяния от темноты, которая грозно глядит на нас „оттуда“*, между тем, как простая, неразвитая и смиренная „первичная“ личность простого человека, не потерявшая связи, а стало быть опоры в рядах миллионов таких-же личностей,— встречает те-же обстоятельства с величавым спокойствием и поражающей нас твердостию. Значит-ли это, что они выше нас? Нет. Все дело в том, что они среда, а мы личности. Для них темнота — полна образов. Мы узнали, что это иллюзии. Для них смерть красна на миру,— мы встречаем ее глаз на глаз. Если бы вдруг лишить любого из этих „самобытных“ патриархальных философов опоры, которую дают „иллюзии“, поддерживаемые средой,— кто знает не свалился-ли бы он, как подкошенная былинка, там, где мы все-таки пытаемся глядеть в глаза и даже бороться с роком, отчаянием и тьмой.

Впрочем, важнейший вопрос — где истина? Мы уже разрушили много иллюзорных образов, но тьма для нас осталась тьмою, а вопрос вопросом. А вопрос вот в чем:

Там нет ни лешего, ни водяного, ни ангела с белыми крыльями, ни доброго старика с большой бородой,

* Против этой строки на полях написано: „(Тургенев, Полонский)“.

справедливого начальника миру... „честного, славного, одним словом вполне порядочного“— как говорил мне Бурматов. Все это мы уже осветили: оказались фантомы, старые истлевшие пни, наваленные историческим хаосом на темном пути человечества. Но есть-ли в этой тьме невидимое для нас сознание, такое всеоблемлющее и великое, что наше гордое сознание является лишь частицей его,— или там, в вечном холоде царит лишь одна сама себя несознающая, хотя и всеоб'емлющая, математическая формула,— вот вопрос и вопрос открытый.

А страшно глядеть этой формуле в глаза, так страшно, что если бы любой, повторяю, из этих патриархов внезапно принужден был взглянуть ей в глаза,— посмотрели-бы мы кто из нас больше душой: гнилая интеллигенция или представитель детской народной мудрости.

Впрочем, кажется, самая постановка такого вопроса невозможна. И все таки: где истина? Мы ее ищем, они ошибаются, что владеют ею. Но очень может быть, что искать надо все-таки где-то недалеко от них...

Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria...*

(Dante).

24 сентября

Ник. Катаев, автор нелепой „Елены“, прислал рассказ: „Счастие“. „Рассказ, в котором больше правды, чем мечты“—так говорит об нем в скобках сам автор. Рассказ— есть беллетристическое переложение статьи Красноперова „Антошкина община“, напечатанной в „Отечественных

* Нет большего горя, чем вспоминать о днях счастья во время несчастия. (Данте).

Записках" за 82 год. Статьи не читал, полагаю, что было там не мало благонамеренной и идеалистически-народнической лжи. Но г. Катаев, переложив ее в беллетристику налгал еще больше. Вышла коммунистическая деревня с Большим домом для совещаний, с общими обедами, ужинами и т. д. Все там „по милу, по божески, по совести" и т. д. Никто не спорит, все любят друг друга,— потому что нет собственности.

Вся эта сладкая и старая ерунда очень характерна, и именно тем характерна, что этой старой ерундой живут очень еще молодые люди. До сих пор г. Катаев присылает все одну ерунду именно в этом роде; но если он еще очень молодой человек, то кто знает — может что и выйдет. Слог есть, есть огонек и пожалуй вера. Хотя — мелко, шаблонно и — что действует неприятно,— самоуверенно и догматично. Любопытно, в каком виде представляется автору выход из бедственного положения деревни. Антошкинцы бедствуют, у антошкинцев неурожай, у антошкинцев продают последнюю скотинку за долги и недоимки. Зарез, что называется. И вот умный мужик, душевный, „умственный" и т. д. находит выход: построим говорит лесопильный завод, общий, мирской, и все будет хорошо. Действительно,— построили и все вышло хорошо. Как это легко и хорошо: нечего есть,— так построим завод. Напоминает детское рассуждение о нищих: разве они голодны?— Да.— Почему?— У них нет хлеба.— Так они-бы кушали булочку.

В Антошкине автор водворил идеал. Правда, что нечто в этом роде бывало. Известна секта „общих", основанная, если не ошибаюсь, Даниловым. Но известно также, что от нее остались жалкие остатки и даже на Кавказе, предоставленная самой себе,— она погибла органически.

Жаль, что статья Катаева нигде не будет напечатана. Это очень яркое „reductio ad absurdum“ известных требований от литературы. На этом примере, мне кажется, легко было-бы указать, чего не следует делать с „идеалами“.

Еще черта характерно-фальшивая: в Антошкине то и дело раздаются песни воли, любви и счастья. Воздух так и переполнен ими. Между тем — антошкинцы сектанты, а известно, как сектанты относятся к хороводам и песням светского содержания*.

27 сентября **

— Якази казицьку, папка.— Ты расскажи.— Ни умею.— Значит, ты глупенькая.— Ни гупинькия, яказю. Воть стяюх и баба бий. Бия куицька. Воть ябиесь иицько. Баба пацить-пацить и стиюх тези пацить...

Смеется.

— Воть пасей войк нипотцю (на почту). Стицяить мидедь. Сем котицькими (с'ем с косточками). Опять смеется. Сказка кончена.

7 октября

Была Г-рини. Чудачка отдала мне на просмотр 3 рассказа:—„Бич“, „Легенда о Сцилле и Харибде“ и „Очерки Рима“. Об очерках Рима, как она говорит, Тургенев даже печатно отозвался, как о лучшем описании Рима, какое ему доводилось читать. „Бич“ (очерки Пиемонта)— коротенькая любовная история дамы с крестьянским мальчишкой, с эпиграфом по-италиански: „Женщина слаба, притягивается нитью паутины“. Она очень обижена, что я назвал рассказ порнографическим и все-таки просила

* Последний абзац написан на полях тетради.

** Разговор В. Г. со старшей дочерью (Соней), который было в то время около двух лет, записан в конце тетради 1887—1888 года.

свезти „кому-нибудь“, может напечатают. Первый ее рассказ, напечатанный Тургеневым в „Современнике“ (в 56 или 57 г.) был озаглавлен „В дороге“. Начинался: „Ух, как завыла вьюга“. Тургенев дал слово сохранить аноним. „Скажите мне,— это с вами было. Даю вам слово, сохранить в тайне“. Я ему сказала, а он рассказал. Потом сестра Машенька и говорит: „был у нас Тургенев, два часа мы говорили о тебе. Ах, что это Nadine. Я и не знала, что ты пишешь. И так вольно“. А там вовсе не было ничего особенного. Потом во время коронации был напечатан рассказ „Форейтор“. Тогда пустили слух, будто это я про себя тоже... с форейтором. Бог знает что!.. А то еще моя сестра Катенька (или Сашенька — не помню теперь), от одного отца она была, тоже Г-рини, но не родная... Ужасная клеветница была, все на нас клеветала. Умерла уже. Так вот она рассказывала всем, когда я уехала заграницу, будто я это уехала от своей любви к крепостному мужику. Будто в крепостного мужика была влюблена. Слышите, мосье Короленко, какие глупости!..

... А Тургенев, он очень был ко мне снисходителен. В „Затишьи“ это ведь он меня описал и сестру мою. Это было в усадьбе в Карачевском уезде. „Затишье“, как-же, как-же, это мы. Помните,— кутила Веретьев... И еще генерал Маслов. Тогда он был 14 летним мальчишкой. Теперь я видела его недавно. Седой генерал. Ах, говорит, Nadine... Затишье, помню, помню. Затишье.

Да, а теперь седой генерал.

Тургенев тогда был в ссылке за статью о Гоголе. „Только непонимающие и слепые не заметят этого любовного огня, который горит в его сатирах“. Ну, а тогда строго было, его и выслали *.

* Последний абзац является припиской на полях без указания места вставки в тексте.

Увидела у меня портрет Толстого. „Терпеть его не могу. Неужели он вам нравится. Ах, что вы, что вы! Это мужик! Славянофил. А что такое славянофил: чистый дурак. Ведь это чистый дурак. А у меня есть зять Тухачевский, у него была двоюродная сестра Арсеньева Валеринька, так Толстой хотел на ней жениться и сделал ей предложение. Но потом разошлись. Толстой уезжал куда-то, а с нее взял слово, что она не будет выезжать. Она обещала, а сама выезжала, только просила ему не рассказывать. А он узнал, и не женился *. После она вышла замуж за пожилого человека и увлеклась другим. Он ее вывел в рассказе. Там тоже увлекается светской жизнью, но потом...

— Не в „Семейном-ли счастии“?

— Ну вот, вот, в „Семейном счастии“. Так это она, Валеринька.

... Не читали Горчакова: „Признаки прогресса“? Ах, какая прелесть, м-сье Короленко, какая прелесть. „Признаки прогресса“! Какой уж прогресс. Был, говорит, у нас прогресс с 57 года по 61, а потом куда-то улизнул. Совершенная правда. А москвичи, говорит, думают брюхом и слушают своего прорицателя Ивана Яковлевича. Ну, это он смеется, а все-же правда,— Иван Яковлевич настоящий прорицатель был.

— Вот, в вас, Надежда Валентиновна, москвичка-то и сказалась.

— А ведь я, м-сье Короленко, имею факты. Была у меня подруга Соня Певцова,—п-первая впоследствии красавица на Москве. Мать ее, жена Певцова,— с мужем разошлась и жила с Голицыным, Дмитрием. А Соня со

* Против этой строки на полях написано рукою В. Г.—„неточно“.

мной 6 лет на одной скамейке сидела. Вот она раз с матерью и сестрами поехала к Ив. Яковлевичу; после мне сама рассказывала по секрету; никому не сказала а только мне одной. Приехали к нему, он намешал на блюдечке чаю, пива, всякой гадости, размешал пальцем и поднес матери — кушай говорит. Та разумеется — отказалась. Тогда он поднес старшей дочери, потом средней и младшей. Те тоже отказались. „Ну, вот, говорит,— какова мàтушка, таковы и дочки". Сама Соня мне по секрету рассказывала: значит, и она будет такая-же, как мать. Что-ж вы думаете. Так и вышло: вышла замужем, бросила, уехала заграницу с... (Следуют имена любовников всех трех дочерей).

Вообще — в Г-ни характерна смесь антирелигиозности и легковерия. Тут-же рассказала историю о ясновидящем слепце: „Он жил рядом со мной в Италии и долго я не замечала его дара. Правда, случалось много раз: бывало собираюсь идти в адресный стол справляться о ком нибудь, он и говорит: зачем вам в адресный стол,— я знаю. Возьмет за руку и приведет. Один раз я поехала в Кассино, за город, в контору к нотариусу. На мне были надеты чорные бусы,— которые я взяла у крестьянки и русское платье. А на руку я замотала шарф, взятый на всякий случай. В омнибусе я ехала одна, потом шла по дороге— никого решительно не встретила. Нотариуса не застала, иду назад ужасно недовольная, подыматься надо на гору. Я совсем задышалась. И представьте, что-же: слепой мне говорит на следующий день: а вы сударыня вчера очень устали и вам было неприятно. На горе вы так дышали: ах-ах-ах; на шее у вас что-то блестело, а на руке вы что-то несли и концы болтались.— Откуда вы знаете — спрашиваю. Тут он мне и рассказал: я многое знаю. И действительно после много раз я задавала ему вопросы.

Он отойдет в угол, склонится этак головой на палку, подумает, подумает и скажет... Да-а м-сье Короленко: ясновидящие есть. Да вот шотландские крестьяне,— это ведь всем известно"...

Что это за странная жизнь!

„Я была молода, красива и носила в Италии русское платье. Итальянцы ужасно любовались. Бывало приеду на базар,— они соберутся в кружок и смотрят на меня. Они находили, что это очень красиво. „Ну где, говорят, у нас вы найдете таких людей". Там еще жил граф Заборовский,— бывало мы идем с ним, а они удивляются: какие красавцы; у нас таких не найдешь: высокие, плотные"...

Жизнь, должно быть, была очень бурная и чуть-ли не посвященная культу любви и радости. Где-то в Пиемонте она взяла на воспитание ребенка, сына вдовца prefetto (губернатора). Любопытно, что вышло из этого пиемонтца, подвергнутого русско-международному и вероятно несколько нигилистическому воспитанию.

— Ничего не может быть лучше семейной жизни,— говорила Г-ни грустно, смотря, как ко мне ласкается Соня.— Итальянцы отдают детей до 3-х лет кормилицам и навещают их 2 раза в год. Я взяла Пинода 6-ти месяцев.

Воспитывала она его своеобразно: обмывала холодной водой, обтирала льдом до 12-ти лет. Никогда не давала лекарств (докторам не верит и завещала Пиноду,— чтобы у ее постели, когда она будет умирать — не было доктора).

— Вот Пинод женится,— говорю я ей,— у вас тогда будут внуки.

— Пинод никогда не женится. У него на этот счет свои взгляды. Впрочем, иногда говорит, что примет магометанство,— „это умно,— не надо служанок".

Это мне кажется тоже очень характерно: Пинод, как и русский „рационалист" очень смело отрешается от

веками созданных обычаев и так-же легко склонен принять то, что веками-же прививалось к другим на основании какой-нибудь одной черты. „Умно,— не надо служанок". „Впрочем, он вовсе не хочет жениться, у него совсем другие планы".

Говорят в Италии молодежь очень похожа на нашу, есть даже и нигилизм. Впрочем, в Италии много похожего на наши порядки: Г-ни рассказывала даже случаи, когда детей, отданных в деревни — с'едали свиньи и куры выклевывали глаза.

8 октября

За чайным столом Сонька обмотала ложечку бумажкой и качает на руках, напевая песенку.

Пиди котик ницивать
Мою езицьку кацять
Зи яботю зяпацю
Дям кусецик пияга
И кусинцик ма-яка.

При этом она не воображает ложечку ничем иным, как только ложечкой:

П'ибигает мой котек
Сятить (схватит) езицьку за боцек.

Кажется она находится еще в том периоде, когда подобный перенос на ложечку представлений о кукле или ребенке еще не нужен. Она укачивает именно ложечку. Укладываясь сама она нередко перечисляет предметы, которые уже спят: тут и дерево, и ягодки, и вода. Так почему же и не ложечка?

15 октября

Пришла бабушка старушка. Кланяется в ноги: определи ты меня, Владимир Лактионыч в богадельню. Куда мне

теперь?— А сколько тебе лет?— Вот уж и не знаю. А только десятков семь будет. Боле пожалуй будет. Чай в церкве нетрика есть?— А ты по старой вере или церковная?— Церковные мы, ну все-же этому кресту держимся (показывает старообрядческое перстосложение). Определи ты меня, век мой Бога буду молить.— А дети есть у тебя?— Дети-то? Дочери есть, так ведь дочерей не применют. Кабы сын вот. А сына пять годов схоронила. Ах, Владимир Лактионыч. Вот выводила в люди, вот как выводила. Помер, пятерых сирот оставил. Взял его Господь, а я старуха жива... По миру хожу. Думала-ли я, Владимир Лактионыч, что на старости лет окна буду считать (плачет). Довелось. Да еще кабы мои прежние ноги. А то ноги не ходют. Иду шатаюсь. Добрые люди думают — вот старуха нарезалась. А я его и от роду не пивала. Что делать. Прошли мои года-те. Прежде бывало конем не стопчешь, теперь ветром шатает. Ведь теперь зима. Пойдет пурга-метель, ведь меня заметет. Вот уж этого-то мне пуще всего не хочется. Пошла у нас этак-же из деревни старуха к Бугрову за подаянием. Так на себя надеялась, что дойдет, а не дошла. Замело в поле пургой, смерть получила... вечером этто, да в снегу, в чистым поле... (плачет).

— Боюсь и я. Где-же мне... Зима ведь. „На море волны видя не ездий, к недругу в беседу не ходи“,— старинная пословица говорится. Вот и хочу просить — сделайте милость.

— А если не примут, что-ж ты тогда?

— Уж и не знаю. Верушка этто говорит: я тебя не оставлю, с голоду помереть не дам. Да ведь и то сказать: сердце у нее жалостливое, правда, а голова-то ветер. Закрутит-закрутит... Да еще, слышь, муж-солдат придет, собирать его надо. А и муж-то. Он уходил, в чем ее

оставил: спроси у гуся, холодно-ли ногам-те... Уж и муж только,— при солнушке посмотреть... А еще внука другая у меня отдана. Верите-ли,— восемь годов не знаю, как и дверь то у них отпирается. Вот каке ноньче люди-те. Спасибо вам,— чужие да не оставляете. Вот еще Иван Петрович был, супроти ярмарочного мосту, да еще Семен Алексеич, может знаете, в Троицких номерах жил. Приведи, бает кормилицу. Привела, он мне пятишну дал. Ей Богу. А ноне уж что-то и мало таких...

—Вот и бьюсь. На сноху не жалуюсь, на вдову: работница, хорошая. Сама пашет, сама косит, все сама. Пятерых кормить ведь надо. Она меня не гонит, нет, нечего грешить. Этакой другой снохи поискать. Да ведь я, Влад. Гал., сама вижу — куда ей бедной! Уж истинно, что хомутом она убита. Еще кабы домишко у меня был: мне много ли надо. Десять кусков набрала — мне на неделю-бы. Да ведь и домишко-то валится у нас, и внуки-те есть просют...

И старуха опять плачет, вытирая грязным платком свои слезы...

— Я уж ночую у вас. Гляди снегу навалило. Вчера пришла летом, уходить надо зимою. Ноньче ведь за ночью, как за годом. Я ведь пойду — замерзну в плохони-то*.

19 октября

Опять Г—рини со своими рассказами. На этот раз я испытывал ощущение близкое к ужасу. То, что она видела, та жизнь, из которой она вышла,— это какая-то буря, и я проникаюсь некоторым уважением к ней. Выйти из этих крепостнических оргий и сохранить еще до сих пор

* Последний абзац написан на полях.

хотя и изломанную, но живую душу,— это очень много, и я приписываю это тому, что среди этой стихийной оргии — она все-же имела какие-то „взгляды“ и была проникнута какой ни есть „идеей“. Пусть взгляды были ошибочны, пусть кое-что из проявлений крепостнической разнузданности проникало и в них в виде „принципа“, но все-же подчинить свое поведение идее, хотя-бы даже идее „свободы чувства“, не то, что скотствовать на всей своей воле, как скотствовали все кругом в ее обществе.

Действующие лица ее сегодняшних рассказов: брат ее Евгений Валентинович Га — рини, друг его Николай Алекс. Н. Его жена Катерина Ивановна Н—ая затем: купчиха Б — ова* и много других. Сюжет драмы — наделавшая в свое время много шума история увоза Евгением Г—рини жены Н. Авдеев написал по этому поводу роман: „Подводный Камень“. Внешние события в романе и в действительности одни и те-же: жена влюбляется в друга своего мужа; обсуждение положения происходит сообща и принимается общее решение: друг с женой уезжают. Затем — в романе жена возвращается опять к мужу; в действительности этого не было.

Но закулисная сторона!..

24 октября

Сегодня в „Русских Вед.“ явилось об'явление о выходе 1-й книжки журнала „Эпоха“. Об'явление производит впечатление очень странное. Затеянный Златовратским и В. В.** „народнический“ журнал явился символом теперешнего жалкого и захудалого народничества. За несколько дней до выхода 1-й книжки Златовратский и В. В. заявили

* В подлиннике фамилии приведены полностью.

** В. В.— В. П. Воронцов (род. в 1847 г.) — писатель, экономист народнического направления. Писал под псевдонимом „В. В“.

в газетах, что они выходят из журнала. Каронину* Златовратский писал, что издатель (некто Колачевский) пред'явил „новые условия", „почувствовав под ногами почву" и не пожелал играть роль безгласного мешка. Любопытно, конечно, была ли эта роль оговорена предварительно, или-же Златовратский не выяснил этих условий. Дескать: споемся, столкуемся, „по-божески", по душе, по совести, какие тут уговоры между честными людьми. Если так (а это можно думать судя по письму Г—на)**, то Колачевский может сказать, в свою очередь, что это ему пред'явили новое условие и что отдавая свои деньги, он полагал, что и его „по-божецки" и „по душе" припустят к делу, тем более, что, как оказывается, он большой охотник и сам писать статейки.

Все это можно было предвидеть. Когда в Москве три месяца назад я высказал сомнение в солидности этого предприятия, то мне сказал Щ—тьев***, тоже „народник", что дескать, если-бы удалось выпустить две-три книжки, то и это был-бы успех. Народничество-бы высказалось. Удивительный сумбур. Каждая статья Златовратского будет помещена в любом журнале. В. В. наводнял статьями „Сев. Вестник" щедрой рукой. И ничего особенного не говорили. В. В. все повторял свои „судьбы капитализма", Златовратский радовался, что его сердце бьется, как и сердце мужика и приглашал „рыдать в народе" (интересный призыв)— и вот почему-то явилось мнение, что в новом журнале эта статья сойдет за некое новое вино. И для этого

* Каронин — псевдоним беллетриста-народника Н. Е. Петропавловского (1857 — 1892).

** Вероятно М. Я. Герценштейн, с которым В. Г. вел в этот период переписку о новой газете.

*** С. А. Щепотьев — экономист, сотрудник „Русск. Вед.", „Северн. Вестника" и др. газет и журналов.

стоит предпринимать издание не имеющее шансов пойти далее двух-трех книжек. А что шансов не было,— это верно. Кружок сотрудников набран почти фиктивно. В 1-й книжке даже 3—й не появился и за все про все отдувались В. В. да еще П. Н.* под разными соусами. Наконец,— цензура заведомо не допустила-бы этому изданию жить и 1/2 года**.

И вот,— журнала еще никто не видал, а уже пришлось писать, что дескать мы из оного вышли. Pauvre diable Колачевский, для которого эти рассчеты на две-три книжки для торжества народнической идеи, наверное были „новым условием", которого он-то бедняга никак уж не ожидал,— вдобавок ко всему поплатился еще совершенно неожиданным образом. В Москве произошли аресты: Гольцев***, Златовратский, П. Н. и много др. взяты, как я слышал. За что, про что,— Аллах ведает. Особенно народники. Удивительное, право, дело,— какая это близорукость. Человек приглашает „возвратиться в народ, что-бы рыдать" о том, что мы смели стремиться к образованию, к высшим вопросам; человек упреждает инстинктивно пресловутый циркуляр, который проводит те-же идеи — о вреде образования и стремления снизу к вершинам мысли и знания,— и его-же берут, как опасного агитатора. Что это за недоразумение. „Народничество"— какое страшное слово и какая безобидная сущность! Народничество в одном фланге (Южаков)**** проповедует, что Россия есть „государство, построенное по мужицкому типу", что ей предстоит защищать народы, труд, рабочих всего мира

* П. Н. Николаев — народник экономист.

** Журнал „Эпоха" в новом составе сотрудников выпустил только одну книжку (октябрь 1888 г.).

*** В. А. Гольцев — известн. публицист, редактор журнала „Русск. Мысль" (1850—1906). См. о нем заметку В. Г. в. XXV т. наст. изд.

**** С. Н. Южаков (1849 — 1910) — писатель-экономист, сотрудник „Русского Богатства". См. о нем статью-некролог В. Г. в т. XXV наст. изд.

против английского лендлорда и всесветного капитализма, представляемого Европой, и посему Россия должна укреплять свои позиции в Болгарии (частичное подчинение и других местах. В лице „Русского Богатства“ * народничество вопиет о „непротивлении“. В лице „Недели“ (Каблицевской) шлет проклятия конституции и стоит за самодержавие. В лице В. Пругавина ** выводит генезис государственного строя из общины, как из ячейки, а поелику община — гениальное произведение народного творчества, то и развившееся из оной государство — чуть не идеально... И эта невиннейшая вещь — являет некие опасности, и эта проповедь „смиреномудрия“ — считается „зловредной“. Ирония судьбы! ***.

. . . . . .

Но в том-то и дело, что не созерцание исчерпывает процесс, а процесс самого творчества даже несовместим с созерцанием: прежде всего—факты: мы видели т р у д у Пушкина: он черкал, отыскивал гармонию стиха, и нередко из отдаленных областей привлекал образы и ставил их в соотношение с главным ****.

Примеры вариантов.

* Еще под редакцией Оболенского (примеч. автора).

** В. С. Пругавин — земский статистик, сотрудник „Рус. Вед.“, „Рус. Мысли“, товарищ В. Г. по Петровской Академии.

*** Далее, под датой 5 ноября следуют три страницы выписок из статей Гилярова-Платонова „Основные начала экономии“ („Русское Дело“ 1888 г.). Вся запись впоследствии перечеркнута В. Г. карандашем и на полях сделана пометка: „Предполагал написать статью“. Далее 10 листков дневника вырвано; на них очевидно находилось и недостающее начало следующей записи.

**** Против этого абзаца на полях рукою В. Г. написано: „Пушкин писал Жуковскому: Что в час написано, то в час и позабыто. И еще: Лишь то читается легко, что написано с трудом“.

Тоже и у Гоголя. Итак: Гоголь и Пушкин не художники и их работа не художественный процесс?

Нет, перед понятием о т р у д е процесса и о созерцании опять-таки математик и поэт совершенно равны: если бывает, что об'ект внимания сразу находит себе форму, сразу отливается в звучные строфы, в которых нельзя поправить ни одного слова,—то это ведь только бывает, а не необходимо, и притом бывает не у одних поэтов: на парижской выставке показывали мальчика еврея, который делал в уме и очень быстро математические задачи, в роде возвышения в квадрат трех и четырехзначных чисел, без промежуточных выкладок он давал сразу решение. Без сомнения и здесь мозг проделывал все промежуточные процессы, но они проходили с такой быстротой, что их не уловить вниманием. Также — у поэта: из находящегося в его запасе материала слов, образов, фраз, рифм и гармоний—воображение выхватывает чрезвычайно быстро то, что нужно, процесс ускользает от контроля — и только. Это один из с л у ч а е в работы, случай более или менее редкий, но качественно не отличающийся от процесса более медленного, который поэтому от внимания не ускользает. Но последний род работы — общее правило, первый — более или менее редкое исключение. Первый только кажется нам беструдным и хотя порой может происходить отчетливее, но зато в сущности он истощает и изнашивает мозг быть может больше, чем более спокойная и медленная работа; второй исключает уже совсем и с полной очевидностью „беструдность“ и всякие а б с о л ю т ы п о л н о т ы; в нем с очевидностью проявляется двойственный характер процесса: с одной стороны об'ект, имеющий б е с ч и с л е н н о е м н о ж е с т в о свойств и соотношений, с другой суб'ект—с его формами восприятия (и воспроизведений), допускающими опять бесчисленное множество комбинаций...

ОТРЫВОК 2-й *

Представьте себе статую человека, но не из мрамора — а сплетенную из разнообразнейших и разного цвета нитей. Когда вы сплетаете простой шнурок,— вы берете одну нить, покрываете ее другой; она на время исчезает, чтобы появиться уже в другом месте. Но вы без особенного труда можете представить себе ее изгибы и весь ее путь. И вместе вам не трудно также держать в уме представление о шнурке в связи с представлениями об отдельных нитях. Понятия о целом и о составных частях покрывают друг друга.

Не то с нашим вязанием: количество нитей громадно, их изгибы бесчислены. Вы видите, как появляется в данном месте нить такого-то цвета: пусть эти концы даются нам тем или другим движением, звуком, поступком. Вы можете наметить несколько таких точек, где появляется эта нить данного цвета; есди воображение ваше сильно,— вы восстановляете по намеченным точкам ее изгибы... Так вы изучаете данное чувство, данную страсть. И вот — вы дергаете данную нитку и по движениям целого заключаете о правильности или неправильности вашего заключения.

Наши чувства, наши страсти, инстинкты, взгляды, побуждения — такие бесчисленные разноцветные нити. Человек весь соткан из них в более или менее сходных, более или менее различных сочетаниях. Познать их во всей полноте,— это претензия, которую с легким сердцем припишет себе разве уж очень легкомысленный художник. Одного и того-же человека — прокурор с полной правдой изобразит жестоким, нераскаянным, вредным... А Досто-

* Заголовок принадлежит автору.

евский сумеет развернуть и проследить затерявшиеся изгибы доброты, раскаяния, добрых побуждений. Да, господа добродетельные люди,— вы созданы из той же глины, и если поискать, то и в вашей душе есть те-же ниточки, которые привели подсудимого на эту скамью. Но жизнь не дергала за эти ниточки и оттого не напутала в вас таких-же неразрешимых узлов... Это не значит, что все честные люди — подлецы, как это с большим наслаждением стараются внушить нам французские „натуралисты", но значит только, что и преступники и подлецы — люди и что порядок жизни, в котором и мы участвуем, в значительной степени ответствен за вину отдельных людей, и в нас не должно умирать ощущение общей ответственности. Впрочем, это гораздо лучше меня сказал автор притчи „о мытаре и фарисее".

Итак — человек соткан так сказать из бесчисленных разноцветных нитей. Его движения будут зависеть от того, какая в данное время напрягается. Помните это. Честолюбец не всегда честолюбив,— иногда он скромен, хоть и редко. Злодей не всегда только злодействует, но иногда сожалеет, а порой у Брет-Гарта* или Достоевского — он проявляет героизм великодушия. И это не ложь,— читая их, вы видите, что их живые люди действуют так, как действовали-бы вы в таких условиях, в вашей душе дрожат и напрягаются ответным звуком те-же самые нити.

В этом весь секрет того, что мы называем художественной правдой в познании человека... На этом-же примере мы видим и всю неполноту данного процесса творчества. Да, герой Достоевского, поставленный в исключительные условия — действует так, как подобает живому человеку. Это дает нам живое ощущение того,

* Брет-Гарт (1837—1902)—знаменитый сев.-американский писатель.

что человек живет и в звере,— сумейте найти „нити". Но мы желаем видеть — кроме человека одного, самого по себе, в распоряжении автора, отвлекшегося от внешних соотношений — еще среду, общество. Какие нити шевелит в нем оно преимущественно, как оно шевелит их, отчего?

Достоинство художественного произведения, как такового измеряется прямо пропорционально этой цельности между формой и идеей и непосредственной прочувствованностию сюжета. Мы говорим: стихотворения Фета художественнее многих стихотворений Некрасова.

Но оценка литературного произведения не может ограничиваться одной этой стороной: сюда входит оценка содержания, и возможен следующий отзыв: такое-то произведение при глубокой и важной идее не выдержано в художественном отношении. Другое — милая безделка, чрезвычайно выдержанного характера. И никто не запомнит вторую, тогда, как многие будут обсуждать и спорить относительно первой.

Вообще — если признать равными прочие условия — тогда:

1) тенденциозное произведение ниже нетенденциозного (это значит, что при одинаковой глубине внутреннего содержания второе дает это содержание с большим проникновением и в более совершенной форме изложения. Оно проникнуто большим количеством образов и чувств из глубокой сферы мысли и чувства). (— неточно).

2) При одинаковых художественных достоинствах выше произведение, проникнутое более глубокой идеей.

3) Два эти момента допускают затем множество комбинаций, взвесить которые в том и другом отношении — дело критики.

29 декабря

Сонька решительно начинает философствовать. Первый вопрос о т ч е г о я услышал от нее в начале этого месяца.

— Я уеду в Петербург, мне будет скучно,— говорю я.

— Не езди.

— Надо ехать.

Она задумалась и потом спросила.

— Отцево няде?

Сегодня, болтая всякий вздор, она бессознательно произнесла слово зюик (жулик). Потом вдруг остановилась и, обращаясь ко мне и Дуне, спрашивает:

— Зюик. А сте тякое нязиваится зюик?

Теперь садится около меня за стол, берет карандаш и бумагу и говорит „писать буду“:

— Этим поем (полем) безить сябака.

Карандаш падает на пол.

— Подими, подими, мне писять няде: этим поем бизить сябака...

— Врешь, не бежит вовсе.

— А кто безить. Птицька сте-и?...

КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ И АФОРИЗМЫ*

Писарев для провинциальной молодежи 60-х и 70-х годов — это молодой свежий голос вырвавшегося на волю шалуна брата, доносящийся до слуха запертой в темной каморке сестры. Это серенада, под окном душной монастырской кельи.

Замечание Кольриджа** одному из его критиков: „на свете существуют вещи, называемые источниками и потому невозможно утверждать за верное, будто бы тот или другой человек, почерпнувший воду,— непременно взял ее в цистерне соседа“. (Лесев[ич]. Что такое научная философия? Р. Мысль, январь 88 г.).

* Все эти записи без дат и находятся в конце тетради 1887—1888 г.

** Кольридж, знаменитый английский поэт и философ (1772—1834).

„Указывая на общие источники философии Ог. Конта и своей, Дж. Ст. Милль утверждает, что научный метод был ему знаком ранее, непосредственно от отца его Джемса Милля, предшественники которого были те же, что и предшественники Конта. Со времен Юма, говорит Милль, теории эти стали достоянием философского мира, и со времен Брауна они вошли даже в популярную философию. Учение Брауна вполне позитивно, и первая часть его лекций может быть рассматриваема, как такое введение к учению позитивизма, лучше которого и до сих пор нельзя еще отыскать. Итак можно сказать,— говорит Милль,— что разрабатываемая мной философия ничуть не составляет моего личного достояния; она—общее достояние века, хотя далеко не усвоена еще даже и мыслящими умами. Не будучи новейшим открытием Конта, она представляется только продолжением традиций тех великих умов науки, открытия которых сделали род человеческий таким каков он есть". (Там же, стр. 13).

В истории попадаются печальные дни, но нет дней бесплодных и неинтересных. (Ренан, предисловие к VI тому Истории первых веков христианства).

„Le secret d'ennuyer est celui de tout dire" *. (Буало).

Прекрасное, по выражению Шиллера, есть форма, сама из себя об'ясняемая и ни в каких об'яснениях не нуждающаяся. (П. Е. Астафьев. Русское Дело, № 43, 1888).

Die Wahrheit gehört dem Menschen, der Irrthum der Zeit an**. (Goethe).

Что в художественном творчестве главнейший момент — созерцание, это, кажется, верно. Но заключать отсюда к „чистому искусству", которое само себе довлеет, едва-ли возможно.

Что такое „созерцание"? Астафьев*** в вышеупомянутой статье приводит из Шопенгауэра следующие свойства „созерцания". Оно — бескорыстно об'ективно, ненамеренно, нерассудочно, беструдно и непосреоственно. Признавая эти свойства и определяя тенденциозность

* Лучший способ наскучить — договаривать все до конца.

** Истина принадлежит человеку, заблуждение — времени.

*** П. Е. Астафьев.— Писатель по философским вопросам и цензор.

как „преднамеренность“ (близко к истине, но не совсем точно) Астафьев и делает вывод, что искусство, основанное именно на созерцании должно быть свободно от тенденции, т. е. от преднамеренно, рассудочно взятых целей, к которым должны тяготеть образы.

Все это верно. Беда лишь в том, что Астафьев обходит самое существенное. Он привязал все свои возражения к неудачному положению Гольцева, за которое делает ответственным даже Добролюбова: „тенденция, как один из видов идеи, имеет право на существование“. Что тенденция есть один из видов идеи — этим Гольцев хочет сказать, вероятно, что под тенденцией он разумеет известный ряд идей, идеи политические и так называемые „злобы дня“. Это прежде всего не охватывает всего понятия, которое мы привыкли связывать со словом тенденция. Но если принять Гольцевское определение,—то нельзя не согласиться и с его тезисом. Идея политическая, как и всякая другая,— имеет право гражданства в искусстве. Неужели с этим можно спорить. Если же под этим разуметь идею, навязанную произведению извне, которая не вытекает органически, беструдно и непосредственно из образов, то конечно такая идея не имеет права гражданства, потому что не вяжется с своими соседями — образами. Но это уже не потому, что она идея политическая. Будь это какая угодно идея, будь она та самая, которая проникает насквозь любое из произведений Гете,— она все равно не будет иметь права гражданства.

Значит все дело тут в вопросе — как именно должна вязаться идея с образами. Но г. Астафьеву угодно ограничить самое понятие „идеи“. Он хочет видеть в этом слове только конкретный образ, и „созерцать“ по его мнению можно только образы. Это совершенно неверно:

созерцать можно также и отвлечения и математические формулы и идеи высшего порядка. Из его определений как будто вытекает, что настоящий созерцатель — только Фет, который давал ряд конкретных образов, ничем не связанных и конкретно-чувственных, если можно так выразиться, состояний души. А у Гете, у Шиллера — есть отвлеченные идеи или их нет?

Несомненно есть и несомненно, что хотя Фет давал прелестные лирические „морсо“,—но Фет не Гете и именно он настолько же не Гете, на сколько кирпичи, из которых построен дворец или храм — не тожественны с дворцом и храмом. У Фета, по Астафьеву и д е и. Это несомненно. И у Гете тоже идеи. Но Фет не подымается над уровнем созерцания „конкретностей“ элементарных, так сказать нисшего порядка. Гете-же созерцает идеи порядка высшего. Он их созерцает, это несомненно, потому что они у него облечены в образы воплощающие их во всей полноте (в совокупности своей). Он их созерцает непосредственно и беструдно. Да,— также, как математик по природе (есть такие) непосредственно и беструдно решает бессознательным процессом задачи на возвышение в квадрат и куб четырехзначных чисел.

1889 год*

„Что значит говорить?“ (Que es hablar?) спрашивает новый испанский академик Бенод. Я предложил этот вопрос Борису**, и он ответил, немного думая (по своему обыкновению): это значит действовать языком и губами. Конечно, определение неполно и не правильно, но не глупее определения испанского академика: „Говорить — отвлекать слова от их общности, ограничивая их общность и об'ем другими словами, подобно тому, как две линии, пересекаясь, образуют точку в бесконечном пространстве“! Вот слишком мудрое определение общеизвестнного понятия; у Бориса схвачены хоть некоторые конкретные признаки, у гишпанского академика — никаких***.

* 1889-й год начинается 24 января выписками из статьи Брандеса о Мериме („Русск. Мысль“ 1888 г. кн. 12), касающейся сущности мировоззрения Мериме, его художественного темперамента, стиля и т. д. Главное внимание В. Г. очевидно привлекала характеристика Мериме, как романтика. На полях, против одной из выписок пометка: „О романтизме“, затем следуют три кратких выписки из Гете и Байрона. Весь этот материал, не снабженный никакими комментариями В. Г., здесь выпускается.

** Борис — мальчик, племяник В. Г., сын М. Г. Лошкаревой.

*** Далее следуют на 14 страницах дневника выписки из газет 70-х годов, являющиеся материалами к работе В. Г. по исследованию быта Павловских кустарей („Павловские очерки“, XIV-й том наст. издания). Выписки впоследствии перечеркнуты автором и вверху страницы в скобках написано „Материалы. Неважно“. Вслед за тем записи в этой тетради дневника возобновляются уже в конце 1889 г. без точного обозначения даты.— В течение этого промежутка времени,— с весны по ноябрь 1889 г. В. Г. совершил несколько экскурсий, не оставивших следа в его дневнике: — в Балахну (26 апреля), в Павлово (в начале

РАЗГОВОР ПЕРИКЛА С АЛКИВИАДОМ *.

....Говорят, что Алкивиад еще до двадцатилетнего возраста имел следующий разговор со своим опекуном Периклом, известным правителем города.

— Скажи мне, Перикл, говорил Алкивиад,— можешь-ли ты определить, что такое закон?.. Когда я слышу, что живых людей хвалят за то, что они следуют законам, я полагаю, что человек, незнающий, что такое закон, получает похвалу несправедливо.

— Желая знать, что такое закон — отвечал Перикл,— ты, Алкивиад, желаешь нетрудного. Все то закон, что постановляет большинство в своем собрании, определяя, что следует делать и что не следует.

— Определяя — хорошо поступать или дурно? — спросил Алкивиад.

— Конечно хорошо, юноша, а не дурно.

— А если на собрании определяет не большинство, а немногие, например, если где олигархия? Это что такое?

— Все то, отвечал Перикл, что государственная власть решает делать, называется законом.

— Следовательно,— спросил Алкивиад,— если тиран управляет государством и предпишет гражданам, что они должны делать, то и это закон.

— Да, и то, что предписывает тиран, и это называется законом.

июня), на Светлояр (от 21 — 27 июня) и в Крым (от 24 авг. до второй половины октября). От поездки в Балахну в архиве В. Г. сохранился небольшой отрывок, озаглавленный „Балахна 26 апр. 89 г.". Во время поездки в Павлово и на Светлояр В. Г. делал заметки в своих записных книжках. При поездке в Крым В. Г. подробно описывал свои впечатления Э письмах к жене, которые сам он называет страничками из дневника. Эти записи, в известной мере заменявшие В. Г. дневник и восполняющие его пробелы, печатаются в настоящем издании в соответствующих местах: письма к А. С.— во II томе писем; отрывки и записные книжки в томе XXIII.

* Запись эта стоит в связи с занятиями В. Г. в 1889 году греческой философией, главным образом сократическими диалогами Платона и сочинениями Ксенофонта. В октябре этого года, в Крыму, был написан им рассказ „Тени", черновик которого испещрен выписками из Платона. Значительно позднее в 1901 году В. Г. начал рассказ „Не страшное" (т. XXI наст. издания), в котором разговор Алкивиада с Периклом, изложенный словами старого учителя, является одним из основных моментов очерка.

— Что-же такое, Перикл, насилие и беззаконие. Не то-ли, когда сильнейший заставляет слабейшего действовать как ему угодно, не убеждая, а принуждая?

— Я полагаю, что это,— отвечал Перикл.

— Следовательно то, что тиран заставляет делать граждан своими предписаниями, не убеждая их, будет беззаконие?

— Я думаю,— сказал Перикл.—Впрочем, я беру назад, что предписания тирана, неосновательные на убеждении, есть закон.

— А то, что меньшинство предписывает большинству не в силу убеждения, но в силу власти, назовем-ли мы это насилием, или нет? — спрашивал Алкивиад.

— Я полагаю, что все то, к чему принуждают, действуя не убеждением,— будут-ли это постановления или нет,— все это скорее насилие, чем закон,— отвечал Перикл.

— Затем, если целая масса одолеет богатых и предпишет, действуя не убеждением, это тоже будет скорее насилие, чем закон? — спросил Алкивиад.

— Да,—отвечал Перикл,— и мы в твоем возрасте были сильны в подобных спорах. Точно также спорили и философствовали, как вот и ты теперь.

На это Алкивиад, говорят, отвечал:

— О если бы, Перикл, я был знаком с тобой тогда, когда ты был сильнее в подобных вопросах.

(Сочинения Ксенофонта (перев. Янчевецкого), часть II. Воспоминания о Сократе, стр. 18—19) *.

* 1889-й год заканчивается газетной вырезкой, наклеенной на странице дневника и касающейся инцидента с удалением публики на Нижегородском земском собрании („Новое Время“ от 25 декабря № 4967 „Среди газет и журналов“).

1890 год

„Таков мир. Изучай, презирай и люби его и смело иди своею дорогой, подняв взор к высшим путеводным звездам". (Карлейль) (Историч. и критич. опыты Томаса Карлейля, Москва 1878 г.— стр. 63).

„Век романтизма еще не прошел, он никогда не кончится, а если мы хорошенько поразмыслим, то не заметим даже и малейшего упадка в нем. „Страсти,— говорят,— вытесняются социальными формами, сильных-же страстей вовсе не видать". Нет есть еще страсти"... (и т. д. Здесь отличительной чертой романтизма признаются сильные страсти). (Там-же Брилиантовое ожерелье стран. 67).

„Во всяком случае, любезный читатель, ты можешь быть уверен, что ни один век не казался самому себе веком романтизма. У Карла Великого, что-бы там ни болтали поэты, были свои неприятности в жизни. Если мы вспомним, что он торговал курами и огородными овощами, что у него были похотливые дочери, переносившие к себе любовников по снегу, что однажды он даже повесил на везерском мосту до 4000 саксов, то нужно согласиться что великий Карл бывал иногда в дурном расположении духа. Герою Роланду также было знакомо и вёдро и ненастье, ему нередко приходилось щеголять в дырявых штанах, жевать жесткую говядину, а иногда оставаться вовсе без обеда. Его злословили, он часто страдал запорами (что ясно доказывают его безумные выходки) и мир по всему вероятию, казался ему адом, а себя он считал самым жалким существом в мире. Только в позднейшее время, когда жесткая говядина и запоры были забыты, Турпены и Ариосты начали находить в действиях героя поэзию. Так бывает всегда, потому что истинный герой, истинный Роланд никогда не сознает своего геройства, а в том-то и заключается истинное величие (69).

„Если-бы честолюбие само избирало себе путь и если-бы воля, руководящая человеческими предприятиями, равнялось человеческим способностям, то все истинно-честолюбивые люди сделались бы писателями.....всякое другое поприще для честолюбия в сравнении с богатым и необ'ятным литературным поприщем, под которым мы подразумеваем все, что относится к знанию и распространению мысли,— скудно, ограничено и недействительно"... (137).

Март 1890 г.

ИЗ ФЮСТЕЛЬ ДЕ-КУЛАНЖА *

(Гражданская община античного мира).

...„Великие перемены, наступающие повременам в общественном строе, не могут быть плодом ни случая, ни одной только силы. Причина, их порождающая, должна быть могущественной и заключаться в человеке. Если законы человеческого общения теперь не таковы, как в древности, значит — изменился в чем нибудь сам человек. Действительно, есть часть нашего существа, изменяющаяся с ходом времени,— это наше разумение. Оно всегда движется и всегда идет вперед и благодаря ему подвергаются переменам наши учреждения и наши законы. Человек не думает теперь так, как думал двадцать пять веков тому назад, а оттого и управляется иначе". (Стр. 3).

...„С законами и учреждениями сопоставьте верования — факты тотчас уясняются... Если восходя к первым временам данного племени, т. е. к эпохе, когда оно основало свои учреждения,— мы вникнем в понятие его о человеческом существе, о жизни, смерти, загробном бытии, о божественном начале,— то откроем тесную связь между этими мнениями и древними нормами частного права, между вытекавшими из тех верований обрядами и политическими установлениями". (Стр. 4).

ИЗ ДОН КИХОТА

...Дело не в чуде, а пусть каждый обращает внимание на то, что говорит о ком бы то ни было и не пишет всего, что взбредет ему на ум. (Слова Санчо-Пансо о Сид-Гамед-Бененгели, стр. 30, т. II).

...Вы знаете, в комедии труднее всего обрисовать роль глупца, потому что нужно быть очень неглупым человеком, чтобы с'уметь во время прикинуться дураком. (Слова Дон Кихота — стр. 32, т. II).

...„Девке лучше найти дурного мужа, чем хорошего любовника"— мораль жены Санчо-Пансо.—„Лучше хорошая надежда, чем плохая действительность"— мораль Дон Кихота.

...Что касается до простолюдинов, то о них замечу, что служа к распространению рода человеческого, они не обращали на себя внимания истории. (Слова Д. Кихота племяннице. 49).

...Поэзия подобна прелестной девушке, в самом нежном возрасте, которую наряжают и обогащают несколько других красавиц, олицетворяющих разного рода знания, потому что поэзия почерпает слово

* Фюстель де Куланж — французский историк (1830 — 1889 г.).

свое из науки, возвеличивая в свою очередь науку... (Слова Дон Кихота дону-Диего, стр. 124).

Operibus credite non verbis * (комед. Петр.).

...Один Бог знает, существует-ли на свете Дульцинея?.. Это один из тех вопросов, до окончательного разрешения которых не следует доходить. (Д. Кихот).

...Добродетели в человеке не знатном заслуживают большего уважения, чем порок в знатном (Д. К.).

...Человек этот во всем сомневается и между тем всему верит—так характеризует Д. Кихот своего оруженосца и это, пожалуй, самая характерная черта С. Пансо.

...Приди, о смерть, приди, но только
Таинственно и тихо так,
Чтобы не ожил как нибудь я
От радости, что я умру...

О Боже, что у нас делалось, когда наши поэты принимались сочинять так называемые seguidillos, бывшие в большой моде в Кандае. Можно сказать, что в них танцовала душа, волновалось тело, заливался смех и восторгались все чувства... Еслибы я была хорошей дуэньей,— я не верила бы подобным изречениям: я живу умирая, сгораю во льду, мерзну в огне, надеюсь без надежды и, уезжая, остаюсь. (Слова гр. Трифанды).

Дурак лучше знает свой дом, чем умник чужой (одна из пословиц Санчо-Пансо).

Ко всей этой коллекции смешных испанских глупостей Д. Кихота и С. Пансо переводчик Сервантеса г-н В. Карелин приложил очень смешную русскую глупость в виде своего критического этюда „Донкихотизм и Демонизм". „Дон-Кихот, говорит он,— великий человек, обладавший богатыми внутренними силами",—что пожалуй совершенно справедливо,— „но он не вынес окружавшей атмосферы и заболел. Колумб или Гусс жили тоже в нездоровой атмосфере, но из многих повалившихся вокруг силачей, спаслись, не чудом, конечно, а вследствие известных

* Верьте делам, а не словам.

причин, доискаться которых мы не можем при современном состоянии психологической гигиены". Бедный Сервантес,— он полагал, что совершенно ясно указал причины сумасшествия несчастного ламанчского гидальго — в нездоровой умственной пище, состоявшей исключительно из рыцарских романов, тогда, как Гусс, например вовсе их не знал. Но вот его переводчик утверждает, что эти причины до сих пор неизвестны,— да и мог-ли знать их Сервантес, когда еще и в наше время — нет „психологической гигиены". А без психологической гигиены... „веревка вещь какая?..."

Вообще весь этюд Карелина явление чрезвычайно характерное в своем роде: через несколько страниц после этого замечательного вступления, он пускается в длинные рассуждения о том, что Д. Кихот, сознавая ненормальность окружающего строя и не веря в благотворность частной филантропии (откуда это взято,— ведь этюдов Милля также не было во время Сервантеса, как и психологической гигиены?)— в то-же время не знал политической экономии. Да если-бы и знал... И. Г. Карелин пускается в соображения о том, что было-бы, если бы Д. Кихот знал политическую экономию. Тогда ему грозила опасность „придти к каким нибудь мальтусовским выводам". И т. д., и т. д. Что за наивная попытка — измерить гигантские общечеловеческие типы аршином маленькой современной минутки. Не менее яркое доказательство, что наука даже и „современная" имеет своих Санчо-Пансо и что филистерство и педантизм так-же вечны, как и донкихотизм, столь глубокомысленно комментируемый г. Карелиным.

„Придерживаясь подлинника Сервантеса"— г. Карелин может „почти безошибочно сказать, что вышло-бы из Д. Кихота при других условиях жизни. В классической Греции, например, он был бы чем нибудь в роде... Сократа"!

Опять наивнейшее непонимание, истекающее из не менее наивного преклонения перед теориями о „влиянии условий и среды". Дон-Кихот Сервантеса — есть во 1-х вечный тип, никогда и ни при каких условиях неумирающий и надо думать,— имеющий существовать и впредь до скончания века. И уже только во 2-х испанец такого-то века (конца XVI и начала XVII). Причины помешательства дона Алонзо Кихадо, гидальго из Ламанча — совершенно ясно указаны Сервантесом, но для того, чтобы данные условия так ярко отразились в данном характере и дали такой пышный плод — нужна была глубокая основа в типических свойствах характера, а свойства эти таковы, что никакие условия воспитания и среды не сделали-бы из „воображающего" и непосредственно-действующего Д. Кихота — анализирующего критика — Сократа! Не понимать этого — значит не придавать никакого ровно значения бессмертному образу ламанчского рыцаря, или придавать ему значение слишком узкое и временное. Неужели г. Карелин может утверждать, что при „условиях классической древности" не было своих дон-Кихотов, и что в Испании времен Сервантеса совсем таки не было людей сократовского типа? Нет, из дона Алонзо вышел Д. Кихот потому во 1-х, что он был дон-Кихотом по природе, родился с перевесом воображения и непосредственно-деятельных импульсов над анализом и критикой. Чтение же рыцарских романов и атмосфера, наполненная призраками умирающего феодализма — это факт вторичный, придавший Ламанчскому гидальго окраску его времени и места... Это только временная оболочка, одежда никогда не умирающего типа.

А вот, отчего являются Дон-Кихоты в человечестве во все времена,— (а не в Испании и не в XVI веке,— как наивно спрашивает г. Карелин, сравнивая Д. Кихота

с Колумбом и Гуссом и недоумевая, отчего те не сделались „больными“ дон-Кихотами)— это вопрос, на который едва-ли когда нибудь ответит самая научнейшая из научных „психологических гигиен“,— потому, что в своем бессмертном романе Сервантес зачерпнул такие глубины человеческого духа, где мы имеем дело уже с первичными так сказать фактами человеческой природы. Дон-Кихоты есть в человечестве,— как есть и Гамлеты, как есть и Сократы. Это факты, которые всякая „психологическая гигиена“ обязана будет принять целиком, как они есть... А отчего тот или другой Д. Кихот заболел и окончательно рехнулся,— ну, на это пожалуй Сервантесы, не знающие психологической гигиены,–отвечают право довольно удовлетворительно.

...„Переводить с одного языка на другой — говорит Д. Кихот одному переводчику,— все равно, что переворачивать кверху ногами (—не наизнанку-ли?) фландрские обои, показывая какие-то неясные фигуры, по которым невозможно составить точного понятия ни о красках, ни о целом картины“... И даже в этом отрывке, порицающем переводчиков (единственное оправдание которых рыцарь видит в том, что они, пожалуй могли-бы заниматься чем нибудь гораздо худшим)— русский переводчик не воздержался от грубой ошибки: очевидно даже для неучившихся испанскому языку, что речь идет о вывернутых на изнанку, фландрских обоях, причем на оборотной стороне есть и рисунок и краски, но и то и другое — в искаженном виде, тогда, как „кверху ногами“ (?) повернутые обои все-же сохранили-бы, если не рисунок, то краски неприкосновенными...

... „Мне казалось, что с небольшими изменениями во всех этих книгах описывается одно и то-же, и что в этой книге нет ничего больше, как в той и в последней найдется то-же, что в первой“... (Каноник дон-Кихоту).

... Хотя я знаю, что похвалы самому себе часто говорят не в нашу пользу, тем не менее не отказываюсь от них, когда не нахожу вокруг себя никого, кто-бы мог говорить за меня... (Дон-Кихот дону Диего де Мирандо, т. II стр. 120).

Садовник Андрю Ферсервис (в Осбальдистон-голле, роман Роб-Рой *) высказывает ту-же мысль: „Плохое дело ждать, пока другие люди оценят тебя по достоинству".— Некоторые из наших писателей держатся видимо этих мудрых правил **.

12 августа

ИЗ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО:

„Ты, государь,— скажу тебе открыто —
Ты, в юных днях испуганный крамолой,
Всю жизнь свою боялся мнимых смут
И подавил измученную землю.
Ты сокрушил в ней все, что было сильно.
Ты в ней попрал все, что имело разум,
Ты бессловесных сделал из людей —
И сам теперь, как дуб во чистом поле,
Стоишь один, и ни на что не можешь
Ты опереться; если — Бог избави —
Тебя оставит счастие твое,
Ты пред несчастьем будешь наг и беден.
Несчастье-ж недалеко, государь!...

(Полное Собр. Т. III. Трилогия, Смерть И. Грозного. Слова боярина Захарьина Иоанну Грозному).

* Роб-Рой — роман Вальтер Скотта.

** Следующая запись в тетради дневника 1890 года носит дату 12-го августа. До тех пор В. Г. совершил весной 1890 г. поездку в Павлово (с 22 апр. по 6 мая) и летом того-же года две экскурсии: одну — между 10 и 20-м июня — в Арзамас (здесь В. Г. интересовала бывшая худож. школа Ступина, о которой он задумал истор. повесть на основании архивных матерьялов, с которыми он познакомился, работая в Нижегор. Архивной Комиссии), и в соседние с Арзамасом монастыри — Дивеево, Понетаево и Саров; другую экскурсию на Светлояр по Ветлуге, между 5 и 14 июля. Во время этих экскурсий В. Г. вел записи в записной книжке и в дорожном альбоме. Часть этих записей печатается в наст. изд. в томе XXIII.

В общем, перечитав теперь Алексея Толстого,— я выношу (несмотря на очень заметную ноту удельно-боярского романтизма и отчасти и прямой идеализации боярщины)—очень сильное и яркое впечатление, а в приложении — встречаются дельные и здравые мысли об искусстве и так называемом „русском“ „самобытном“ направлении в науке и искусстве. Законы искусства — одни и те-же для всех народов; это законы, „которых держались все великие критики нашего времени, в том числе Лессинг и Гете и в этом смысле они могут по справедливости назваться законами европейскими. Хотя многие у нас находят, что мы не обязаны подчиняться этим законам, потому что мы не европейцы,— но подождем, чтобы Азия или Новая Голландия выслали нам новую эстетику, или же чтобы явились особые русские законы искусства, которые еще не открыты, но скоро должны открыться“...

Между тем у нас „распространяется доктрина о каких-то русских началах, на которых должны у нас развиваться наука и искусство.— Есть русские нравы, русская физиономия, русская история; есть даже русское искусство,— но нет русских начал искусства, как нет русской таблицы умножения“.

... „Спутывать „национальные нравы“ с так называемыми национальными началами искусства, — значит вносить неясность в понятия“.

Это писано в 1868 г., но и в наше время слова эти не потеряли еще своего живого значения и смысла...

13 августа

Уехал приезжавший на ярмарку иконописец Вас. Сем. Сар. От него я узнал интересные черты из мира российского раскола. *.

В Чистополе, в Стерлитамаке, в Оренбурге—распространена секта рябиновцев. О возникновении этого странного „древесного“ вероучения существует следующий весьма

* Расказ этого иконописца послужил В. Г. материалом для его очерка „Ушел“ (т. XVI наст. изд.).

вероятный рассказ. После соловецкого разорения,—как известно, несколько избежавших казни иноков рассеялись по лицу русской земли, захватив с собой кто что мог из захваченной никонианами святыни. В том числе какой то не весьма должно быть ученый и не вельми мудрый инок, захватив распятие, скрыл его на своих персях и пошел с ним по лесам, и скитам, проповедуя, что все святыни теперь уже поруганы, расточены и запечатлены антихристом, что нельзя уже без крайней опасности для души поклоняться ничему, кроме единого сего, им спасенного и из пламенной пасти исхищенного, подлинного соловецкого распятия. Что устрашенному, едва избегшему конечного посечения, темному и простодушному иноку, свидетелю разорения преславной обители,— показалась эта гибель—разорением чуть не всего мира — это не диво. Но тогда не диво также, что в глухих лесах покамья и поволжья нашлись не менее простодушные люди, принявшие учение нового проповедника. И вот, в названных выше местах возникает секта, краеугольным камнем коей ложится идея — что ныне можно поклоняться только распятию, кресту. Сами себя они называют: „мы по кресту".

Далее: идея эта, как все возникающее в сем мире, начинает развиваться. Своеобразное же и неумное начало влечет за собой своеобразное и неумное развитие: возникает весьма важный вопрос: из чего должен быть сделан крест, коему достойно поклонение. Авторитет св. писания гласит, что животворящий крест соделан бысть из трех древес: из кедра, и певга, и кипариса. Кедр и кипарис — древа известные всякому подеревщику, но что же такое п е в г а? „П е в г а — есть не что иное, как рябина",—решает начетчитская схоластика на основании тончайших соображений. И вот, так как все спорные вопросы всегда имеют особенное свойство—выпячиваться,

становиться на первом плане и покрывать собой все, даже более существенное, но спору и борьбе не подлежавшее (вот почему, скажем кстати,— старообрядческие начотчики, тонкие знатоки свято-отческих писаний нередко являются круглыми невеждами в евангелии)—то вскоре рябина торжествует и над певгой и над кипарисом и самая секта получает название vulgo—рябиновцев, так как у ее последователей на полках, где ставятся иконы,— находятся одни только рябиновые кресты разной величины, порой по 10 и более.

Однако понемногу эта исключительность теряется и рябиновцы начинают принимать иконы, подвигаясь в этом смысле к остальному старообрядчеству. Говорят в окрестностях Стерлитамака, где секта содержится еще в особенной строгости, есть еще старики, вовсе не принимающие икон. Остальная масса разделилась так сказать на разные напластования: одни принимают лишь иконы Спасителя, Богоматери и святых, совершенно отвергая иконы „праздников". Другие принимают и праздники,— при чем все не принимают вовсе Саваофа и вообще изображений лиц св. Троицы. Это один принцип подающий признаки для классификации и разделения. Существует и другой: рябиновцы, как и многие из старообрядцев,— гнушаются есть из одной посуды с иноверцами. Но некоторые, „слабейшие" уже вкушают. Итак—являются ядущие и не ядущие с иноверцами. Затем некоторые опять построже—не едят и с теми из своих, которые едят с иноверцами. Отсюда—новые разряды: ядущие с ядущими и не ядущие с ядущими. Очевидно здесь мы вступаем на бесконечную лествицу, которая давала-бы возможность дальнейшего дробного деления... Но это, конечно,—уже несущественно.—Существенна на мой взгляд печальная возможность самого существования в наше время этой

„древесной“ секты, печальны эти дебри бесплодной схоластики, в которой путается народный ум в лабиринте мертвой формалистики. Говорят, нравы в этой среде полны какого-то допотопно-домостроевского мрака. Истинно „темное царство“. Дворы, окруженные высокими заборами, ворота, запирающиеся с закатом солнца, злющие собаки — все это какие-то мрачные крепости, охраняющие мертвые формы семейного гнета, деспотизма и бессмысленной рутины.

Общение с иноверцем — уже делает человека „подозрительным“, светская книга—преступление, посещение театра — неслыханная продерзость, которая навлекла бы на провинившегося „отлучение“ от общества. Мой знакомый рассказывал мне свою биографию,— это целая эпопея борьбы за глоток воздуха, за право дышать в атмосфере, наполненной какими-то чудовищами давно отжившего прошлого.

Высокие заборы, какие-то старые девки, лицемерно возводящие очи горе и тайно приносящие плоды блудного греха, младенцев неизвестно куда исчезающих. Не менее лицемерный ханжа-начетчик, взваливающий на юношу свой собственный грех с одной из этих келейниц. Синклит „верных“, уговаривающий в моленной юношу смириться и покаяться во грехе,—истинный виновник которого всем известен...— вот моменты этой незатейливой драмы, драмы, каких наверное десятки и тысячи разыгрываются в этом темном царстве, возникшем на почве борьбы с „книжным исправлением“ *. Есть и своя „светлая

* На полях рукописи против этого места написано: „Любопытно об'яснение психического состояния этих святых блудников и блудниц, которое мне пришлось слышать недавно: — нешто это душенька твоя, Иван Петрович, со мною согрешает. Нет, миленький! Тело это, плоть грешная, как тряпка валяется во студном гресе,— а душеньки наши в это время в райских обителях обретаются...“

личность"—светлая лишь на этом темном фоне. Это—дядя юноши, горький пьяница, погибший человек, из отвращения к ханжеству этой среды доводящий свой разврат до цинизма. Он,— плача пьяными слезами,— раскрывает юноше глаза на истинные свойства окружающих его святых, не ядущих с иноверцами, дабы не осквернить своей святости. Он-же сует мальчику в руки изорванную книжку журнала, поселяя в нем первые проблески сознательной мысли и любви к разуму и знанию...

Да, не все, далеко не все симпатично в этом российском „диссидентстве", столь опоэтизированном Юзовым* и мн. другими. Что-же нужно делать для борьбы с этим мраком. Можно-ли сомневаться? Нужно свободы, света, образования. Нужно, чтобы потеряли смысл эти высокие заборы, точно крепостные стены,— нужно, чтобы светская книжка вторглась в эти крепости, с которыми не могла ничего поделать „православная схоластика" наших попов. Лучшее оружие борьбы с ними — не гонение, которое питает исключительность „противления", как масло питает огонь,— а свобода. Недаром один очень убежденный и фанатизированный раскольник на Светлояре говорил мне, что „свободная прелесть нашего века хуже прелести гонительской прежних времен". От прежней возгоралась ревность, а от нынешней слабеет и исчезает древлее благочестие, основанное на темном буквоедстве и обращающее взоры к темным и мрачным ликам сухого старинного письма. Но для этого нужно, конечно, понять, что выход, который должен быть открыт таким образом — не единственная только дверь схоластической догматики чистого церковного православия, а прежде всего терпимость и доверие к знанию и разуму...

* Юзов — псевдоним публициста-народника Иосифа Ив. Каблица (1848—1893).

14 августа

ИЗ ВИЛЬГЕЛЬМА ТЕЛЛЯ, ШИЛЛЕРА.

Мой век земля покрыла... Счастлив тот,
Кто жить не должен с новым поколеньем.

Слова Аттингаузена Руденцу... „Счастлив тот, кто жить не должен с новым поколеньем!"— как часто повторяется история. Сколько раз преклонение перед молодежью, отражающей в себе лучшие стремления своего века—сменялись этим горьким упреком, когда на смену идеалов свободы приходили и овладевали молодыми сердцами идеалы блеска и сверкающей личной жизни. При дворе притеснителя,— говорит Руденц,—

..... мир славы
Там движется, блистая за горами...
А здесь я слышу лишь пастушечьи напевы
Да стад однообразные звонки...

И Руденц покидает седого дядю с его идеалами свободы, а старик говорит грустно:

Все новое втесняется сильнее,
Все древнее почтенное отходит:
И времена, и мысли, все другое...
Зачем же я живу...

Масштаб поменьше — и у нас теперь то-же самое. Седеющие старики, с их идеалами „реформенного времени" принуждены выслушивать высокомерные поучения юных Руденцов:

Нет, дядюшка, умней и лучше будет
В такие времена раздоров стать
Под кров могучий сильного...

Но не всегда эта старчески-собачья мудрость идет из глубины души. Люди всегда люди, и глубь молодого сердца не редко лучше его поверхности. Приходит для каждого своя роковая минута и не один из Руденцов на перекрестке быстро поворачивает коня на дорогу старой чести...

16 августа

ВАЛЛЕНШТЕЙН.

„Жизнь сумрачна, но свет искусства ясен".
(Шиллер, пролог к Валленшейну).

„Тот прав, кто тверд в своих предначертаньях,
„Виновен, кто живет с собою в распре... *
(Графиня Терцкая Валенштейну).

„Мгновения есть в жизни человека,
„Когда к душе вселенной ближе он
„Чем был когда-нибудь...
(Валленштейн).

Коль в человеке мне зерно известно,—
Ни воли он ни дел не утаит.
(В — н).

20 августа

Познакомился с Над. Мих. Ржевской. Личность интересная во многих отношениях. Но еще раньше меня удостоил посещением Богдан Вениаминович Гей, из „Нового Времени"— личность тоже интересная, хотя и менее и притом в смысле как раз противуположном. Зачем он приезжал в Нижний — я не знаю, ко мне-же он пришел— убеждать меня, что я должен работать в „Нов. Времени". Широкая аудитория etc., etc. „Притом же мы ведь с вами во всем согласны". И пожалуй,— оно так и есть, если смотреть „с одной стороны". Зато — ни в чем не будет согласия, если смотреть с другой. А то и другое возможно ad libitum во всякое данное время. Коснулся вопрос — земских начальников. „Разве мы стояли за них"— говорит Гей.

— А недавние статьи Молчанова,— ведь это панегирики.

* На полях рукописи, против данной выписки пометка В. Г — „Темп[ерамент]".

— Помилуйте,— Молчанов. Разве можно серьезно смотреть на Молчанова. Истрепавшийся болтун и ничего больше...

— Однако,— думаю я про себя и молчу... из гостеприимства. Оказывается тем не менее,— что, с другой стороны, сам Гей находит возможным одобрить земских начальников, но только... теперь он уже смотрит „с другой стороны".

— Видите-ли,— поучает он меня очень авторитетно нововременской мудрости.—Если вы посмотрите на земских начальников, как на деятелей земских,— регресс несомненный. Но посмотрите на них, как на у ч е н ы х (?) с т а н о в ы х,— и вы должны будете согласиться, что это шаг вперед...

И так во всем. С одной стороны и — тотчас-же с другой. Нет принципа, который нельзя было-бы оплевать, нет класса, которого-бы они не осудили огулом, нет программы, к которой бы они стремились, нет ни во что веры, нет ни к чему уважения. Вы думаете, что они — за правительство. Послушайте только, какие они вам расскажут анекдотики! За бюрократический строй?— Сохрани Бог. Громы и молнии сыплются против бумажного производства и бюрократического строя. Значит — за выборное начало? Помилуйте, да это лжелиберальный предрассудок и рутина. За парламентаризм? Господи Боже — да конституциями недовольны уже на западе. За произвол? Произвол плохое дело... За законность? Кто-же не знает, что „законным порядком" Стасюлевич и либералы прикрывали свои конституционные вожделения. Итак — нигде ничего. Вот к кому вполне применимы бессмертные слова „жида"—Берне:

„Вследствие того, что у них ни в уме, который представляет собою справедливость, ни в сердце, которое есть любовь,— нет точки равновесия,— они спотыкаются и падают при каждом движении, каждый новый шаг отдаляет их все больше и больше от цели, каждый опыт

делает их неопытнее, каждое явление для них ново и каждое утро они просыпаются так, как будто только что родились на свет". (В защиту евреев. Соч. Берне, т. I. Перев. Вейнберга).

При таком умонастроении, без сомнения,— всего легче одно — ругать все и всех. И действительно — нет принципа, нет класса, нет стремления, которые бы остались не облитые грязью... Конечно из тех, которых обливать грязью „дозволяется". Происходит естественный отбор: они обругали-бы очень охотно все и всех. Но... удобнее ругать только нечто и некоторых. Сильные поэтому остаются вне воздействия — в силу вещей... Зато все и без того находящееся не в авантаже, все, на что и без того направлены удары и давление — все это оплевывается сугубо. Консерваторы! Вот как они становятся консерваторами. Этот консерватизм основан на злобе, которая поглотила-бы все, если-бы ее не сдерживала „благоразумная трусость", заставляющая щадить то, что торжествует и данное время...

20 августа

БЕРНЕ О ВЕРЕ.

„Человек никогда не может быть счастлив без верования; он живет настоящим днем и беспокоится о завтрашнем. Верующего кормит материнская заботливость Провидения. Неверующий — нищий, живущий подаяниями фортуны. Вера есть корень науки; знание оторванное от нее — ничто иное, как кусок дерева, не приносящего ни цветов, ни плодов. Без веры человек не имеет сердца, а великие, живительные мысли исходят из сердца"...

Ранее он-же говорит:

„И неужели в самом деле, быть христианином так трудно? По крайней мере это совсем не так дорого стоит, как думает Гейне. Кто любит, тот христианин. А всякий человек, хотя бы из самолюбия, должен любить и обожать что либо постороннее. Один обожает честность, другой — славу, третий — добродетель, или храбрость, или верность, или любовь, или дружбу. Христианство — пантеон всех этих божеств. Войдите в храм,— преклоните колена перед честностию или перед свободой — и вы поклоняетесь одному и тому-же Богу, вы—христианин".

Мне это кажется натяжкой. В другом месте, возражая Гейне, Берне говорит: „XVIII век вовсе не раздавил католицизма. Он нападал на религию". Мне кажется это чрезвычайно верным: католицизм взял на себя представительство религии в о о б щ е — и спасся. Это очень выгодно для католицизма и не выгодно для религии вообще, для живого религиозного духа, которому когда-то нужны были эти именно формы, теперь умирающие или уже умершие, но который уже изнывает под ними теперь и ищет формы более гибкой и более широкой. Смешивать эти две вещи очень опасно, а Берне смешивает их.

„Как скоро католический мир избавится от папы, от бюджетоедов-епископов, от постоянных армий монахов, от всего этого корпуса жандармов в капуцинских рясах, как скоро народ сам начнет избирать своих духовных пастырей и католическая церковь начнет управляться народом и для народа — католицизм возвратит себе величие и прежнюю силу".

Да,— но только тогда он перестанет быть католицизмом. Если слово „католицизм" нужно зачем нибудь, то именно за тем, чтобы вызвать в нашем уме те индивидуальные так сказать свойства, те особенности, которыми история отметила эту ветвь христианства от других. Уничтожьте эти особенности и вы вернетесь к общему стволу — христианству. Но и христианство не следует смешивать с общим понятием „вера". Не всякий, кто войдя во храм, „преклонится перед дружбой или честностию"— непременно христианин. Он только — верующий. Особенность христианства, отличающая его от других религий, признающих Единого — личность Христа, вера в его божественность, вера в Провидение, „материнская заботливость которого кормит верующего"— в подчеркнутых мною в первом тексте словах, и высшим проявлением которого явилась миссия сына Божия на земле. Отнимите от веры в Единого — одну из этих особенностей, это

будет все таки вера, но не христианская. Магометанин не признает Провидение, на место которого ставит рок, fatum. Еврей не признает божественности Христа. Я скажу более: можно преклониться в великом храме, называемом нашим миром, с его куполом, в вышине которого носится над нами великая Тайна,— можно преклониться в нем перед разумом, который служит Истине, одному из свойств Божества. Это тоже будет вера. Но для этой веры нет наивного во все вмешивающегося Провидения, „кормящего каждый день своих поклонников". Эта вера побуждает искать нового понятия Божества, которое стоит за неизменными, за несомненно познанными законами необходимости, законами, которые установлены разумом — светом, являющим тоже отблеск божества в нашей душе. И, стоя за этой стеной необходимости, закономерности — Он должен быть все таки велик, больше теперешнего понятия о нем, на котором слишком явно покоятся детски-антропоморфические взгляды. Правда, мы никогда не освободимся от антропоморфизма, потому что в нем есть доля истины. Мы часть природы — часть Божества. Но наши понятия о себе и природе — совершенствуются и вместе с тем должна возвышаться идея того, кто бесконечно выше. Теперь нам предстоит именно понять того Бога, который не боится наших истин, которому не страшен ни закон Дарвина, ни законы причинности, ни эволюция... Все это правда, все это истина, все это есть, все это живо. Но жив и Бог, и истина есть только часть его, а наши истины — это только кончик веющей перед нами жизни, в которую одет он — Бесконечность. Этот Бог требует сердца, веры. Но он требует и разума, требует сомнения, требует бесстрашного служения себе посредством добывания новых истин и служения им, требует постоянного очищения наших

понятий о нем огнем очищения, которому костер — всё новые знания, а искра зажигающая костер — сомнение... Этому Богу служат не одни жрецы и священники; они пожалуй служат ему менее других в наше время. С нашими понятиями о божестве постоянно происходит то-же, что с материальными изображениями его. Художник, чувствуя в душе присутствие Того, кто является источником всякого вдохновения — стремится придать этому чувству ощутительную форму. Он смотрит на свое создание — и таинственное веяние встает в душе, как живой звук, когда коснешься мертвых струн. Но мало по малу форма заменяет содержание, символ похищает место в душе, принадлежащее тому, что он обозначает. Тогда являются иконы-идолы. Куску дерева, доске — поклоняются уже, как таковым и говорят: богоматерь Лоретская сильнее богоматери Парижской, или Оранская действует лучше Понетаевской. Но идолы могут быть не только из дерева и камня. Из знаний, добытых разумом, из откровений сердца, из глубоких движений души человек создает себе образ того, кто бесконечен и потому не может быть заключен в конечные формы. Создает этот образ и говорит: прими мой труд, как слабое отражение во мне твоего Духа, как вечернюю жертву, недостойную тебя, но лучше которой я не мог создать. Тогда это образ живой, символ, в котором трепещет живое веяние истины, пламенное стремление. Но вот по истечении некоторого времени люди забывают, что Бог Истиный выше всякого их понятия. Материя образа, его внешние признаки принимаются за сущность — и коснеющая, устаревшая церковь, состарившийся лишившийся вдохновения художник — говорит: это лучший из образов, не надо больше исканий. Это сам Бог,— пусть будет проклят, кто усумнится. Вот каким образом являются идолы духа, омертвелые формы, которые

человечество переросло и оставило назади. Наивное, темное чувство и подлое, хотя и умное лицемерие — курят перед ним свои фимиамы, не замечая, что истинный Дух веет далеко впереди, нередко именно там, где „безбожники“ умирают за стремление к истине, т. е. к лучшему образу божества...

Теперь такое именно время. Во всяком случае, прав Берне, когда говорит:

„Политические и религиозные тенденции нашего века всегда идут рядом и достигнуть цели они могут не иначе, как вместе, в одно и то-же время“ *.

Да, это правда, и теперь это чувствуется яснее, чем когда либо. Все великие социальные вопросы,— требующие решения — наш век решит тогда, когда познает лучшего более совершенного, более истинного Бога. (Но кажется только... нужно бы сказать: не „наш век“, а „наши века“)...

25 [августа]

Читаешь Берне и удивляешься, до какой степени точно повторяется история, до какой степени реакции в разных странах похожи одна на другую, какое родственное сходство соединяет их деятелей. Вот например, г. Мюнх, прежний либерал.

„Несколько лет назад нидерландский король сделал его профессором и либерализм его сразу упал на 15°, а с тех пор, как от короля виртембергского он получил звание тайного советника — г. Мюнх приблизился к точке замерзания... и каждый день старается доказать, в официальной газете, что правительство всегда право в отношении к народу и что очень похвально, когда крутые меры оно принимает не колеблясь и разом, для того, что бы народ мог быстро проглотить горькое лекарство, а благодеяния рассыпает только постепенно, чтобы подданные могли пить их медленно и от этого наслаждались, как можно дольше“.

* Данная выписка отмечена чертой на полях.

Вот „даровитый, но странный“ редактор, делающий в корреспонденциях своих сотрудников собственноручные благонамереные вставки, редактор, который „уже двадцать лет с безумным упорством отыскивает философский камень и старается устроить амальгамму из дипломатики и правды, чтобы посредством этой смеси устроить „золотую“ газету“.

Вот ночные обыски и аресты, которые Берне об'ясняет тем, что „франкфуртское правительство — антипод народа и потому, когда у этого последнего день, тогда у него ночь“.

Вот молодежь, которой „совсем нет,— не успеет она поступить в законодательный корпус, как уже отпускает себе брюшко“.

Вот „Бернская газета“— кладбище, на котором похоронено высокомерие пяти столетий и где, в современную нашу полночь все призраки старого хищнического дворянства бродят и воют так, что у слышащего волос подымается дыбом“.

Вот наконец, „патриот“. Менцель!.. „Все враги свободы говорят одним языком, потому что все они принадлежат к одному и тому-же народу,— своекорыстие, вот их отечество. Каждый раз, как они видят недостатки в стране с либеральным устройством, они приписывают их этому устройству. Каждый раз, как они замечают хорошие явления в государственном устройстве не либерального свойства, они утверждают, * что эти явления — последствия именно нелиберального устройнтва. Когда г. Менцель читает в путевых записках князя Пюклер-Мюскау, что часть французских провинций безжизнена, пуста, бедна,— он ликует и восклицает: видите, видите, друзья Франции? „Да что-же нам видеть? Мы дополним ваши мысли, г. Менцаль. Вы хотите сказать: это последствия представительного правления, суда присяжных, свободы печати, гласности, равенства; это всегда случается, когда государственных преступников судят не долеее шести месяцев, а не держат по целым годам в тюрьме, это всегда случается... enfin, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire...** Но, добрейшие г.г. Менцели,если-бы у французов

* В данном месте текст прерывается следующей выпиской, очерченной пером: „И благородный человек может быть рабом обстоятельств, но тот кто становится лакеем обстоятельств,— неблагородный человек“.

** Словом, это вина Руссо, это вина Вольтера.

не было свободы и суда присяжных, разве поля их были-бы лучше обработаны? Разве тюрьмы — оранжереи, в которых созревают все благор[одные] плоды? Разве цензура—вещество, унаваживающее землю?"... „По их словам, свобода должна делать людей ангелами, искоренять все пороки, все слабости, оплодотворять дурную почву, прояснять мрачное небо. Она должна прогонять град, наводнения, болезни, должна даже делать человека бессмертным! Просто жалко слушать,— заключает Берне, — что они говорят в своем отчаянии. И с такою жалкою сволочью приходится спорить!"

Это тот Менцель, который „получил пароль — каждого, кто не признает немецких правительств в высшей степени милыми, — об'являть евреем и он дошел так далеко в своем усердии, что совершил обрезание над всею „Молодою Германиею"... „и предал проклятию множество христианских душ".

О, сколько теперь у нас таких Менцелей и Раумеров!..

31 августа

„Живет христолюбец, век свой рабочих на пятаки, покупателей на рубли обсчитывает. Случится к казне под'ехать — и казну не помилует, с'умеет и с казны золотую щетинку сорвать. Плачутся на христолюбца обиженные, а ему и дела мало... Приблизится смертный час, толстосум сробеет, просит, молит наследников: „устройте душу мою грешную... не кипеть бы мне в смоле горючей, не мучиться-бы в жупеле огненном". И начнут поминать христолюбца наследники: сгромоздят колокольню в семь ярусов, выльют колокол в тысячу пудов, чтоб до третьего небеси слышно было, как тот колокол будет вызванивать из ада христолюбца-мошенника..... Сотни рублей платят наследники христолюбца голосистому протодиакону, чтоб такую вечную память с'орал он по тятеньке, от какой-бы и во-аде всем чертям стало тошнехонько. И вызвонят и выревут таким способом грешную душу из вечной муки"...

Кто это говорит таким образом? Эта блестящая и злая характеристика российского „благочестия" принадлежит перу П. И. Мельникова (см. „В лесах", т. I. Стр. 344) и была напечатана впервые на стр. „Русского Вестника".

И еще (это уже о благочестии раскольников):

„...спасают души от муки вечной икрой да балыками, жертвуя всем, что есть на потребу бездонного иноческого стомаха. Посылай

скитским отцам да матерям осетрину да севрюжину—несомненно получит тятенька во всех плутовствах милосердное прощение... Ел-бы жирней, да пил-бы пьяней иноческой чин,—спасение всякого мошенника несомненно".

„И блудник, и тать, и убийца наследят жизнь вечную, еретика-же самая кровь мученическая очистить не может. Нет ему части с верными, кое убо общение Христу с Велиаром"... Откуда-же,—спрашивает Мельников,—взялась такая жестокость, столь обычная между старообрядцами?.. Из чужих краев она принесена, чужими учителями на Русь навеяна. Бессердечные византийцы, суровые слагатели отшельнических уставов, дышущие злобою обличители еретичества давних лет мертвящими буквами своих писаний навеяли на нашу добрую страну тлетворный дух ненависти... (стр. 384).

...Известно, что во время винных откупов ни один раскольник (а между ними много богачей) не осквернил рук прибытком от народной порчи. Был один... но того старообрядцы почитали за прокаженного (т. I, стр. 385).

8 сентября

Давно уже мне хочется занести для памяти событие, взволновавшее наш город, разнесенное по всей России, Сибири, заграницу, не только газетами, но и устной молвой участников „всероссийского торжища". 21 августа, сын столоначальника полицейского управления, сам тоже писец полицейского уч., Владимиров совершил покушение на жизнь ген. Баранова*. Событие, совершенно неожиданное, как по мотивам, так и по обстановке. К сожалению, до сих

* Ген.-лейтенант Н. М. Баранов, нижегород. губернатор, игравший большую роль в жизни города. Служил ранее во флоте; во время русско-турецкой войны 1877 — 78 г.г. Б. командовал небольшим воен. пароходом „Веста". За ложное донесение об успехах „Весты" в бою с турецким броненосцем, Б. вынужден был, по постановлению военно-морского суда, оставить в 1879 г. морскую службу. В 1880 г. Б. был командирован за границу для организации надзора за русскими революционерами, а в 1881 г., после убийства Алекс. II-го, назначен петербургским градоначальником, но продержался в этой должности только один год. В Н.-Новгороде, где Б. состоял губернатором с 1883 по 1897 г.,

пор, кроме самого факта — покушения, неизвестно ничего достоверного. В первые минуты — никто не сомневался, что покушение имеет политический характер. Газеты (местные) совершенно точно излагали все факты события, в Нижегородской Почте нарисован план и полет пули. Теперь — более, чем сомнительно, был-ли даже произведен выстрел во время самого покушения. Говорят — когда уже борьба кончилась и Владимиров был в руках прибежавших на крики швейцара и чиновников — тогда сам генерал Баранов, взяв револьвер, выстрелил в пол, желая попробовать,— заряжен револьвер или нет. Говорят, пуля засела в паркете, в конце комнаты противуположном тому, где происходила борьба, говорят, она вошла туда почти вертикально. Если оба эти „говорят" верны,— тогда, не подлежит также сомнению, что Владимиров не стрелял. Но... но между тем все писали, говорили именно о „выстреле", сам генерал Баранов в своей речи тоже упоминает о „выстреле"... „В храме торговли, а следовательно мира и покоя, произнесены были слова: покушение, выстрел, убийца"... „Жалок удел не того,—говорил далее генерал Баранов в той-же речи (26 августа, на обычном обеде),—кто падает под ударом убийцы, а того, кто, не справясь с условиями жизни, под личиной той или другой звонкой идеи, берется за нож или пистолет"*.

он прославился весьма „решительными", но незакономерными действиями и двойственностью своего поведения в зависимости от либеральных и противоположных веяний.— В. Г. неоднократно упоминает о Б. в своих дневниках, письмах, а также в публицистич. работах: „В голодный год" и др. Эпизоду с покушением В. Г. посвятил специальную статью, напечатанную в 1908 г. в № 8 журнала „Минувшие Годы" под заглавием „Покушение на генерала Баранова в 1890 г."

* Нижегор. Биржев. Листок, 1890, № 203 от 27 авг. Речь приводилась в телегр. „Сев. Телегр. Аг.". (Примеч. автора).

Итак, здесь опять упоминание о пистолете и, кроме того, о звонкой идее, руководившей покушением. Значит, выстрел во 1-х,— политический выстрел — во-вторых.

Но вот уже 24 августа (№ 201) наш своеобразный „редактор" г. Жуков* пишет: „К сожалению, есть много малодушных людей, которые ищут в этом происшествии нечто подобное семидесятым годам", между тем, как „благоразумные люди, как в момент прискорбного случая, так и теперь остаются одного мнения,— что злодей Владимиров проделал свое преступление не более — как с целью покончить с собою каким-либо способом, не прибегая к самоубийству"...** Теперь отовсюду уже слышишь, что в покушении нет ничего политического... Но что-же есть?

Выходит 35 № „Губернских Ведомостей". Орган официальный,— обращаемся к нему в надежде найти хотя-бы точное изложение фактов. И что-же,— здесь изложение наиболее бессмысленное и наиболее противуречивое. Во всякой фразе бессмыслица, во всякой фразе туман и противуречие.

„21 августа Владимиров, пользуясь доступностию генерала, обратился к последнему с просьбой принять его... На другой день он был принят в кабинете, как обыкновенный посетитель (значит покушение произошло 22 августа?!). Долгое молчание преступника заставило генерала обратить на него внимание: Н. М. взглянул на него и увидя, что тот

* Жуков — нижегородский купец, редактор-издатель „Нижегородского Биржевого Листка".

** В одном из следующих №№ Жуков винит в этом преступлении... „образование". Даже „Нижегор. Почта"— восстает против этого об'яснения. Владимиров окончил уездное училище,— кажется образование небольшое. Интересно, что неграмотный „редактор", возводящий необразованность в принцип, беспрестанно внушающий читателям отвращение даже к простому „школьному" образованию, до сих пор пользуется монополией газетного дела в Нижнем... Впрочем, теперь эта монополия нарушена в пользу „Нижегородской Почты",— филиального отделения „Московского Листка"— уличной московск. газеты... (Примеч. автора).

в руках держит револьвер, направленный ему в голову,— схватил преступника за руку"...

Итак, генерал подымает голову и видит, что в нее направлено дуло револьвера. Мгновение,— выстрел и... смерть или промах. Неужели человек держащий дуло револьвера направленным в голову другого,— станет ждать, пока тот схватит его за руку? Что помешало Владимирову дернуть курок? А вот что. 26-тью строчками ниже читаем:

„Преступник говорил, что успеху его злодеяния помешал разорванный карман его шаровар, в котором находился револьвер, что и помешало ему совершить преступление"...

Что за странная связь (симпатическая что-ли?) между разорванным карманом шаровар и револьвером, который уже направлен генералу в голову... Но тут есть и еще странность. Генерал сидел за столом и писал, не подымая глаз. Мог-ли на это рассчитывать какой-бы то ни было преступник? А если-бы генерал, как это и бывает всегда, принял Владимирова стоя и прямо приступил к вопросам о деле, глядя на своего собеседника?... Ведь именно на это должен был рассчитывать Владимиров. Что-же, мог-ли он вытащить свой револьвер и выстрелить, будь у него карман даже и не разорван вовсе? Что это за дичь? Одно из двух — или Владимиров помешанный, совсем не расчитывающий своих поступков, или — он вовсе не хотел стрелять в генерала,— иначе он держал бы револьвер в рукаве, за пазухой, где угодно, только не в кармане. Или, наконец, он не просил-бы для своего выстрела аудиенции наедине, где все внимание генерала направлено на него одного...

Я уже не говорю здесь о дальнейших нелепостях офиц. отчета, в роде следующей: „злодей не выпускал из своих рук намеченной жертвы стараясь схватить ее"и т. д. Как-бы то ни было и офиц. отчет упоминает о выстреле во время борьбы, причем

„пуля пролетела на два пальца от груди Николая Михайловича и ударилась в паркетный пол.“

Подробности печального известия из Якутской области: * в квартире студ. Ноткина, убито 6 человек: Сергей Пик, Ноткин, Муханов, Шур, Подбельский и Софья Гуревич. Тяжело ранено 7 человек: Коган-Бернштейн, Минор, Гоц, М. Орлов, Фундаминский и Иосиф Есперович; избиты прикладами и легко раненыпулями 24: Михаил Есперович, Фридман, Анна Зароастрова, Роза Франк, Полина Перль, Вера Гассах, Наталья Шехтер, Наталья Коган-Бернштейн (Баранова), Берман, Александр Гуревич, Гейман, Ротик, Терешкович, Резник, Над... (?), Уфланд, Евгения Гуревич, Брамсон, г-жа Брамсон, Гаусман и г-жа Гаусман, Брагинский, Анисья Баскина (?), Сергей Капгер, Магат... (?). Казнены: Бернштейн, Зотов, Альберт Бергман; 14 — на вечную каторгу,5—на 15 л., 4 — на 10 л., два —на поселение в отд(аленные) места.

17 сентября

Был Дм. И. Григ.— помешанный совершенно особого, „современного“ рода. Пункт помешательства—гипноз и внушение. В другой раз я непременно вернусь к возможно систематическому изложению его удивительных теорий (не смотря на полное безумие — им присуща и система и логическая стройность),— теперь отмечу только одну деталь. Бедняга! Весь мир представляется ему в особенном свете. „Я не договариваю всего... Вызаметили это? Отчасти

* Запись эта сделана на свободном листке между страницами предшествующей записи, несколько иным почерком и очевидно ранее. На полях имеется пометка В. Г. „Март 1889 г.“ Речь идет об известной трагедии, имевшей место в Якутске 21 марта 1889 г.; партия ссыльных отказавшихся следовать в дальнейшую ссылку в самых ужасных, грозивших смертью условиях, подверглась обстрелу и избиениям с стороны солдат и полиции.

оттого, что вы недостаточно еще подготовлены... отчасти— щадя вас. Вы понимаете... Знать все это ведь тяжело, очень тяжело. Это может произвести... пертурбацию... Да вот, я вам скажу так... одну деталь, мелочь. Ехал я на пароходе. На верху один капитан всем распоряжается... четыре лоцмана ворочают колесо. Я спрашивал... очень тяжело. Ногами они выдолбили пол, как лошади... Затем во 2-м и 1 классе — несколько лакеев бегают, сломя голову,— прислуживая ничтожному меньшинству. А на палубе втретьем классе — целая масса, толпа людей... на лицах застывшее, мертвое, бессмысленное выражение... нет этого человеческого-то, осмысленного, высшего, того, чем характеризуется именно жизнь духа... Что-то отнято, сон какой-то, почти скотское существование.., Другие — раскинулись, спят. Это тоже не настоящий здоровый сон,—а кошмар и бред. Кругом—мертвый товар, кожи, как будто нарочно, чтобы показать, что и они так-же мертвы... Кто это сделал, кто довел их до такого состояния, кто их обезволил, кто отнял у них смысл и наложил это страдающее, тупое автоматическое выражение. Кто? Кто?"...

И он, понижая голос до шопота, наклоняется ко мне, впиваясь в меня своими мерцающими, черными глазами. Да,—тяжело з н а т ь то, что он знает, тяжело т а к смотреть на мир, и меня тронуло, что он щадит меня от своего знания... Кто-же довел его до этого, кто и что?— думалось мне...

23 сентября

Мне хочется отмечать порой характернейшие из Жуковских глупостей. Я давно думаю, что сей полуграмотный „редактор", пользовавшийся до настоящего времени„ монополией" нижегор. газетного дела, не простой дурак, мелющий всякий вздор, без системы и определенного

центра,— а некая бытовая фигура, типичный купеческий мыслитель, котрого „идеи", если это можно назвать идеями, с изрядным постоянством и некоторой стройностию вращаются вокруг своеобразных центров. Правда, главный из них несомненно — „кормимся помаленьку", и уже затем следуют другие, второстепенные центры: раболепство перед силой, ненависть к просвещению (возможен однако, у нас на Руси и т а к о й „орган просвещения") и самое темное ханжество. Что касается до „патриотизма"— то порой, право, можно подумать, что рукой Жукова водит какой-нибудь насмешник, желающий просто потешиться над „дорогим отечеством". Вот, например, превосходный образчик такого несознательного сарказма, в № 229 (23 сентября 1890 года), в передовице самого Жукова. Обозревая „политическую" неделю, (такие обозрения мы получаем каждое воскресение) — он отмечает: в Берлине — праздник социалистов по поводу отмены репрессивных законов: „теперь Германия владея довольно сильною партией социалистов, будет держать своих честолюбивых правителей в почтительном уважении к народному труду и правам человеческим, о которых временщики меньше всего думают".

Неожиданное рычание демагога! Дальше идет псевдопокушение на жизнь Александра Сербского,— виновата, конечно, Австрия,— далее „И т а л и я п р о д о л ж а е т д р е м а т ь п о д с л а д к и е р е ч и К р и с п и, в о с п р о и з в е д е н н о г о (sic) в п о с л е д н и х г а з е т н ы х и з в е с т и я х в с и н ь о р ы (?)" и грезит она о „всеобщем разоружении". Что-же,— неправдали сон довольно приятный.

Далее „Ф р а н ц и я п р о д о л ж а е т с в о е т р и у м ф а л ь н о е ш е с т в и е п о п у т и п р о г р е с с а н е у к л о н н о, у б е ж д а я и з о д н я в д е н ь б л а г о р о д н ы х ф р а н ц у з о в, ч т о т р е т ь я р е с п у б л и к а к р е п к а в с в о и х ж и з н е н н ы х у с т о я х, и в е к а в а н т ю р и с т о в к а н у л в Л е т у б е з в о з в р а т а". Даже в „коварной" Англии которую с особенным красноречием громит г. Жуков, даже и там „с а м о б л а г о р а з у м н о е

общество сознало, что служить лордам для потехи над рабами не современное дело благородных англичан" и это „дает ирландцам половину победы без пролития крови; остальное завершится на предстоящих выборах в парламент новых правителей". Итак — даже в Англии один из самых жгучих вопросов близится к решению без пролития крови. Это-ли не хорошо? А еще называется гнилой запад!

Теперь „наша русская Богохранимая неделя" (эти слова остаются стереотипом от воскресения к воскресению)...

Наша русская Богохранимая неделя прошла по старому в невозмутимом мире и спокойствии, каким позавидовало-бы любое из великих и малых конституционных государств в Европе. Преимущество русского народа пред обитателями всего мира — простота и невзыскательность на средства в обыденной жизни, прививаемые нам православною верою Христовою в утробе наших матерей и при рождении от колыбели до могилы. Кто из нас не видал беременных женщин, на крестьянских полях отбывающих сельские работы наравне с могучими мужчинами, по городам же торгующих на базарах и в лавках полураздетыми в трескучие морозы и к тому нередко принимающих побои от пьяных мужей, ограбляемых изо в день бессердечными кабатчиками; а такого населения в нашем Богохранимом отечестве, как известно, по меньшей мере всего восемь десятых наберется *.

Итак,— вот преимущества нашего Богохранимого отечества, вот что прививает „вера Христова в утробе матерей", вот чему должны завидовать конституционные народы гнилого запада. Вот уж истинно „не поздоровится дорогому отечеству от этаких похвал", и еще: заставь Жукова богу молиться...

Были попытки со стороны интеллигентных людей добиться разрешения издавать в Нижнем газету. Отказали. Опасно! Даже под охраной „нашей русской богохранимой цензуры"— могут возрасти вредные для отечества идеи. А это вот не опасно, а эти идеи дорогому отечеству на пользу...

* Курсив везде принадлежит В. Г.

24 сентября

Опять самородок и опять — неудачник! Господи, сколько этих бедных русских самородков и как они несчастны! Пока я читал его стихи, он страстным, каким-то жгучим взглядом впился в мое лицо. Мой отзыв оказался не особенно благоприятным. Несмотря на то, что он начал с заявления, что сам он считает свои стихи никуда негодными (все они так начинают),— он все-таки страстно опровергал все мои указания.

— А все-таки,— закончил он с горечью,— от кочегара до этого — дорожка дальняя... Пробейтесь-ка...

Да,— трагическая судьба! Чувствовать в себе такой запас сил, который других выносит далеко и высоко и знать, что всех его усилий хватило лишь затем, чтобы пробиться от кочегара — до плохого стихотворца. И лишь оттого, что обстоятельства сложились неблагоприятно. Сила таланта ушла на борьбу с безграмотностью, на то, что другим дается еще в детстве, без усилий, готовым.

— Все пишу больше на работе, в вагоне, на ходу поезда, при фонарике. Посадите меня сейчас за стол, скажите „пиши"! Ничего не напишу. А когда надо бежать к срочной работе, или в поезде — тут в голове машинка то и заиграет, и заиграет...

— Ну разумеется — пойдут неприятности. Вот и у Зевеке... * игнорировали меня, а за что — напрасно... Вот еще это прочитайте... Написано для частного случаю, но и вообще может иметь значение... Так, конечно, не стану хвалить, а что имеется тонкий юмо́р...

Стихотворение озаглавлено „Франт" и повествует, как у франта промокли „идеальные" сапоги. От этого „тонкого юмо́ру" право даже слеза просится на глаза. Бедные, бедные русские самородки...

* Зевеке, владелец нижегородского пароходства.

7 ноября

Самые современные и наиболее „смелые“ произведения можно теперь встретить только на страницах исторических журналов. Несколько лет назад печатались в „Русской Старине“ воспоминания о Закревском; * воспоминания эти развернули перед нами во всю ширь яркую картину административного „усмотрения“, характеризуя в тоже время и всю его „целесообразность“. Закревский в своих донесениях требовал разрешения принимать строгие меры относительно тех или других лиц, внесенных им в список „неблагонадежных“. Кого тут не было! Не говоря уже об Аксаковых, ** Самариных *** и др. славянофилах. Г.г. Катков **** и Погодин ***** характеризовались, как люди „опасные и на все готовые“. Еще немножко — и мы, быть может, навсегда лишились бы удовольствия читать впоследствии ультра-патриотические статьи последнего в „Москвитянине“, а г. Катков так и не развернулся-бы в „Московских Ведомостях“. Газеты смеялись над этим достопримечательным списком,— хватило духу. А в это время „характеристики“ Закревского уже стали общим правилом и в любом губернском городе меленький Закревский в голубом мундире изощряется в таких-же психологических отгадках. И сколько теперь оказывается людей „решительных и на все готовых“— об этом мы вероятно узнаем когда-нибудь опять-таки из „Русской Старины“.

* А. А. Закревский, московск. генер.-губернатор с 1848 по 1859 г.

** Аксаковы Конст. Серг. (1817—1860) и Ив. Серг. (1823—1886), вожди русского славянофильского движения.

*** Юр. Фед. Самарин (1819—1876), писатель, один из виднейших представителей славянофильства.

**** Мих. Никиф. Катков (1819—1887), издат. „Моск. Ведомостей“, известный публицист сперва умеренно-либерального, впоследствии крайнего консервативного направления.

***** Мих. Петров. Погодин (1800—1875), историк.

В „Русском Архиве“ напечатано неизданное стихотворение М. Ю. Лермонтова, следующего весьма современного содержания:

Прощай немытая Россия,
Страна рабов, страна господ!
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ!
Быть может, за стеной Кавказа
Я скроюсь от твоих пашей!
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Ярко и сильно. Лермонтов умел чувствовать, как свободный человек, умел и изображать эти чувства.

В наше время — это уже анахронизм, этого уже не бывает!.. Теперь уже и за стеной Кавказа от всевидящих глаз не скроешься!

8 ноября

„Ведь Крым отталкивает только тем, что нет людей“ — писал Гоголь О. А. Смирновой в 1850 г.

30 ноября

Отрывок из Теннисона: *

...„Я заглянул в будущее так далеко, как только мог видеть человеческий глаз, и я увидел призрак мира, со всеми, предстоящими в нем чудесами... кроткая земля будет мирно покоиться под сению мирового закона, ибо несомненно — через все века протекает одно разростающееся предначертание и человеческие задачи расширяются с течением времени“... (Из Беллами, в 2000 году).

Успенский о дороге:

...„Дорога, берущая проезжего человека под свою защиту, помещающая его между теми безобразиями, от которых бежит человек, и теми, к которым он стремится, властительно освобождает его душу от этих безобразий; обставляет его далекими полями, глубокими снегами, лесами и густит в сердце его все, что уцелело в нем своего, дорогого, все, что осталось в нем после расплаты с тем, отчего бежит он... („Остановка в дороге“. Т. III стр. 58).

*) Теннисон, знаменитый английский поэт (1809—1892).

1891 год.

5 марта *

Рассказ Сони:

Хочешь я тебе что-то расскажу?

Была зима... Си-ильная зима! Все детки дома сидели, а барыни ходили. Вот одна барыня пошла... пошла в лес и замерзла. Вот детки говорят: что наша мама как долго из лесу не идет? Пошли ее искать. Вот бежит волк. Что вам детки надо?— Мы маму свою ищем.— Подите со мной, я вас приведу. И повел их в лес за собой.

Задумывается и замечая, что дело плохо, вдруг по произволу меняет тон:

— Глядят детки, а там по лесу мама их бегает.

— Замерзшая то?

— Да ведь ее там в лесу вылечили, она и бегает...

17 июля

Несколько дней уже мы в дыму от лесных пожаров. В воздухе какая-то тяжелая духота и явственный запах гари. По вечерам начинает свежеть, собираются облака, но до сих пор у них не было еще силы, чтобы собраться с дождем и пролиться в эту духоту и дым. Наутро только роса слегка просачивалась на листы и травы, а к полудню солнце опять стоит на небе красное, странное. На него

* Запись эта сделана на листке отрывного календаря от 5 марта 1891 года и вклеена в конце тетради за 1887—1888 г.; на свободных страницах этой же тетради занесена и запись датированная 17 июля 1891 г.

можно глядеть простым глазом, а вчера Наташа (ей теперь третий год на исходе) говорила мне, проснувшись после обычного дневного сна:

— Папа, это месиць?

— Нет, деточка, солнце.

— Нет, месиць. Соньце язи такое бывает.

Наконец, сегодня решительно запахло дождем. Роса пала обильная, в роде маленького дождика. Утро, кругом заволокнутое дымом и туманом, стояло задумчивое, тихое. Поблекшая зелень ждала...

Часов в 10 с юго-запада тихо двинулось темное густое облако и Наташа, собравшаяся было в сад, вернулась в комнату. У нее странный причудливый характер. Всегда гуляя с няней или с кем-нибудь из нас, она иногда об'являет вдруг, что уйдет одна. „Ни буду п'якать". И тогда долго играет одна в саду, ходит по дорожкам или сидит в песке, не нуждаясь ни в чьем сообществе. Тоже бывает и относительно сна в середине дня. Если она скажет: не буду спать, — то уже ни за что не ляжет. Третьего дня она заснула на руках у матери, уже к вечеру, причем то и дело просыпалась, с видимым усилием, точно караульный, которого сон одолевает на часах.

— Не буду спать, спать не хо́чу,— произносит она и опять глаза смежаются и голова валится на руку к матери. Но как только я, со всевозможными предосторожностями положил ее к себе на кровать, она тотчас же проснулась и уже более не спала.

Теперь она возвращается с великим неудовольствием и об'являет, что идет дождь.

— Я не хо́чу, чтобы он шел,— говорит она капризно.

Мы выходим с Соней на террасу. Действительно упали уже первые капли, туча переползла уже над крышей и свесилась далеко вперед, над церквями, что стоят над

обрывом берега, над Волгой и заволжскими лугами. Поднялся ветер. В дымной и потемневшей атмосфере летят, крутясь, сорванные с деревьев листья, клочья бумаги, соломенки и пыль, клубясь и колыхаясь несется столбами извиваясь над крышами и верхушками деревьев. Вскоре и церкви и вся заволжская даль утопают в какой то пыльной, дымной и туманной завесе, которая волнуется и все несется вперед. А туча все ближе, и гром ворчит недалеко и глухо.

Наташа забыла свои капризы.

— Ка-кая пий (пыль) — говорит она задумчиво и удивленно.

Соня оживилась, ее возбуждают первые движения грозы.

— Ее прибьет дождем,— говорит она взбираясь на перила, чтобы посмотреть с высоты на движение пыли.

— Пыль всегда прибивает дождем, это ведь правда папа?

— Конечно правда.

— А потом она высохнет и опять будет пыль. Правда?

— И это правда. Ты у меня все знаешь.

— А дождь из облаков, а под землею тоже есть вода...

— Верно.

Она старше Наташи на год и 9 месяцев и, конечно, знает много больше. Она знает, что Женя умерла и находится где-то у Бога в саду. Прежде она очень часто, в особенности перед сном, собиралась туда же, к Жене, теперь это желание уже прошло, и она плачет, когда ей придет в голову, что мама или папа умрут.

— Что такое Бог? — спросила она однажды лежа в кроватке.

Наташа, вообще очень категоричная в своих сужденнях, отвечает тотчас же с другой кроватки, стоящей рядом:

— Бог дает нам хлебца и буёцик.

— Нет, не так,—снисходительно отвечает Соня, которая уже не может забыть, что хлеб покупается в лавке, а булки приносит ежедневно мальчишка из булочной...—Бог дает булочников, а булочники дают хлебец. Папа, что ты смеешься, ведь это правда...— говорит она обиженно, когда я засмеялся.

Я не возражаю и констатирую про себя, что Сонька отодвинула метафизическое начало на одну ступень дальше, чем Наташа. Та получает свои булки из непосредственно-метафизического источника; Соня нуждается уже в реальном посреднике.

Дождь льется разом, крупный и частый ливень, сопровождаемый изредка сухим треском или долгим ворчанием грома. Девочки забираются под стол, по которому стучат частые капли. Брызги стоят легкой пылью над террасой.

— Какой сийный дождь. А нас он не достанет?— спрашивает Наташа.

— Нет, деточка, видишь ветер их относит дальше.

— Отцего ветий?— спрашивает она.

— Ветер бывает от большущего дуба,—поясняет Соня, удивляя нас всех этим метеорологическим открытием.

— От какого дуба? Что ты?

Она высовывает голову из-под стола, потом вылезает сама и, разыскав глазами наибольшее из дальних деревьев на горизонте, окутанное густой пеленой ливня указывает на него.

— Вот от этого дуба. Или от другого еще дальше.

— Откуда ты это знаешь, кто тебе сказал?

— Да папка же! Я сама сказала...

К плеску дождя примешивается глухой шум с улицы. Это с поля, которое несколько выше, домчались уже на нашу улицу потоки, взрывающие мягкий грунт дороги. Вода бурлит и напирает, катится круглый камень, кусок кирпича, переворачивается неуклюже деревянный обрубок.

Дети летят к перилам и прижимаясь под навесом смотрят на бурный поток. Соня по обыкновению, порывисто сверкает глазами и в забывчивости высовывается на дождь. Наташа потянулась ко мне на руки, прижалась щекой к щеке и смотрит задумчиво.

— Вода тоже хорошая,—произносит она поучительно.— Стё ти дюмаись. Пьяво, она тозе хоесяя...

— Конечно.

— Какие в ней диёцьки подеяны.

Это крупные капли бороздят и пузырят быстро бегущий грязный и мутный поток.

Дождь прошел. Воздух, по крайней мере вверху, прояснился от дыма и посвежел. Зелень стала ярче и глубже и на бледном личике Наташи проступает что-то, в роде намека на румянец.

Ливень продолжался более получасу и может быть он уменьшит лесные пожары.

1893 год *

28 февраля 1893

В последней статье своих „Оторванных Листов“ („Испытание философской совести“) Ренан** говорит: „Из громадных колебаний добра и зла получается прибыль, благоприятный остаток. Этот избыток добра и есть смысл вселенной, причина ее прочности... А будущее без сомнения даст еще лучшие результаты“.

Он же говорит в предисловии (благодаря Отца Небесного за свою жизнь): „я всегда жаждал твоего дня“.

Теперь получено известие о смерти Тэна и в некрологе говорится:

„Все близко знавшие Тэна удостоверяют мягкость души его и чрезвычайную сердечность и нежность чувств, которые он питал ко всему окружающему его, несмотря на суровость критики и беспощадное осуждение, которые ход мировых событий внушал ему, как ученому исследователю. Он глубоко верил в торжество добра и не раз говаривал своим ученикам:

„Я серьезно убежден в грядущем улучшении мира, в котором осуществится торжество добра, и это побуждает меня со всею искренностию души присоединиться к молитве верующих:

„Да приидет Царствие Твое“.

А между тем, Тэн был „неверующий“. Интересно, что он глубоко чувствовал невозможность оторвать детей от всякой веры. Тьмы тем людских поколений жили

* Дневник 1893 года начат в тетради, где В. Г. вел записи и в предшествующие годы; на тетради рукою автора написано: „Заметки. Год 1888, 1889, 1890 и 1893“.

** Эрнест Ренан (1823—1892) — франц. писатель, филолог, мыслитель и историк.

религиозным чувством, вырабатывая одни за другими религиозные образы, в которых олицетворяли эти свои стремления, эту свою живую связь с тайною безконечного мира, с бесконечною связью жизни, с бесконечным мировым сознанием. Форма разбита, образ исчез, но ум глубокий и сильный все таки чувствует, что нельзя оставить в детской душе эту пустоту: образ ложен, но чувство истинно и если заглушить это чувство, дать ему атрофироваться, — то ложь будет больше. Итак, пусть лучше в соответственном месте в душе станет пока любой образ. Придет время, — и отрок, юноша или зрелый человек переболит этой болью, разобьет кумира, но он знал это великое чувство и может быть пристроит его лучше... И может быть придет день, когда новый пламень новой веры, примиряющий все противоречия, выдвинутые исследующим умом — охватит счастливое поколение... Так пусть же сменяются образы, но пусть сохраняется религиозное чувство.— Интересно, как он вышел из этой дилеммы:

„Всех изумил,— пишут теперь в газетах,— религиозный и именно протестантский характер похорон Тэна. Дело вот в чем: когда дети подросли, Тен задумался о вопросе, которого не предвидела его философия: как их воспитывать. Сам он не колебался в своих убеждениях: толки об его „обращении"— сказка. Но он разсудил, что оставить детей без религиозного обучения значит как бы выбросить их из современного общества. Посоветовавшись с женой, он решил воспитывать детей католиками. Но вот слова самого Тэна одному другу: „Я во всем серьезный человек. Прежде чем доверить моих детей священнику, я захотел узнать, чему он будет их учить. Мне сказали, что самый распространенный катехизис в парижской епархии — катехизис аббата Гома (Gaume). Я тотчас купил его и прочел его вместе с женой, от доски до доски. Но там оказались положения столь противные духу и самым основам современной культуры, что мы нашли невозможным подвергнуть ум наших детей такому учению. Мы решились поручить их протестантскому пастору. Он давно уже читал в семье „Библию" Рейса, и это чтение внушило мне уважение к протестантизму". Тэн явился к пастору Голлару и спросил его об его религиозном преподавании.

Пастор дал ему прочесть катехизис нимского пастора Бабю.— Тэн возвратился через неделю и сказал: „Это, конечно, не моя религия, но это — завещенная преданием форма религии, которую я желаю передать своим детям". Тэн каждую неделю водил свою дочь, а потом и сына, к пастору и читал их записки. Впоследствии Тэн не раз говорил, что его должны похоронить как протестанта. Ни каких споров не могло быть, по его смерти, в этом отношении".

Интересно еще то настроение ума и чувства, которое ясно проглядывает в душевном складе Тэна, как человека-философа. Недавно еще торжествующий материализм считал свою истину за великое благо, которое нес миру. В этом было молодое увлечение и своего рода вера, изменившая форму. Это было обоготворение разума,— значит все же „обоготворение",а значит также: преклонение перед той частию божества, которая называется истиной и которая нам доступна в форме стремления к истине. За это можно умереть мученической смертию, как и за любую веру. У Тэна настроение другое: он — скептик, переставший уже верить в божественную силу истины, его настроение — сумерки, грустные и задумчивые сумерки материализма. Крупный ум,— он продолжает свой беспощадный анализ почти стихийно, но он не верит, чтобы от этого кому нибудь стало лучше. Вот интересный портрет Тэна, набросанный повидимому любящей и искренней рукой его почитателя Е.-М. де-Вогюэ *.

„Моя жизненная карьера,— пишет он,— ставила меня не раз лицом к лицу с титулованными особами, перед которыми я склонялся согласно требованиям этикета, не увлекаемый, однако, к тому всегда силой моей независимой воли. Перед этим скромным профессором и его исхудалою фигурой я в первый раз почувствовал мощную силу уважения, заставляющую преклонить перед ними голову ниже, чем он того желает; пред ним я ощутил в первый раз неиз'яснимый и сладкий трепет пред человеком, который возвышает своего собеседника уже тем одним фактом, что он с ним разговаривает... Как ни высоки были умственные заслуги покойного, истинное величие могло быть измерено

* Мельхиор де Вогюэ, известный французский критик (1848—1910).

только после знакомства с его душой ребенка, милого, наивного и сердечного. В глазах этого старца, который так много знал и много изучал, вас поражал иной раз божественный взгляд дитяти, то невероятное удивление, которое отражается у ребенка часто при виде реальных фактов, при виде зла, иронии. Я не знал ни одного человека, в высоком положении достигнутом Тэном, который отличался бы подобным ему благородством чувств, нежным сочувствием ко всем человеческим созданиям, который бы так опасался огорчить ближнего, оскорбить присущие ему честные верования. Он не раз высказывал, что ему собственно следовало бы писать свои философские сочинения по латыни, только для посвященных; иначе рискует — де причинить много зла другим людям".*

Мне в подчеркнутых строках чудится необычайно грустное настроение, не совсем ладящее с оптимистическим настроением последних минут по некрологу. Так и кажется, что человек, так говоривший, пришел к горькому убеждению, что в природе существует коренной и смертельный недуг. Исследование приводит его к этому безотрадному и бесповоротному заключению. А бедные дети—люди, миллионы людей, которых он жалеет,— беспечно играют на солнце, не зная, страшной истины. Зачем огорчать их? Пусть соберутся посвященные и пусть тихо, между собой, по латыни ставят свой диагноз, чтобы не услышали дети. Будет еще время,— узнают!

В первый раз, прочитав „Парижскую Жизнь", мало известное у нас сочинение Тэна, где он, как бы шутя и надосуге, от третьего лица, высказывает свои порой самые интимные мысли, не придавая им особенного значения,— я полюбил бедного великого философа за эту грусть, отложившуюся в глубоко-человечной душе. Да, это не Золя, с его самодовольным натурализмом, в философском отношении плоским и мелким, как тарелка. Это — целое море безотрадных мыслей и глубокой скорби от них.

* Курсив В. Г.

* *
*

В № „Московских Ведомостей“ от 8 марта приводятся (в отчете о заседании О-ва Любителей художеств (6 марта), посвященном памяти Микель-Анджело) следующие два стихотворения:

ЭПИГРАММА СТРОЦЦИ НА СТАТУЮ „НОЧЬ“ МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО

Из камня изваял нам Ангел образ Ночи;
Усталая, склонясь, она глубоко спит,
Но не мертва она, лишь сон смежил ей очи,
А разбуди ее — она заговорит.

ОТВЕТ МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО ОТ ЛИЦА ЕГО „НОЧИ“

Приятен мне мой сон, и жизни мне не надо,
Пока позор и зло царят в стране родной, *
Не видеть, не слыхать — в том вся моя отрада:
Так не буди-ж меня,— замолкни предо мной.

Вот как умели мыслить и чувствовать эти великие художники. А нам говорят, что художник, уже потому, что он художник, должен быть нейтральным и что его не должны трогать позор и зло, которые продолжают царить в родной стране. Являются органы, которые своим девизом ставят „нейтральность“, нечто в роде „Отдыха друзей“ или даже „Приюта незнакомцев“, где должны мирно сходиться и тот, кто составляет истинные позор и зло родной литературы и те, на кого эти господа пишут печатные доносы... Сходиться и мирно беседовать об отвлеченных вопросах искусства... И конечно такие органы якобы нейтральные—быстро окрашиваются нетерпимостью, обскурантизмом и юдофобством. А у великого Буонаротти даже мертвый мрамор, каждая складка скорбной фигуры отмечена общим тоном скорби о позоре родной страны **.

* Курсив В. Г.

** Далее под датой 10 марта на трех страницах дневника наклеена обширная вырезка из газ. „Волгарь“, излагающая статью секретаря русск. миссии в Вашингтоне Боткина, напечатанную в журнале „The Century“

11 марта

Прочел статью Мережковского * о Монтане **. Мережковский интересует меня, как искренний человек, в душе которого проснулась потребность в широких формулах мировой жизни, стремление к тому, что называют верой. На-днях я купил его книжку о причинах упадка нашей литературы. Много красивых фраз, порой красивых мыслей, полет и поэтическое парение, но мало стройности, ясности и тьма противуречий. Признаки символизма и отражение старого спора „ума и чувства"! Как истый символист, Мережковский ищет правды в эмоции, в том лирическом порыве, который кидается в голову, туманит мысль, застилает ее волшебною дымкой. Он жалуется на сухую логичность нашей критики, ему нужна критика с лиризмом, с образами, с художественностию, но он забывает, что все это хорошо при строгой логической системе, а не без нее, и что чем более склонен критик к лиризму и парению (это возможно и бывает), тем в большей степени ему должны быть присущи и „ума холодные наблюдения", иначе гармония потеряется и выйдет не критика, а чорт знает что.

Такое чорт знает что выходит у Волынского ***, стремящегося во что бы то ни стало, к „колоратурному стилю". Немножко чорт знает что — и у самого Мережковского. Мечется и парит за идеалами выше облака ходячего, а находит идеализм — вмистицизме, низменном и жалком. Однако, несомненно искренняя натура — он конечно на этомне остановится. В его исканиях кажется есть все-такичто-то живое,

* Дмитр. Серг. Мережковский (род. 1866), писатель, поэт, беллетрист и критик.

** Монтэнь (Montaigne), знаменитый франц. мыслитель XVI века.

*** Аким Львов. Волынский (Флексер,) писатель по вопросам философии, искусства, критики (род. в 1863 г).

есть чутье правды, которое заставляет его, например, признавать элементы высшей правды и в скептицизме Монтаня.

„У этого скептицизма,— пишет он,— была другая сторона — терпимость. В этом одна из существенных бессмертных заслуг гениального философа. Конечно, в разгар фанатической вражды никакая законченная система и доктрина не могла быть так полезна и благодетельна, как проповедь терпимости и скептическое отрицание всякой односторонней, узкой системы и доктрины. Способность не верить в этот век грубого фанатизма была также дорога и благотворна, как способность верить в наше скептическое время... Подвиг Монтаня заключался именно в том, что он остался в стороне от кровавой, фанатической резни, остался индифферентным и холодным к теологическим спорам и препирательствам, к узкой политической ненависти и ожесточенной партийной борьбе, сохранил полную независимость ума, показал своею жизнию образец благородства и справедливости без религиозных увлечений, провозгласил, на сколько это было возможно в то время,— принцип терпимости и разумной критики...“

Способность не верить может быть, по Мережковскому, так-же плодотворна, как и способность верить. Это верно, потому что это две стороны одного и того-же искания истины. Но чему-же верить? Неужели опять тому, чему противуполагался здоровый, честный скептицизм Монтаней и что этим скептицизмом убито? Если свести эти две стороны одного и того-же процесса, часто разделяемые историей, но в сущности мыслимые вместе,— к одному гармоническому целому, то выйдет: ищи высшую правду всем сердцем, всеми силами души, всею силою своего воображения, но вместе — очищай каждое находимое зернушко всею силой ума, всем огнем критики и сомнения, всеми приемами научного анализа и строгой мысли... И тогда не рискуешь впасть в такое чудовищное смешение искомого идеала — с мистической верой в „собачье“ предвидение будущего, как это случилось с Мережковским*, или даже — удовольствоваться

* Намек на отзыв Мережковского о рассказе Тургенева „Собака“.

первой лучшей системкой яко-бы веры, в роде Толстовской, увлекавшей многих еще недавно кажущимся сходством с новой верой.

Монтань, действительно, настоящий типический скептик, и много говорит в пользу Мережковского,— что он с'умел это так хорошо почувствовать. „Мне,— пишет Монтань,— внушают ненависть к вещам вероятным, когда их выдают за несомненные. Я люблю эти слова, которые смягчают резкость наших суждений: „быть может", „пожалуй", „некоторый", „говорят", „я полагаю". Философия начинается с удивления, развивается через исследование и приходит к незнанию".

Мережковский истолковывает последнюю формулу в сократовском смысле: „Философия начинается с удивления, следовательно, рабства мысли, переходит к исследованию, т. е. к отрицанию и скептицизму, достигает признания собственного невежества (т. е. терпимости и значит свободы мысли).

„У великого скептика хватило мужества сказать в глаза своему жестокому веку: „надо слишком высоко ставить свои предположения, чтобы из-за них живых людей предавать сожжению (IV стр. 196)". Да, скажу я от себя: здесь один из тысячи примеров, когда один из элементов положительного божества — любовь, оставив лагерь якобы верующих — переходит, вместе с стремлением к истине — в лагерь якобы „богоотступников"... „Верующие"— жгут живых людей, неверующий — их защищает!

Еще прелестная характеристика: „Упорство и страстность мнений,— говорит Монтань с горечью,— есть вернейший признак глупости: что может быть более уверенно, убежденно, презрительно, задумчиво, важно, серьезно,— чем осел?" (IV стр. 39)... (Русская Мысль. Февр. 1893).

Не подлежит обобщению,— но характерно.

[11 марта]

В полученных сегодня (11 марта) Московских газетах — пришло известие о покушении на московского городского голову Ник. Александр. Алексеева (9 марта, в 11 час. 15 мин. утра). *

Способ покушения — обычный: пришел в приемную, будто-бы с бумагой — и на вопрос, „что угодно“,— ответил „а вот что“. Последовал выстрел.

Странны эти учащающиеся в Европе, а не у нас только, случаи покушений. Террор популяризованный выходит на улицу, разменивается на мелочи. В последнее время им овладели явные психопаты. Маленький чиновник в Астрахани стреляет в негодяя и вора Цеймерна — и вор становится героем, и Пятов, предводитель дворянства, недавно уличавший его с несомненными уликами в воровстве,— вынужден подписывать адрес о „высокополезном и самоотверженном служении“ вора. Споспешник и укрыватель андреевских мошенничеств **, бухгалтер . . . . *** стреляет в олицетворенное ничтожество Полторацкого, и последний,— накануне своего смещения, — опять вознесен на пьедестал и, конечно, выстрел лишь укрепил его на месте. Загадочная и нераз'ясненная история, с Владимировым тоже, конечно, только возвысила Баранова, хотя... меньше повидимому, чем других. Какая-то явная недоговоренность во всей этой истории чувствуется слишком резко... ****

* В дневнике эпизод с убийством Н. А. Алексеева занимает много места; на страницах дневника В. Г. сохранил большое количество вырезок из „Нов. Врем.“, „Моск. Ведомостей“ и других газет, касающихся описания и освещения этого события. Здесь этот материал дается лишь в извлечениях.

** Андреев, бывш. председатель нижегород. уезд. земской управы, хищения которого покрывались заправилами нижегород. Александровского дворянского банка.

*** Пропуск у автора.

**** Об этом эпизоде см. выше — запись от 8 сент. 1890 г.

Теперь Алексеев... Раскрывая № „Московских Ведомостей“ я так и ждал подлых намеков и кивков — в „либеральную оппозицию“. Алексеев—представитель водворяющегося все более и более в русской жизни „патриархального начала“, т. е. произвола. Умение расшаркаться кверху и прицыкнуть книзу, — такова главная черта его „системы“. Понятно, что „либералы“ вели оппозицию. И вот,—теперь выстрел. Разумеется, как-же отказаться от такого счастливого случая.

Пока еще — нет!

„Вместе с тем, последние сведения о преступнике дают некоторое основание предполагать, что в этом деле не было злодейского умысла, что виновник преступного покушения просто психически больной, наравне с бессмысленными тварями не отвечающий за то, что творила его рука.*

Ну, это может быть только пока. К тому-же — „лишь некоторое основание предполагать, что не было злодейского умысла“. Газета видимо с трудом расстается с таким благодарным аргументом.

Все до сих пор известные данные говорят о том, что Андрианов ** — сумасшедший. Казалось-бы,— прямой такт требует — успокоить взволнованную Москву, по крайней мере пока не выяснится ошибка первоначальных предположений. Но консервативные газеты предпочитают от брошенных вскользь предположений об истинной причине несчастия,— тотчас же опять и опять кидаться к яростным призывам „разыскивать корни и нити“... Посмотрим, что будет далее.

16 марта

Суворин *** об убийстве Алексеева:

Умирать, конечно, когда нибудь надо, но тяжко думать, что жизнь выдающихся наших людей зависит от таких маньяков, не стоющих и Божьего солнца, которым пользуются все твари земные!...

* Газетная вырезка, повидимому из „Москов. Ведомостей“.

** Андрианов, убийца Алексеева.

*** Алекс. Серг. Суворин (1834—1912), публицист, ред.-издатель „Нов. Времени“.

Но он жалкий сумасшедший, скажут мне. Однако, он не бросился с выстрелом на такое же ничтожное бревно, как он сам. Он выбирал, подготовлялся к своему преступлению, он метил на лицо выдающееся, популярное, он нагло бравирует своим убийством. Этой вменяемости довольно. Но его еще будут испытывать, производить два следствия, адвокаты защищать, прокуроры обвинять, интеллигенция научная, судебная, административная займутся этой презренной особой, этой поврежденной или мелкой душонкой, стоящей ниже в порядке Божьего создания того муравья, которого вы давите без сожаления ногой.

Как подумаешь, удивительно создал сам себя человек! Ведь еслиб оценить все горе, которое принес этот новохоперский мещанин, еслиб оценить усилия ума, знания, какие ему будут посвящены, еслиб оценить все то время, которое возьмет он у суда, у следователей, у присяжных, у врачей и проч., еслиб оценить все это, то получилась бы такая сумма, которая спасла бы от нищеты целую сотню полезных и хороших людей... *

Ничего возмутительнее этой якобы патетической дребедени я, признаюсь, давно уже не читал. И это — руководители общественного мнения! Когда же наше общество поймет, что гарантируя преступнику суд и разбирательство,— оно гарантирует себя от произвола и насилия. Итак — Андрианова надо было тотчас же схватить и убить на месте без суда и следствия! Это — разумно и по-христиански! И после этого я — проворовавшийся городской голова (допустим) хватаю с глазу на глаз своего противника, убиваю на месте и провозглашаю, что это было бревно, которое покушалось на мою жизнь. У нас и без того — слишком часто остаются без расследования подобные случаи. Самое покушение сомнительно и странно. А тут редактор-Суворин возмущается, что несчастный в сущности маниак, виновный лишь в том, что его напрасно выпустили из сумасшедшего дома,— еще дышет воздухом (!), что его еще будут исследовать,

* Курсив всюду В. Г.

что около него хлопочут доктора! Как будто это нужно для него, а не для самого общества!

Нов. Время восхищается широкой натурой Алексева. Эта широкая натура побуждала его пренебрегать законными правами думы. „Новое Время“ цитирует из „Пет. Газ.“:

„Действительно, этот незаурядный, истинно-русский человек, с кипучею энергиею, поразительною смелостью, — даже во врагах своих возбуждал уважение. Враг всякой формальности, не останавливающийся ни перед какими препятствиями, он прямо шел к цели.

„Поэтому, вероятно, самыми нетерпимыми врагами его считались люди теории, — те, что подводят жизнь под те или другие рамки, под указку вычитанной в книжке мысли. Отсюда их борьба с живой деятельностью Н. А. Алексеева, — борьба не всегда победоносная, но доставлявшая не мало неприятных минут московскому городскому голове“.

Теория и вычитанные в книжке мысли, — это статьи закона, определяющие права городского головы и думы! Эти господа хотели-бы, чтобы перед широкой натурой тотчас-же, как она будет признана таковой (кем это?), немедленно смолкал всякий протест, всякие ссылки на городовое положение и на права самоуправления!... *

18 марта **

Довольно основательно повздорил с „Русской Мыслью“ несколько дней назад из-за статьи „Текущая жизнь“ для

* На этом записи в тетради заканчиваются. На обеих сторонах последнего листка наклеены две газетные вырезки, не снабженные никакими комментариями В. Г. Первая вырезка заключает цитату, озаглавленную: „Афоризмы Тэна“; вторая — старое правительственное распоражеиие (от 2 июля 1888 г.) „о продлении в некоторых местностях империи срока действия положения об усиленной охране“.

** С 18-го марта до конца 1893 г. записи ведутся в другой тетради, на которой имеется надпись: „Заметки. Год 1893 (продолж.) Влад. Короленко“. Описание рукописи см. в ст. от Ред. Ком. (7).

мартовской книжки. * Сегодня, по моему требованию, рукопись прислана обратно (сущность спора видна из письма, копию с которого я оставил себе). **

Газеты продолжают толковать об Алексееве.

К вчерашнему (73) № „Московских Ведомостей“ редакция прибавляет ко всему предыдущему еще следующее:

„Для русского общественного управления Н. А. Алексеев сделал нечто, похожее на то, что совершил М. Н. Катков для политической печати. М. Н. Катков явился в публицистике первым р у с с к и м, великим слугой своего Государя,— он мог сказать, что, никогда не переставая быть свободным и независимым, верой и правдой служил Государю. Таким же „государственным“ человеком, слугой Царя, явился Н. А. Алексеев в деле общественного управления. У него не было никакой „партии“, он никому и ничему не подслуживался, он делал „дело Государево“ в роли городского головы. В учреждениях, пересаженных на русскую почву, как печать, как общественное управление, нужно особенно тонкое национальное чутье для выработки типа р у с с к о г о деятеля. Но этот тип чувствуется, как только является, он не умирает, вызывает хотя бы слабое подражание. Такие люди с о з д а ю т дело. Русская политическая печать до Каткова и после Каткова — как бы два разные мира. Этот-то р у с с к и й тип слуги „Государева дела“ в общественном управлении создал и покойный Н. А. Алексеев. В этом таится его громадное влияние на все р у с с к о е в городах, в этом тайна сознательной и бессознательной ненависти к нему всех е в р о п е й с т в у ю щ и х д о к т р и н е р о в. Но пример Н. А. Алексеева уже д а н и уже не может умереть в России. Можно безошибочно предсказать, что н а и б о л е е т а л а н т л и в ы е с и л ы н а ш и х г о р о д о в и з е м с т в н е у л о в и м о и н е в о л ь н о станут в ы х о д и т ь на п у т ь, п р о т о р е н н ы й Н. А. А л е к с е е в ы м“.

* С декабря 1892 г. В. Г. вел в „Рус. Мысли“ отдел „Текущая жизнь“, подписывая свои статьи псевдонимом „Провинциальный наблюдатель“. Упоминаемая статья на тему о „русской панаме“ (т. е. о взятке, полученной одной „патриотическсй“ русской газетой из „панамских фондов“ за пропаганду франко-русского союза) не была пропущена редакцией журнала. Рукопись хранится в архиве писателя.

** Письмо к В. А. Гольцеву от 16 марта („Письма“ кн. III. См. там-же письмо к нему от 8 апр. того-же года. В. Г, изложил в нем все причины своего недовольства редакцией „Рус. Мысли“).

Это очень вероятно. Пример заразителен, и выходит как будто патриотично и консервативно, и торжествующая печать поощряет. Однако интересна эта программа взаимных отношений, начертываемая на будущее время для русских государей и для государевых слуг. Первые будут всемилостивейше писать законы и городовые положения, а вторые, „истино русские люди и верные слуги царевы"— будут их нарушать, увлекаясь своей собственной „талантливостию" и широкой натурой. И только одни злокозненные „европействующие доктринеры" будут крамольно ссылаться на те или другие пункты всемилостивейше опубликованной верховной воли, за что и будут терпеть заслуженное гонение... Вот оно — внутреннее противоречие и самоотрицание яко-бы охраняемого порядка!

Эта мысль,— о внутреннем самоотрицании, которое на всяком шагу подтачивает и логически и стихийно наш якобы консервативный порядок,— часто приходит мне на ум по поводу тысячи жизненных фактов. Закон — есть несомненное проявление верховной воли и вот все консервативные элементы призываются на борьбу с этой верховной волей, а „законный порядок" становится лозунгом „европействующего либерализма". Проявить энергию для администратора — значит как можно смелее и решительнее наступить на тот или другой закон, на то или другое „положение", высочайше изданное и об'явленное верноподданным „по указу Его Величества" и за подписанием „быть по сему"...

И эти господа полагают, что именно этим они поддерживают „Государеву власть", которая обращается в фикцию, разменивается на тысячи, на миллионы мелких произволов, по большей части противуречивых и сталкивающихся взаимно. „Самодержавный образ правления,—

в шутку писал Щедрин,— это, когда страна управляется столоначальниками"... А теперь эта шутка возводится в систему и столоначальники приглашаются „решительнее" попирать верховную волю.

А вместе с тем, послушать только как достается этой-же „бюрократии". Нет таких слов, которыми-бы не заклеймил „Гражданин" наши „канцелярии". Положим, „Гражданин" — орган вполне невменяемый, но теперь трудно даже отыскать вполне вменяемый консервативный орган. Вот что пишет в № 74 нарочитый консерватор Иловайский.*

„Наша северная столица, очутившаяся географически между двумя сепаратизмами, Балтийским и Финляндским, подпала ощутительному их влиянию, и это обстоятельство заметно отразилось на ходе нашей внешней и внутренней политики. Везде во всех государствах мира столица служит обыкновенно центром национального или патриотического направления, фокусом народных и государственных интересов, моральных и материальных. А наша столичная интеллигенция и чиновничество, из своего прорубленного в Европу окна, равнодушным оком взирают на судьбы отечества и на взаимные отношения частей государства, нередко оказывая явное предпочтение инородческим окраинам и ставя их в привелигированное положение сравнительно с коренными русскими областями. Россия для инородцев и иноземцев! — вот их лозунг."

И далее:

„Эти господа способны только раз'езжать на русские деньги по всемирным выставкам и сочинять панегирки тем чудесам промышлености, которые производят культурные страны. А дома у себя они являются первыми тормазами тому, чтобы даровитый Русский народ мог правильно развиваться и выступить достойным участником в мировой культурной конкуренции".

* Дмитр. Ив. Иловайский (род. в 1832 г.), историк и публицист, автор известных официальных учебников русской и всеобщей истории.

Итак—„интеллигенция“ и „чиновничество“ оказались в одной куче и оба виновны ни много ни мало, как в измене отечеству. Тот же самобытный филозоф говорил ранее (М.В. № 71).

„По адресу Москвы обыкновенно высказываются упреки в косности, отсталости, неумении самой защитить себя от наплыва Евреев или Немцев и т. п. Но забывается главное: Москва не есть какая-либо самостоятельная, независимая сила; как и всякий другой город, она вполне находится во власти Петербурга, а потому и за всякое крупное явление, совершающееся в России, ответствен пред историей, в том или другом смысле, прежде всего Петербург. И в сфере культурной или образовательной Москва состоит под непосредственным влиянием северной столицы и во многом идет по ее стопам“.

Тут уж прямо виновен Петербург. Что же однако это за „Петербург“, который даже Москве препятствует развернуть ее силы — своим всемертвящим и всеиссушающим влиянием? Адмиралтейский шпиц или думская каланча? Очевидно—сей консерватор (подозревая это или не подозревая) — громит петербургское „правительство“. Теперь однако, спросите его,—кем-же он рекомендовал бы заменить это правительство и кому — править Россией. Те времена, когда государь, как некий патриарх, мог выйти на площадь, сесть под древо и лично „судить людям“—сохранились разве еще в Черногории. Итак, нужны, неизбежны „посредники“. Кто же это будет? Выборные людишки! Но ведь это пахнет конституцией. А чиновники — все заподозрены. Итак — остаются массы с одной стороны, государь, как единица, с другой. Все посредствующие звенья,—правда и без того плохие—усердно подрубаются демагогами из консерваторов, но не затем чтобы заменить их другими... „Покаяться всенародно петербургскому чиновничеству и переехать в Москву“— это не программа... Программы нет и если в России не найдется живых элементов, чтобы стряхнуть этот безобразный кошмар беспредметной демагогии, то она сделает свое дело:

в России останется масса, теряющая терпение, но неосмысленная политически и страшная, с одной стороны, и призрак, фикция, тряпка, болтающаяся по воле ветра — с другой.*

5 апреля

В марте—переворот в Сербии.** Наша „патриотическая" и наивно-либеральная пресса приветствуют переворот, как восстановление „законности в стране"... „Московские Ведомости" в восторге:

„Живио! Александр I, король Сербский!" Этот возглас невольно вырывается при чтении последних телеграмм из Белграда, и этим же возгласом все слои населения сербской столицы приветствовали юного короля, когда он, утром 2 апреля, отправился из дворца в собор, чтобы испросить благословение Божие на совершенный им подвиг и на предстоящие ему труды для утверждения мирного и законного порядка во вверенном ему Провидением государстве, в котором он ныне является единственным представителем верховной власти. (М. В. 4 апр. № 90).

Единственный представитель верховной власти! Далее газета говорит о „растлении нравов, вносимом в быт славянских православных народов шаблонным парламентаризмом"... Ну, а радикальное министерство — разве уже не парламентаризм? Вообще,— странно и пока трудно сказать, что это значит. И не прийдется ли скоро опять ударить отбой, как ударили те-же газеты после переворота болгарского... Короля Александра превозносят, как героя и спасителя отечества. Три года назад я был в Крыму. В Херсонесе, в монастыре нам показали книгу посетителей и монах при этом многозначительно ткнул пальцем в две

* После этой записи — два листка в тетради вырезаны, и последняя фраза дописана карандашем.

** Переворот, произведенный 17-летним королем Александром, арестовавшим регентов и министров и провозгласившим себя совершеннолетним.

подписи. Крупными буквами, женским почерком было написано: Наталіа, а ниже тоже крупно и неуверенно Александар...

— „Грамоте-то... не особенно"...— с почтительной иронией заметил монах. Это было 3—4 года назад,— а с тех пор юный Александар так „закалился", по выражению Моск. Вед., что уже совершает перевороты.

Милан*— тоже, конечно, теперь благодетель своего народа и спаситель его от шаблонного парламентаризма. А еще недавно в тех же патриотических газетах он изображался парижским Альфонсом и чуть не сутенером...**

Замечательное место из „Гражданина":

Князь Мещерский узнал из газет, что готовится отмена телесных наказаний для всех ссыльно-каторжных женщин... Князь Мещерский, по его словам,— смутился; по его мнению, по обнародовании этого закона все женщины и все несовершеннолетние тотчас же побегут, и в Сибирь усумнятся, из страха перед ними, идти даже переселенцы. Но всего интереснее, как понимает князь Мещерский обязанности смотрителей каторжных тюрем, в виду нового закона.

„Ведь ясно, что если я преданный и добросовестный начальник каторжной тюрьмы и получил бы такой закон об отмене

* Бывший сербский король Милан, отец Александра, отрекшийся в 1889 г. от престола в пользу сына, который должен был править согласно новой конституции. Переворот 1893 г. был совершен при его содействии.

** Против этой записи в дневнике вклена газетная вырезка с пометкой В. Г. „(Из Новостей,—Волгарь № 75)": „О происшедшем перевороте население узнало лишь утром и стало массами толпиться около манифеста. Заверение последнего, что конституция будет сохранена, везде вызывает овации и аплодисменты".

телесного наказания для женщин, я бы его принял к сведению, но, по долгу совести, не подчинился бы ему и все-таки в случае нужды, прибег бы к телесному наказанию; но тогда, что бы вышло: все каторжницы могли бы на меня накинуться, как на нарушителя закона, меня убить, и тогда что за положение создалось бы для местной администрации.. Неужели же никто не смел бы тронуть пальцем каторжниц — бунтовщиц и убийц?". * (Гражданин № 90, 3 апреля 1893 г.).

Это вот логика! Неужели никто не тронет пальцем бунтовщиц и убийц, которые станут терзать „преданного смотрителя"! Но всего интереснее, что князь рекомендует преданному смотрителю не исполнять закона! Если сказать, что чиновник вправе уйти с должности, но не вправе ставить себя выше закона, то наши консерваторы ответят, что мы рекомендуем конституционные порядки и даже стачки чиновников против правительства. Самобытнее и проще,— оставить закон на полке и „лупить" попрежнему! Это называется — преданность!

В „Донской Речи" напечатано воззвание и. д. атамана войска донского **. По поводу чумы на рогатом скоте станица Кривянка оказала вооруженное сопротивление властям. На юге теперь это заурядное явление. Год или два назад в Майкопе была настоящая битва, и очевидец рассказывал мне о домах, избитых пулями во время перестрелки. Невежество ли одно тут причиной — сомнительно. Ветеринары или взяточничают купно со „старшиной", или действуют по-канцелярски. Тот же очевидец

* Всюду курсив В. Г. Против фразы: „я бы его принял к сведению, но по долгу совести, не подчинился бы ему", на полях дневника проставлены три восклицательные знака.

** См. „Р. Вед." 4/IV—93, № 90, где этот приказ перепечатан. (Примеч. автора).

рассказывал, со слов казаков, что ветеринар с „атаманами“ велел согнать к известному сроку весь станичный скот в загороженное место и сам не ехал целую неделю. В течение этого времени в загороди появилась на нескольких быках и коровах болезнь — и последовало радикальное распоряжение — перебить весь станичный скот. Ну, как же тут не взбунтоваться казакам. А кто виноват? Распросите того же ветеринара и быть может окажется, что это простая жертва того, что Г. Успенский очертил в своем рассказе „Дохнуть некогда“. И все так натурально: он один, округ большой, ко времени не справишься. А приказано осмотреть. Ну, и значит сгоняйте к одному месту. А тут задержали, не поспел. А тут уже хворь,— ну, и вали всех. А казаки возмущены, потому что не могут этого об'яснить иначе, как умыслом начальства (и ведь в самом деле — похоже). Казаки хватаются за винтовки, а атаман пишет, что злые люди мутят тихий Дон. Какие тут злые люди, когда может быть даже и ветеринар вовсе не злой! Мутится тихий Дон — стихийно, оттого, что уж очень застоялась вся наша тихая Русь, до того, что все валится из рук и благонамеренные приказы при благонамеренном даже исполнении дают безобразные результаты. Нет силы, нет жизни — ну, и собирается стихийная гроза. И никто не знает, как это из тихого Дона подымаются буйные ветры... А если еще прибавить, что есть и ловкие люди, которые греют руки,— да тут материал для целой булавинщины! И все виноваты „лихие люди“, а порядки, убивающие скот пуще чумы — не виноваты!

В Брюсселе стачки и баррикады...

7 апреля

Лемьюэль Гулливер (у Джонатана Свифта)* хвалит обычаи и законы, существующие у Лиллипутов,— и „не будь они совершенно противоположны законам моего отечества,— прибавляет он,— я бы явился их защитником". Таков прежде всего закон о доносителях.

„Надо заметить, что все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго; но если обвиняемый докажет во время процесса свою невиновность, тогда обвинитель немедленно подвергается позорной смерти и с его недвижимого имущества взыскивается сумма вчетверо больше той, которая может вознаградить потерпевшего за потерю времени, неправильное преследование, тюремное заключение и другие издержки, сопряженные с судопроизводством. Если для пополнения этого взыскания имущества обвинителя будет недостаточно,— то недостающая часть относится на счет короны. Кроме того, император публично жалует освобожденного каким-нибудь знаком своей милости и все это об'является особой прокламацией во всеобщее сведение". („Путеш. Гулливера", перев. П. Канчаловского и В. Яковенко. 1889, стр. 61 — 2).

Я бы тоже стал защищать этот порядок обращения с доносителями, если бы он не был прямо противуположен порядкам моего отечества (к началу XX века) до такой степени, что у нас нет даже и „процесса", о котором говорит Гулливер. У нас доносители и судьи — одно и то же в вопросах о государственных преступлениях!

„Здесь,— говорит тот-же Гулливер,— существует обычай, который, как меня уверяли, не применялся на практике в прежние времена. Когда суд, удовлетворяя чувству мести монарха или злобе его фаворитов, приговаривает кого-либо к жестокому наказанию, тогда император произносит в полном собрании государственного совета речь, рисующую его великое милосердие и доброту, как качества, признанные и прославленные целым светом. Такие речи немедленно публикуются во всем

* Джонатан Свифт (1667 — 1745), английский писатель, один из величайших сатириков. Здесь речь идет о его знаменитой книге „Путешествие Гулливера".

королевстве и ничто так не устрашает народ, как подобные похвалы императорскому милосердию, ибо замечено, что чем энергичнее и пространнее составлены эти гимны, тем бесчеловечнее наказания и невиннее жертва".

Несколько напоминает наши нравы: о признанной русской веротерпимости мы говорим каждый раз, предпринимая религиозные преследования, о русском благодушии — при ограничениях прав евреев или давно живущих в России немцев, о великодушии и бескорыстии в международной политике — заводим речь, чтобы сделать вывод о необходимости подавить конституцию какого-нибудь славянского народца, наконец, и об отсутствии у нас инквизации — заговорили недавно и очень громко лишь затем, чтобы раздавить робкое „свободное исследование" в бедном психологическом московском обществе!

10 апреля

Мудрый царь великанов Бробдиньягов, в разговоре с Гулливером, высказывает афоризм, который и до настоящего времени цитируют государственные люди и ученые политико-экономы: „всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два,—окажет людям большую услугу, чем все политики взятые вместе".

В этом — целое „политико-экономическое" направление и настроение. Из этого возникал социализм, тот-же афоризм лежал и лежит отчасти в основе так называемого „народничества". Все определяется экономическими факторами — из двух колосьев в поле выйдут, как производное — и новая религия, и новое право, и новая наука и т. д. В настоящую минуту мы видим значительную реакцию против этой экономической исключительности

в мыслящей части общества. Доктрина, еще недавно увлекавшая передовые слои,— как это случается часто,— попала в руки реакционеров. Правительство берется само — вырастить *два колоса* и два стебля. Вырастим их сами — и все останется в политике по старому,— так повернулся афоризм, и многие из прежних приверженцев экономических теорий, увлекавшиеся ею в молодые годы,— пристроившись к департаментам окладных или же неокладных сборов,— усердно помогают правительству во что бы то ни стало вырастить два колоса. Бедняги думают, что это *само время* поворачивает в их сторону и не замечают, что это они сами повернули в кабинет князя Мещерского *. А вместо двух колосьев и двух стеблей — оказываются тощие половинки колосьев, идут неурожаи и засухи, страна беднеет и тощие нивы говорят всякому, не утратившему способности видеть и слышать: „да, вырастить два колоса на месте одного — и есть задача народного хозяйства, *но выполнить ее можно только при хорошей политике*“!

Путешествие в страну Лапутов — злая сатира на рационализм, который порой составляет уклонение научной мысли. Порой злые насмешки Свифта эксплоатировались, как оружие против самого человеческого ума и научной мысли. Но это, конечно, напрасно.

Двум академикам в столице Лапутии (Лагадо) приходит на ум, что человечество напрасно тратит слишком много усилий для членораздельной речи. Сжатие легких, неправильность выдыханий, затруднение гортани и т. д. и т. д., наконец, целый ряд болезней, сопряженных с условиями, необходимыми для речи,— все это приводит

* Против этого места на полях дневника пометка В. Г.: „См. Помпадуры и помпад[урши] Щедрина, помпадур Быстрицын“.

мудрецов к заключению, что человечеству следовало бы „выдумать орудие иное“ для передачи своих мыслей. Анализируя то, что люди называют речью,— они нашли, что вся она состоит лишь из названий вещей и из акциденций (качество, количество и отношоние). Итак, разговор легко заменить мимикой. Стоит указать предметы и их соотношение в натуре. „Единственное неудобство этого способа состоит в том, что в случае неоходимости вести долгую и пространную беседу, собеседникам приходится таскать на себе большой узел с вещами, если средства не позволяют иметь для этого одного или двух здоровых парней“.—„Мне,— говорит Гулливер,—приходилось встречать этих двух мудрецов. Они падали под тяжестию ноши и напоминали собой наших разносчиков. При встрече на улице они снимали мешки и, достав оттуда необходимые вещи,— вели таким образом беседу впродолжение часа; затем, сложив обратно пожитки и пособив друг другу взвалить их на плечи,— они расходились“.

Вскрывая эту гениальную и чрезвычайно забавную каррикатуру,— мы увидим здесь не олицетворение разума с его попытками творить новые формы жизненных отношений,— а наоборот, яркую картину аристократического презрения цеховых ученых к коллективному уму человечества. Язык есть плод великих усилий разума, это результат тьмы тем отдельных умственных движений бесчисленных поколений, создавших речь, как тьмы тем моллюсков воздвигают коралловый остров *. [[Самый гениальный из этих моллюсков может превзойти своего среднего собрата во сто, в тысячу, в 10 тысяч раз. Но что же значит 100, тысяча, 10 тысяч перед творчеством, которому нет ни числа ни меры. Труд гениальнейшего

* После этих слов вся дальнейшая часть записи (взатая в двойные скобки) в подлиннике перечеркнута. Изложенную здесь мысль об отношении между творчеством гения и творчеством человечества, В. Г. повторил впоследствии в одной из своих критических заметок, по поводу очерка М. Горького „Человек“. („О сборниках товарищества „Знание“ за 1903 г.“, т. XXV, наст. изд.).

из моллюсков не может оказать сколько-нибудь заметного влияния на общий план и на размеры работы...

Но гениальные моллюски порой впадают в заблуждение о своих отношениях к целому, и тогда мы присутствуем при странном зрелище крайностей рационализма. Один предлагает сразу перестроить по своим указаниям все экономические отношения миллионов людей, другой выдумывает новый язык, третий предлагает новый способ размножения человеческого рода, или рекомендует совсем воздержаться от этого предрассудка, как это делал у нас в последнее время Толстой. И при всей своей гениальности,— эти самозванные архитекторы в сооружениях природы — сразу обращают себя в каррикатуру и не потому, что они так верят в разум, а лишь потому, что не верят в коллективный атомистический, всюду разлитой разум человечества и даже природы, в которой элементы разума представляют могучий океан, и в этом океане их собственная гениальность есть только капля!...

Каррикатура на эту заносчивую аристократичность „избранной мысли"— есть вместе реабилитация средней человеческой мысли, работа которой, вековая и коллективная, дает великие мировые результаты. Гениальная поэма остается для нас гениальной поэмой! Но что она значит перед самым даром речи, перед чудным орудием мысли — языком, которого не выдумать никакому отдельному гению, ни даже собранию всех гениев всех народов! И когда, на основании своей поэмы — моллюск-гений подымет руку на эту великую вселенскую поэму — слово, или когда поэт, изучивший отчасти психологию отдельных движений отдельной души, охваченной любовью,— говорит целому океану человеческой любви,— стой и исчезни навеки, то мы уже не видим его гениальности и бедный великий поэт для нас—простая каррикатура,

капля, может быть и крупнее других капель, мнящая, что она притягивает к себе океан, а не сама падает в него, чтобы расплыться и потонуть без следа!]]

Очень метки насмешки Свифта над приемами исследования государственных преступлений в Англии (начало XVIII века).

„Прежде всего решается вопрос, к о г о из з а п о д о з р е н н ы х лиц обвинить в государственной измене; затем против такого лица начинается самое строгое преследование с ц е л и ю у б е д и т ь с я в д е й с т в и т е л ь н о с т и о б в и н е н и я; у него делается обыск, при чем отбираются письма и бумаги, а сам он заключается в тюрьму. Вся переписка передается в руки специальных артистов, которые с особенным искусством умеют отыскивать таинственный смысл в каждом слове, каждом слоге и в каждой букве этой переписки.

„В случае недействительности этой системы, они руководствуются двумя другими известными между учеными под именем системы акростихов и системы анаграмм. Благодаря первой, можно расшифровать все инициалы, согласно их политическому смыслу. Таким образом N будет означать заговор; B — кавалерийский полк; L — флот на море. По второй системе, переставляя буквы алфавита в подозрительном письме, можно узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю: „Наш брат Том нажил геморрой", то искусный знаток шифрованной грамоты прочтет в этих словах следующую фразу: „Сопротивляться — заговор открыт — надо бежать". В этом и заключается вся сущность анаграмматического метода". (Путешествие в Лапуту, стр. 63).

12 апреля

Недавно умер Петр Евгениевич Астафьев, философ, эстетик и моралист реакционного лагеря. Года 4 назад я встретил его в смешанной компании в Москве. Мы с Гольцевым сидели в каком-то небольшом ресторане, одно время привлекавшем к себе литературную братию. К нам подсел проф. Зверев*, из молодых ранний, очень

* Н. А. Зверев, позднее тов. мин. нар. просв., а затем нач. главн. упр. по делам печати.

неглупый господин, недавно еще написавший в „Русской Мысли“ остроумную, хотя и очень неглубокую статью против „утилитарианской нравственности“. Общая мысль статей Зверева состояла в том, что нравственное или безнравственное может быть только лично, и суждение об этом неразрывно связано с тем душевным актом, который называется побуждением. Таким образом, он слишком, по моему, упрощал задачу и вычеркивал из области нравственного суда — всю категорию явлений, так сказать, общественной нравственности. Нравственно или безнравственно — рабовладение? Для Зверева — оно или нравственно или безнравственно — смотря по суб'екту. Есть рабовладельцы, весьма добродушно и искренно убежденные в своем праве. Они — нравственны. А есть лицемеры, уже не верящие своему праву и готовые от него отступиться, если это окажется выгодно, но отстаивающие пока рабовладение из разных низких побуждений. Такие ненравственны. А для того душевного движения, которое подымается у нас в душе против самого явления, которое судит и осуждает это явление с высшей и по моему опять таки нравственной точки зрения, вызывая негодование и протест против всякого завладения человека человеком, как вещью, независимо от личных свойств хозяина и раба,— для этого душевного акта Зверев не оставляет места в области нравственных вопросов. Все это может быть только полезно или неполезно, но как нравственное или безнравственное квалифицировано быть не может. Я себя не причислял и не причисляю к утилитаристам. Но я думаю, что всякая высшая нравственность, которая пойдет в этой области дальше честного утилитарианства, — должна взять у него — принцип наибольшого счастия наибольшого числа людей — как великое начало, не подлежащее упразднению, потому что оно

заключает в себе вечную заповедь любви к ближнему. Он дает также и значительный простор чувству общественной нравственности. А г.г. Зверевы, выделяя всю эту область на долю чисто математического рассчета п о л ь з ы,— являются худшими и самыми узкими из утилитарианистов. Их учение разлагает и убивает самое чувство нравственного протеста против общественной неправды, а также говорит молодой совести: не возмущайся ни явлениями, ни людьми. Есть добродушные крепостники, есть добродушные палачи (привычка!), есть убежденные шпионы, есть цельные сатрапы. Сдержи порывы своего „нравственного" негодования против самого крепостничества, против шпионства, против произвола. Тут исключительно вопросы полезности, которые понимаются различно, а нравственному суду нет места!

Проф. Зверев — еще молодой, небольшой, невзрачный на вид, из крестьян,— воспитанник наших нижегородских Хотяинцевых. Старик Хотяинцев — когда-то большой либерал, оратор, произносивший пылкие речи (известна его речь на вокзале от лица севастопольских ополченцев кому-то из известных в то время писателей),— человек, за красным словцом никогда в карман не лазящий. Только прежде эти красные словца были о родине, о прогрессе, о свободе. Теперь... г. Хотяинцев недавно был директором дворянского банка, сильно прищемил хвост в некрасивых делах и красные словца заменил белыми, зловещими словами нынешней реакции. У него — такой-же сынок, уже с порядочной лысиной, длинный и скучный, впрочем, говорун. Когда в собрании взвивается к верху долговязая фигура сына — все готовы услышать какую-нибудь длинную реакционную глупость — (недавно взамен подоходного налога он предлагал налог на газетные рекламы),— когда-же встает согбенная и мрачная фигура отца, с глухим

и сиплым, зловещим голосом,— то мы готовимся услышать умную гнусность, почти всегда с практической подкладкой. Года два назад, в „парламенте земских начальников"— отец с сыном выдвинули свою теорию наказаний в деревнях по приговорам земских начальников,— теорию „отработок". Теория провалилась (между прочим и потому, что земским начальникам пока еще не присвоена законодат. власть),— но это не мешало отцу окопать свое имение канавами посредством приговоров сына... Мы, местные „корреспонденты" имели дело с этим отцом. Он — творец банковского проекта, имевшего целью уплатить дворянские недоимки из вкладов (я не раз говорил об этом проекте печатно)*. Почтенный старец, потрясая руками, воздетыми горе,— громил в собрании „каких-то газетчиков", а мы в газетах отвечали почтенному старцу — указаниями на его собственный домик, подкинутый любящим директором собственному банку за очень высокую цену (недавно продан с аукциона). Так вот, говорили многие, что самый проект Хотяинцева— в значительной степени составлял продукт бойкого пера его ученого воспитанника — Зверева.

Вообще, начав говорить о своей встрече с философом Астафьевым,— я невольно увлекся в сторону типической фигуры молодого профессора — потому именно, что это фигура в высокой степени характерная. Выростая на рубеже двух хотяинцевских настроений,— между красными и белыми хотяинцевскими словами,— он приобрел удивительную способность этой-же двуцветности.

— Вот,— говорил мне, указывая на него Гольцев, среди завязавшегося общего разговора, к которому примкнул вскоре слегка подвыпивший Астафьев, случайно встретив-

* В статьях, печатавшихся в газете „Волжск. Вестник", сотрудником которой В. Г. состоял с 1885 года. Статьи эти подписывались различными псевдонимами.

шийся с нами в ресторане.— Не угодно-ли посмотреть: человек, которому очень нравится, чтобы его считали консерватором.

— Разумеется — консерватор,— вставил Астафеев.

— Чистейший либерал.

Я посмотрел на смышленное и хитрое лицо чистейшего либерала-консерватора. Он чуть-чуть улыбался, видимо довольный. В самом деле — очень удобное положение! Тутор Катковского лицея и либерал-сотрудник „Русской Мысли", и persona grata в „Московских Ведомостях". И если красные слова внезапно вновь сменили-бы белые,— тогда „молодой профессор" созреет окончательно для либерализма. В самом деле,— он только кое в чем держался своеобразных взглядов, а в сущности согласен с Гольцевым. Ну, а если белые слова окончательно заполонят мир,— то ведь он их говорил немало! Это была первая фигура в этом роде, какую я встретил по своем возвращении в пределы цивилизации, и мне очень хочется ее использовать литературно, для чего и занес сюда этот эскиз.

Астафьев показался мне пьян и противен. Кроме шишки в орех над глазом, у него было что-то циничное в лице. С утилитарианизма разговор перешел на какой-то психологический вопрос,— и Астафьев напал на Гольцева. Тот отвечал шутя (в этом жанре он бывает великолепен), а Астафьев как будто обижался на легкость тона. Но в его собственном тоне слышалось не убеждение в том, что он говорил, а только уверенность, что и „это можно доказывать логично". Когда я поделился по уходе его своим впечатлением, то мне рассказали, что пьяный он говорил:

— Я социалист! Разве может умный человек в России не быть социалистом. Но умный человек не пишет об том, разумеется, в „Московских Ведомостях"!

„Да успокоится в Царствии Небесном даровитый труженик, всегда стремившийся к высокому духовному свету!..“ — напуствуют „Моск. Ведомости“ во вчерашнем № своего философа. Когда я встречал религиозно-патетические тирады покойного, или встречаю теперь таковой же пафос благосклонного ко мне Говорухи* или Ивана Дурново**, или Грингмута***, или наконец верно-преданного и верноучительного сына церкви Л. Тихомирова****, еще недавно начинявшего бомбы, а ныне в покаянии по этому поводу видящего право на религиозное учительство, — то мне всегда вспоминается остроумная каррикатура. Молодой франт идет под руку с „б а б о ч к о й“.

— Michel, — говорит бабочка, — вон та скамейка, где ты произносил священные клятвы.

— И где ты верила, что я верю, что ты мне веришь... — И оба смеются.

И они тоже „верят“! То-есть, они верят, что мы верим, будто они верят!

14 апреля

Сегодня (или вернее вчера) в „Моск. Ведомостях“ (№100) А. Хозарский оповещает о „Лурдском чуде“. Это — якобы обращение Зола в христианство в Лурде после его

* Ю. Н. Говоруха-Отрок (Николаев), публицист и критик (1850—1897). Из лагеря революционеров-народников постепенно передвинулся в лагерь реакционеров. В 1893 г. вышла его книжка, посвященная творчеству Короленка. Статьи, вошедшие в эту книжку печатались ранее в „Русск. Вестнике“.

** И. С. Дурново, публицист, один из главнейших сотрудников „Моск. Ведом.“

*** В. А. Грингмут, редактор „Московск. Ведомостей“.

**** Лев Тихомиров, публицист, известный революцион. деятель 70-х годов, впоследствии примкнувший к лагерю крайних правых.

паломничества, предпринятого с целью исследовать эту область явлений, сопряженных с наивною народною верой *:

„Сотруднику Temps, который интервьюировал его в Лурде, г. Зола сказал прямо:

„Мне говорили о Лурде, как о позорном для нашего века предрассудке, я и сам этому верил, но я утверждаю теперь, что Лурд напротив есть очаг милосердия, энтузиазма и самоотвержения и полезен в наш век эгоизма. О сверх'естественном я скажу позднее, все, что я могу вам сказать теперь, это то, что я видел здесь вещи сверх'естественные (j'ai vu ici des choses extranaturelles)."

Правда, к этому Зола прибавил:

— Но даже после того, что я констатировал эти чудеса (ces miracles), я не скажу, что происходит в глубине моей совести".

А в глубине совести происходит то, что, конечно, Зола остается при своем. „J'ai vu ici des choses extranaturelles"— только фигуральное выражение для усиления эффекта, и г. Хозарский, делая из них свои выводы,— несколько лукавит с благочестивою целью.

— Героиней моего романа — говорит у него Зола,— будет Бернадет **, эта маленькая пастушка, которая меня интересует все больше и больше по мере того, как я ее изучаю, моя книга будет пьедесталом для Бернадет, в ожидании дня, когда церковь поставит ее на алтарь среди свечей и клубов ладана***.

Автор La Terre строит пьедестал для католической ясновидящей! Удивительно ли, что католики теперь говорят об „обращении" Зола!.. Романист, изучая жизнь ясновидящей, добыл и ее фотографический портрет. Этот портрет стоит теперь у него на письменном столе".

Зрелище, представляемое г-м Зола, строящим пьедесталы для святых католической церкви (какими должно

* Эпизод с „обращением" Зола изложен в дневнике очень подробно; в тетради вклеены обширные вырезки из газет. Здесь этот материал дается лишь в извлечениях.

** Героиня легенды, связанной с происхождением „чудесного" лурдского источника.

*** Курсив здесь и ниже В. Г.

быть пикантными барельефами разукрасит этот „обращенный“ свое сооружение) — конечно, довольно любопытное. Но что об обращении и о лурдском чуде говорить несколько рано,— видно из нескольких слов, приводимых тем-же г. Хозарским:

„На возвратном пути из Бартреса в Лурд спутник г. Зола спрашивает романиста:

— Что вы думаете о Бернадет?

— Я думаю, что она не была обманщицей, но она страдает галлюцинациями“.

Коротенькая фраза, уничтожающая все триумфы лурдского чуда. Что остается от всего „обращения“ после этого признания. L'immaculée conception *— только галлюцинация! А исцеление — суб'ективное действие веры! Разве это новость, разве кто-либо теперь это отрицает! Газеты полны описаниями подобных исцелений. Г.г. Хозарские эксплоатируют каждый подобный случай для своих лукаво-благочестивых целей. Но они закрывают глаза на то, что рядом с чудесами о. Иоанна Кронштадского — те же газеты сообщают о чудесных исцелениях, производимых фокусником евреем Фельдманом. Я видел этого Фельдмана, и признаюсь, он показался мне прямо шарлатаном. Но действие его гипноза и исцеление — едва-ли можно оспаривать, что одно другому не мешает, ибо сила веры — суб'ективна. Такие-же шарлатаны пристроились у лурдского источника, атмосфера которого густо насыщена этими-же разлагающими элементами.

Итак, Фельдманы гипнотизируют пассами, почтенные отцы — журчанием лурдских ручейков, Зола говорит о галлюцинациях и силе веры, а г.г. Хозарские хотят нас загипнотизировать чудесным обращением Зола, забывая

* „Непорочное зачатие“,—так, по словам легенды, назвала себя явившаяся Бернадет чудесная Дева.

на сей случай, что по учению тех-же пророков из „Моск. Ведомостей“,—в католической церкви признается столько-же „благодати“, сколько и в Фельдмане. Остается могучая сила веры, которую темное человечество пристраивает на ощупь к выгоде шарлатанов. Признаюсь, меня так же глубоко возмущает зрелище нервной расшатанности, отдающей слабодушного суб'екта в руки Фельдмана, показывающего свои фокусы в театрах, как и сознательное шарлатанство афонских монахов или лурдских отцов. Вот как Зола рассказывает о погружении в бассейн чудесного грота Массабьель:

„Вода в бассейне имеет температуру в+10° Ц., меняют ее всегда два раза в день, и так как ежедневно в бассейне перебывает целый баталион больных, то в воде виднеется гной от ран, куски корпии и т. п. Это—ванна из микробов... и если что удивительно, так это не то, что больные от погружения в бассейн исцеляются, а то, что они в этой ванне не получают новых болезней!.. Какое зрелище! При мне погружали в бассейн одного расслабленного и одного паралитика, которых спускали в бассейн на ремнях. При прикосновении к холодной воде с ними делались мучительные спазмы, я видел, как они судорожно отбрасывали назад голову, лица их выражали ужас, продолжительная дрожь сотрясала их тело,— но на это не обращают внимания и их продолжают держать установленное время (2 минуты). Часто врачи противятся этим погружениям, но больные не обращают на это внимания“.

Помогают ли эти погружения? Несомненно. Вредят-ли они, заражают-ли больных новыми болезнями?— Тоже несомненно. В своих скитаниях по монастырям — я видел много подобных-же явлений. Больные глазами — вытирают их полотенцем, висящим у чудотворной иконы. Проходят сотни людей, порой с сифилитически гноящимися глазами, и полотенце сеет заразу.

— Что помогло-ли, — спрашивал я у одной из богомолок, встреченной мною на пути в другой монастырь.

— Ох, родимый! Нет! Пуще заболели. Не пожелала, матушка, помочи, по грехам видно. Ин пойтить еще в Муром, к чудотворцу...

В своем рассказе „За Иконой“ * — я привожу эпизод с кликушей. К несчастию, мы не можем высказать, что думаем по этому предмету, как Зола во Франции. А думал я, глядя на женщину, беспомощно, точно раздавленная, валявшуюся в пыли, после того, как толпа с иконой провалила дальше: помежет-ли ей это героическое средство? Несомненно, что действие его — громадно. Вся нервная система, изломанная в одном направлении,— переламывается теперь в другую сторону. Хорошо, если здоровая от дедов и прадедов организация выдержит,— может и станет лучше. А не выдержит и станет хуже, порой даже и смерть... Что-ж, матушка не помогла. Это напоминает мне протаскивание через хомут трудных рожениц: несомненно, и я сам видел таких, которые этим героическим средством были спасены от гнилостного заражения и смерти. Но сколько от этого-же гибнет.

Народ не так глуп, чтобы применять средство, безусловно лишь вредное. Он делает свои глазомерные наблюдения и прибегает к хомуту за полным неимением других средств. Как запретить хомуты,— не давая ничего взамен? Но нужно, необходимо заменять их разумною помощию, и тогда хомуты исчезнут. Не дай Бог, чтобы исчезли те душевные движения, которые мы называем верой. Но пусть эта могучая сила применяется достойным образом, пусть ни еврей Фельдман, ни правоверный монах с Афона не будут в состоянии направлять эту реку в свои карманы посредством эксплоатации темноты и слабодушия.

* Рассказ этот был написан в 1887 г. (См. т. XIII наст. изд.).

Ж. Ж. Руссо говорил:

— Si j'étais témoin d'un miracle, je ne le croirais pas, mais je deviendrai fou (еслиб я сделался свидетелем чуда, я не поверил бы в него, но сошел бы с ума).

Мы говорим теперь иначе: если-бы я увидел „чудо", то прежде всего поискал бы нет-ли обмана, а затем — стал бы думать, от каких сложных, но естественных причин может происходить непонятное для меня явление?

15 апреля

Были у меня два крестьянина из Сухого-Карбулака, Семен Иванов Артамонов и Егор Михайлов Нестеров. Высланные административно в Вологодскую губ. на 4 года, они теперь переводятся в Оренбургскую. Причина ссылки— тяжба с кн. Щербатовым. А. А. Карелин, к которому они обращались за адвокатскими советами в Вологде, считает их дело юридически-погибшим, и направил их ко мне, мимоездом, с просьбой помочь как-нибудь добраться до нового места. Но сами они, повидимому, своего дела еще погибшим не считают.

— Имеем надежду... Потому что есть у нас один человек...

— Послушайте, старики,—говорю я.— Вы знаете Карелина. Ведь он адвокат, законы знает.

— Да уж... Что говорить.

— А он вот пишет и вам наверное говорил, что дела вам не выиграть... Вы верите ему, что он вам говорит правду, без всякой корысти?

— Что говорить. Это уж такой человек, какая ему корысть.

— А тот-то, ваш, который обнадеживает, может быть, только деньги с вас станет драть...

— Нет, этот тоже не такой. Ни-ни! Только, говорит, помолитесь за меня, наипаче, когда помру, говорит, за душу за мою молитесь. А только, говорит, еще имейте надежду. Когда государь узнал, то значит дело ваше выйдет. Потерпите до сентября.

Другой из собеседников наклонился ко мне и сказал:

— N. N., может знаете...

— Не знаю.

— Видишь ты, ваше степенство, стало-быть сын его знает, какое над нами делали мучительство и сказал отцу... Тот-то, добрая душа, и пожалел мужиков: не имеют, говорит, права этакое делать... Ну, и научил нас: вы, говорит, из своего городу прошений не посылайте, а пошлите вы уполномоченных в соседнюю губернию, да в соседней-то губернии на почту и сдайте заказным в собственную его величества канцелярию... А то, говорит...

Он наклонился ко мне.

— Ваши, говорит, прошения не доходют... И что-ж ты думаешь: так сделали, ну и дошло! Приезжала комиссия, да мы слышь новое-те прошение писали, а ко времю-то не уметили. В субботу, знаешь, припоздали в почтову контору, в воскресение значит приему не было, в понедельник сдали на почту, а уж комиссары те из Саратова уехали. После N. N. говорит: ну-ко, старики, вы осторожненько сходите-ка к вакуровской гостиннице, спросите: не были-ли мол тут важные лицы из Петербурху. Ну, мы значит подошли к швицару: так и так мол. Не было ли?— Были, говорит, вчера уехали...

Вот на каких основаниях зиждутся теперь мужицкие надежды. Интересно, что они в своих несчастиях не винят Косича.

— Это было при губернаторе Косиче?— спросил я об усмирении.

— При нем.

— Как-же это, его кажется хвалят.

— Можно похвалить, можно,— неожиданно для меня сказал один.

Когда я был в Саратовской губ., то один из местных крестьян на вопрос о Косиче ответил: „Чистая собака, и не бывало этакой. Наслание Господне". Оказалось, что при Косиче шли будто бы энергичные взыскания недоимок и кажется еще, что говоривший ставил ему на счет то-же сухо-карабулакское дело, о котором много говорили. У меня и начало тогда складываться представление о Косиче, как о человеке, мягко стелющем и произносящем либеральные словечки, под которыми для народа часто нет ничего, кроме жестокости и бессердечия. Поэтому, признаюсь, это „можно похвалить" из таких компетентных уст,— меня приятно удивило и по отношению к самому генералу и особенно по отношению к говорившему мужику, проявившему столько беспристрастия и терпимости.

— Были мы у него.—„Старики, говорит, смиритесь! Ничего вам не будет".—Ваше превосходительство, говорим, невозможно нам за свою собственную землю платить аренду князю. Это не есть закон. Не делайте вы себе беспокойства и нас не мучьте, представьте нас к государю, пусть он рассудит нас...

— Ну и что же?

— Невозможно, говорит, старики, этого сделать. Я перед сенатом вот какой маленький человек (и рассказчик показал рукой на аршин от полу)...

— Главная тут причина — исправник, через него и мы в ссылку попали. Я, говорит, тебя, Егор, беспременно в тюрьму упрячу, будешь ты у меня в Сибири! Ну, мы, конечно, остерегаемся. Вызовет он для разговору, а в другой-те комнате посадит людей своих: слушайте. Это значит,

чтобы меня поймать. Ну, мы ничего... Делайте, говорю, как по закону. Я ничего не могу говорить супротив начальства, ну и опять-же, чего нам невозможно по закону, то опять не можем мы делать никак... Вот он без суда и упер нас на 4 года в Вологодскую губернию.

Интересно, что в этом споре сказалась тоже глубокая рознь в среде самого мира. Он раскололся. Около 2-х тысяч „любимсов" (любимцев,— ироническая кличка,— угодники!) составили приговор о том, что общество отказывается от своих прав на спорную землю. По словам крестьян эти приговоры (незначительного меньшинства) и были представлены князем государю после первой просьбы крестьян. Остальной же мир стоит на своем и не примыкает к „любимцам".

Как всюду на Руси — бунт кроткий, но замечательно упорный.

— Нам невозможно теперь и смириться-то — с глубоким убеждением говорит мужик.—Хуже будет: ведь мы теперича самого государя обеспокоили. Ежели нам отступиться,— так скажут: вы это что-же. Дело ваше не правое, а вы беспокоите не то, что уже начальства, а и самого его величества... Нет, уж теперь до конца надо. Что будет в сентябре...

Все чисто юридические соображения разбиваются об эти туманности,— точно о скалу. К сожалению, закон слишком часто обращали в орудие обмана по отношению к народу, и если где, то в таких делах можно-бы только приветствовать отмену разных сроков и тому подобных явно-формальных причин, если по существу дело должно быть решено в пользу крестьян. Вот где „высочайшее повеление" о пересмотре казуистических хитросплетений было бы и у места и чрезвычайно благотворно. Но у нас легко достать высочайшее повеление для пустяка, у нас

оно настигает какого-нибудь Валова,* какую-нибудь несчастную фельдшерицу или разночинца (я тоже был высылаем 2 раза по высоч. повелению. Помню, что в 1-й раз это очень возвышало меня, студента, в собственном мнении),— а крупная неправда, а дело, где тысячи людей теряют свои права, от какого-нибудь с р о к а,— такое дело всегда доходит до своего логического конца,— где народная внутренняя правда и вера в правду-государеву — приводит к бунту и кровопролитию. И при этом на одной стороне стоит какой-нибудь сенатский указ „за минованием срока для обжалования... оставить без последствий"— а на другой — явная и непререкаемая правда и мистическая вера в истинный з а к о н, который должен бы защитить от сильного хищника...

21 апреля

19 апреля была панихида по Н. А. Алексееве, о которой в газетах сообщается как-то официально и довольно сухо. Вообще, первое впечатление улеглось и всюду ходят самые упорные и чрезвычайно нелестные для покойного слухи. Третьего дня от одного из обывателей-торговцев я уже слышал, будто Андрианов вовсе не сумасшедший, а просто, не найдя нигде управы на Алексеева, обесчестившего его молоденькую дочь,— отомстил ему выстрелом. При этом молва приписывает очень некрасивую роль обер-полициймейстеру Власовскому. Еще задолго до катастрофы по Москве рассказывали о чудовищных безобразиях этих двух друзей. Правда это или неправда — сказать трудно. Интересно, что Власовский, бывший полициймейстером в одном из Остзейских городов,—

* Валов — купец, председат. Лукояновской уезд. земской управы. Был удален от должности по высоч. повелению в результате ложного обвинения в растратах.

отличился там „усмирением“ вольной пожарной команды. Ретроградные газеты оповестили об этом с большим восторгом („вольная“ команда, хотя бы и пожарная,— это, конечно, учреждение либеральное), а затем вскоре мы узнали и о назначении Власовского в Москву. Сразу-же о его деятельности стали ходить всякие легенды в Гарун-аль-Рашидовском роде о подтягивании полиции и домовладельцев. Русский человек любит эти анекдоты и не утратил еще надежду на Гарун-аль-Рашидов. Но уже через несколько месяцев московская полиция стала опять московской полицией, дворы опять завалены гадостью, а анекдоты о гениальном уловлении приставов и дворников — сменились рассказами о скандалах, производимых самим Власовским.

22 апреля

Телеграмма из редакции „Русского Богатства“: главы об организации продовольственного дела в Нижегородской губернии целиком не пропущены цензурой.* Общая мысль злополучной главы,— что закон предполагает одно, практика делает другое. Закон отводит хозяйство земству, контроль — возлагает на администрацию. У нас, да и в большинстве голодающих губерний — имела место фикция яко-бы „сильной власти“, состоящей не в том, чтобы всюду соблюдались законы, а в том, чтобы администрация во что-бы то ни стало „пела первую партию“, хотя бы это не требовалось ни по нотам, ни по ходу исполняемой пиесы. Вследствие этого, всюду в уездах продовольственная роль земства поглощена администрацией, а от

* Речь идет о главах VII и VIII очерков „В голодный год“. Очерки эти, печатавшиеся в 1892 г. в „Русск. Ведом.“, перепечатывались теперь в „Русск. Богатстве“ в переработанном и дополненном виде. В конце 1893 г. очерки вышли отдельной книгой.

этого — местный контроль совершенно исчез. Все это — уничтожено цензурой.

Нам ставят нередко в вину, что мы видим одни дурные и мрачные стороны,— намеренно не замечая хороших. Это-же говорили мне здесь не раз по поводу моих очерков: почему я не отметил того, что было похвального в деятельности генерала Баранова,— его энергию и т. д. И конечно, без этого картина выходит неполна и значит неправдива. Но с этим, при данных условиях — она выйдет еще менее правдивой. Нельзя, без риска налгать и погрешить даже против достоинства печати, — хвалить „сильных персон", если не позволяют в то же время отмечать и их ошибки. Ген. Баранов то и дело „наступал на закон". Весь лукояновский инцидент дело его рук, потому что он незаконно потворствовал г.г. лукояновским дворянам, когда они уничтожали в уезде земство и всех несогласно с ними мыслящих зачисляли в неблагонадежные. Валова — провели они при содействии губернатора, который поддержал их в избирательной борьбе посредством незаконного и пристрастного приема. Он-же помог им устранить того-же Валова в пользу Приклонского *. Он-же снабдил Философова ** фантастической диктатурой. И вот лукояновцы повернули все эти его дары против него-же, а те самые элементы, которые способны были-бы оказать сопротивление этой шайке,— были удалены из уезда самой губернской администрацией (была и тут в игре пресловутая „благонадежность"). Тогда, в борьбе со своими же креатурами, Баранов проявляет массу таланта и энергии. Отчего бы этого не отметить? Да, но не иначе, как отметивши предварительно тот несомненный факт, что его-же незаконная личная политика

* А. В. Приклонский, избранный председателем земской управы после Валова.

** М. А. Философов, лукояновский уездн. предводит. дворянства.

и породила ненормальные условия, с которыми пришлось бороться. Но вот цензура вычеркивает всю эту горькую правду. Как после этого хвалить „энергию и таланты“ и не будет ли это просто лакейством и подхалимством? К сожалению, наша русская печать слишком часто впадает в этот грех, а так называемая „политика умолчаний“, в которой обвиняется либеральная пресса (далеко впрочем не вся),—в этом именно мотиве находит свое оправдание. Как бы то ни было,—вместе с этой главой цензура зачеркнула и все мои проекты относительно „светлых сторон“ в деятельности высшей нижегородской администрации по продовольственному делу.

Начиная с октября месяца—это уже третья моя статья, погибающая по „независящим обстоятельствам“.

Образцовое по моему мнению лирическое стихотворение попалось мне случайно на глаза в 15 № „Волгаря“ нынешнего года (перепечатано из „Од. Листка“ и принадлежит какому-то Косуновичу).

В ДОРОГЕ

Еду вдаль. Мечты тревожные
Не дают покоя мне.
Что-то в тихом полусне
Шепчут вербы придорожные,
Словно плачутся оне.

Тихо вечер надвигается...
Темной ночи близок срок.
Где ты, тихий уголок?
Колокольчик надрывается...
Путь мой скучен и далек.

Я усну. Мечты тревожные,
Сердце, думы — все уснет.
Тихо ночь нас обоймет
И на вербы придорожные
Сон забвения пошлет.

Здесь есть и то, чего добиваются символисты, музыка слогов, от которой так и веет смутным настроением и вместе — ясность и точность слов и понятий, которыми схвачен самый смысл, „содержание“ этого дорожного настроения...

27 апреля

Сегодня в 8 часов утра умер бедный А. С. Гациский *.

С 1893 года я состою членом литературного фонда **.

Май — (1893)

Отличная иллюстрация к мудрости представителей... „по назначению“. ***

Буква **** рассказывает в „Русских Ведомостях“ курьезный факт, прекрасно характеризующий наших представителей „третьего сословия“. При министерстве финансов действует, под председательством члена совета министров С. А. Ольхина, особая комиссия, обсуждающая вопрос „об устранении стеснений при открытии промышленных предприятий“. Комиссия пригласила к участию в своих работах нескольких крупных фабрикантов, петербурских, московских и иногородних. Предполагалось, что их заявления и раз'яснения будут иметь большую практическую цену. Предмет интересный и важный требовал возможно старательного анализа и обоюдных компромиссов. От Москвы, между прочим, приехал и занял свое место в комиссии представитель Прохоровской мануфактуры. После прелиминарных заседаний приступили к сути. На очереди стоял вопрос самый капитальный и содержательный. Предложено было

* А. С. Гациский (1838 — 1893), статистик, обществ. деятель и писатель-этнограф, председат. нижегород. Ученой Архивной Комиссии (см. о нем статью В. Г. „Литератор-обыватель“ т. XXV наст. изд.).

** Литерат. фонд или общество взаимовспомоществования литераторам и ученым, основанное в 1859 г. Основателями его были Дружинин, Тургенев, Анненков и друг.

*** Все напечатанное петитом представляет собою газетную вырезку, без указания газеты, из которой взята.

**** Буква — псевдон. известного публициста И. Ф. Василевского.

высказаться фабрикантам и указать подробно и обстоятельно, в чем именно заключаются наиболее чувствительные стеснения, испытываемые ныне промышленными предприятиями. Фабриканты отошли от стола заседания, собрались в кучку и стали совещаться, кому из них и в каком порядке о чем говорить. Решили, что первый оратор первым делом и выставит на вид комиссии самое главное и для всех фабрикантов наиболее тяжелое „стеснение". Сели вновь по местам. Встает представитель Прохоровской мануфактуры и держит краткую, но необыкновенно ясную речь, к концу которой одновременно нисходит на всех, кроме фабрикантов, членов комиссии общее недоумение. Оратор экспонирует, убеждает и доказывает, что „главное стеснение фабрикантов заключается нынче в требовании, чтобы фабрики и заводы спускали отработанную воду в реки не иначе, как чистою"! Fiat lux in tenebris. Главная задача намеченной реформы, значит, должна сводиться к тому, чтобы фабриканты не были „стесняемы" по части принадлежащего им права отравлять речную воду, предназначенную для пития обывателей" *.

Разумеется, „характеристика третьего сословия" тут совсем не при чем, ибо прохоровского мудреца, так-же как и иных,— не третье сословие уполномочило говорить свои глупости о грязной воде,— а сама комиссия призвала (за что именно, т. е. за какие добродетели и заслуги — неизвестно),— чтобы они изрекали о нуждах и потребностях, которые им вовсе неизвестны вне пределов собственных грязных вод!

21 мая

„Русская жизнь" (№ 130) приводит возмутительные выдержки из „Гражданина" от 16 мая № 133 („Наскоро"). Этот злоупотребляющий своею глупостью „властитель дум" в наше глупое время, дает „серьезные советы" своим ближним относительно медицины и при сем пишет:

„Строй жизни так уродливо сложился, что нынешних врачей, убивающих ядами, вместо того, чтобы отдавать под суд за отравления, оплачивают гонораром и величают докторами; но все таки здравомыслящие люди должны бороться всеми силами против человекоубийственной медицины и не допускать ее до отравления себя ядами! В особенности это

должны делать родители относительно детей и воспитательные начальства в учебных заведениях относительно своих воспитанников".

„Здравомыслящие люди", прибавляет к этому „Русская Жизнь",— так точно и делали: в „борьбе всеми силами" была даже пролита кровь: но ведь еще только вчера за это таких „здравомыслящих людей" судили и казнили!..

И далее: „Человекоубийцы-врачи" сочинили в своем невежестве давать яды в роде фенацетина" и т. д.

Конечно, все это не произведет того вреда, на какой очевидно намекает „Русская Жизнь", надо однако признать, что из всех демагогий, эта демагогия охранительной глупости и разнузданного невежества самая отвратительная, если не самая опасная.

24 мая

Вчера было заседание архивной комиссии, посвященное памяти А. С. Гацискаго. Не знаю почему, губернатору очень хотелось видеть меня на этом месте*. Я отказался решительно, еще до заседания,— выбран единогласно Савельев**. Вообще-же,— я мог пройти при выборах при усиленной помощи губернатора, против которого собрание бы не пошло, но эта странная роль вовсе не по мне, помимо других причин для отказа.

* На месте председателя Нижегород. Ученой Архивной Комиссии, деятельным членом которой В. Г. состоял. С работой в Нижегород. историческом архиве связан ряд исторических статей и заметок писателя, им составлено также „Описание дел Балахнинского городового магистрата", изданное Архивной Комиссией. В том-же Архиве В. Г. нашел материал для своей незаконченной повести „Арзамаская Муза" (см. т. XVI настоящ. изд.).

** А. А. Савельев нижегородский земский деятель. (См. о нем статью В. Г. „Памяти А. А. Савельева" т. XXV наст. изд.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

1883-й год *

7 января

Приступая к этому дневнику с намерением заносить в него все более или менее выдающиеся события нашей нехитрой слободской жизни,— я нахожу, что мне очень удобно начинать его именно с начала нынешнего года. К этому времени приурочились волею судеб несколько случайностей, могущих оказать на эту жизнь известное влияние. Можно сказать, что если возможен какой либо поворот к выходу из теперешнего положения, то он возможен именно теперь.

Общий фон, на котором разыгривается наша маленькая драма — выяснится сам собою при дальнейшем изложении. Но мне необходимо все таки захватить предварительно в общих чертах — самый конец прошлого года.

Начать хоть—с рогожинского амбара. Сей амбар сломан. Украдено довольно. Между прочим — туша мяса, которую разделили тут-же, на месте, что заметно по крошкам жиру

* Рукопись в старой, повидимому самодельной, тетради без переплета, сшитой из белой, теперь пожелтевшей, нелинованной бумаги (в 1/4 л.). Тетрадь озаглавлена (на первом листе): „Отрывки, Наблюдения, Заметки". И ниже „1884" год. Вверху надпись „В. Короленко" и внизу „Амгинская слобода". В тетради несколько небольших отрывков, являющихся главным образом записями якутских преданий, а также два отрывка черновиков рассказа „В дурном обществе". 51 страница озаглавлена 1883 г. и далее по 86-ю страницу следуют печатаемые здесь подневные записи. Дневник этот велся в слободе Амге,где В. Г. прожил в ссылке с 1 дек. 1881 года по 10 сент. 1884 г. (См. „Истор. Моего Совр., т. IV, гл. XVII—XXXV). Описание рукописи см. в статье „От Ред. Комисии" (3).

и говядины. Обыск. Обломки талинок приходятся как раз к кошевке Васьки Абясова, нашего близкого соседа. След — также совпадает. Под полом у Васьки — оказывается зарытым хомут,— конечно краденный, хотя и не в этот раз. Ваську арестуют, допрашивают, посылают в город. Если не ошибаюсь, в этот то именно раз В. М. не допустил делать обыск в некоторых местах своего жилища.

Работник учителя случайно видел участников этого ночного предприятия (кроме Васьки помню еще Куддуса) и рассказал учителю. Учитель, желая навести на след — сказал об этом „следователям" из местных крестьян Якову Немчинову (другого не помню), конечно по секрету. Но сии местные Лекоки, посадив работника (Малайку) в кутузку, стали оного гласно пытать, но так как (по сознанию самого Малая) пытали не довольно жестоко, то ничего не добились, кроме того, что поставили учителя лицом к лицу с татарами, создав прецедент для будущих пропаж учительской скотины.

Абясов отправлен в город, „по прочету", т. е. при двух пакетах, отдаваемых на руки ямщикам. Ямщики, передавая пакеты друг другу, кладут их на стол, что конечно на руку Абясову. Один пакет как-то исчезает и Абясов является в город при одном только пакете.

Без сомнения даже татары признают, что отправка Абясова — вполне основательна.. На этом сходятся все партии. Халит советует даже выставить Ваську голым на мороз и держать до тех пор, пока он не сознается и не выдаст сообщников. Михайлов первый, говорят, подает совет примерить талинки по кошевке. Таким образом оба сии мужа содействуют в данном случае правосудию. Правда, Васька — зять Мохутина, и значит враг Халита. Быть может этим кое-что об'ясняется.

С этим событием совпадает поездка Н. В. * в город, отправка туда-же Туфея ** „за угрозы и буйство на сходе“ и отправка Туфейкина сына, как не имеющего права проживать в Амге. Туфей вскоре возвращен. Васька тоже благополучно вернулся (как оказалось впоследствии,— за неимением мест в остроге).

Минуя мелкие события,— взломана церковь. Ночью — набат. Оказалось, что в то время, как трапезник и сторожа отлучились (для выпивки) — некто забрался в церковь. Возвратясь вскоре,— стражи находят замок сломанным и бросаются на колокольню. Как кажется, в это время выход оставлен без наблюдения (по другим сказаниям — поставлена баба), и двое мужчин, быстро выбежав из церкви,— убежали. Собравшийся народ отправляется искать следы. Ищут неискусно и уже в поле наталкиваются на свежий след. Он приводит в слободу, к татарину. У последнего — два гостя, пьют якобы чай, по их словам — уже давно. Но на ногах у них оказывается свежий еще снег. Их арестуют. Это Куддус и Богатырь.

Обоих отправляют в город. Вас. Мих. на другой же день заявляет некоторым лицам, что это дело не татар. Он называет Титова и М. (Титов при начале набата явился к Ахаткину, *** еще не спавшему. „Мол что-то звонят!“). Общественное мнение, сначала вполне обвинявшее взятых татар,— начинает впадать в некоторое недоумение. Действительно есть факты, не вполне об'ясненные поимкою Коддуса с Богатырем. В ограде Монастыревского

* Н. В. Васильев — Амгинский писарь, первый политический ссыльный в Амге, женившийся на якутке и вполне вошедший в местную жизнь.

** Один из татар, живший в Амге и промышлявший исключительно воровством.

*** Ссыльный, с которым В. Г. познакомился в Вышневолоцкой политической тюрьме.

дома находят заброшенный лом, а это — в стороне противоположной той, по которой предполагались бежавшими пойманные татары (но именно в эту сторону должен бы бежать Титов). Далее — большой довольно ценный крест — не украден, хотя сдвинут с места и положен распятием вниз (чтобы не видел значит!). Это отчасти указывает на религиозную православную руку. В конце концов — оба татарина возвращены за недостатком улик. Общественное мнение тоже находит, что они были обвинены невинно. Что же касается их следов с поля (что несомненно), то это обстоятельство достаточно об'бсняется тем, что они ловили там кобылу (конечно чужую). Поговаривают, что в церкви были действительно два татарина и двое православных (называют Титова). Покража невелика — серебряный ковшик и рубля три церковных денег. Результат тот, что еще до сих пор по ночам сторожа у церкви для храбрости подымают ночью трезвон. Впрочем, говорят, нанимают в трапезники Степанушку Миркова. Тогда трезвон прекратится.

Затем, переворот в Якутске: исправник Бубякин подал в отставку, заседатель Слепцов перевелся в другой участок и на его место к нам назначен Антонович. На место-же исправника неизвестный нам Пиневич. Антонович уже был здесь, собирал татар и крестьян и увещевал тех и других. Тема увещаний — братское сожительство. Кроме того, общим совещанием выработан прожект: купцы В., Корякин, Афанасьева *, священники, Борисенко ** и учитель собрали добровольно около сотни рублей и предложили обществу держать 6 караульных. Расчет следующий: общество дает от себя еще 500 рублей (!).

* Т. А. Афанасьева — амгинская обывательница, владелица лавки; сын ее был учеником В. Г.

** Борисенко — амгинский начальник почтовой конторы.

Затем,— недоразумение: Корякин, священник и некоторые другие лица поняли предложение в том смысле, что общество, кроме 500 руб., принимает еще на себя (или возложит на караульных) имущественную ответственность за всякие пропажи. Корякин прямо говорил мне: „Пропадет у меня бык со двора,— плати. Сломают амбар — опять плати. Иначе нельзя. А то-мол, караульные сами и воровать станут". Общество не согласилось. Данило Иванов заявил даже очень резко, что мол купцы это хотят заставить нас сторожить их добро. Вывод замечательно глубокомысленный, если принять в соображение, что у массы крестьян татары воруют скотину в поле (где караулы не помогут), амбары же ломают только у богатых людей. Если сосчитать все, что украдено из крестьянских амбаров за все время, а не за один год,— то конечно и этого не наберется на 100 даже рублей. Между тем,— обществу пришлось бы платить караульным 500, да еще гарантировать страховую премию за пропажи, быть может тысячные, из богатых амбаров. Правда, когда я излагал эти соображения, мне ответили, что имелась в виду только обще-уголовная ответственность караульных за стачки с ворами или дисциплинарная за неисполнение обязанностей, но мне кажется странным, почему Корякин так наивно просто и с такой уверенностию говорил: „пропадет у меня—плати", почему о. Алексей перевел даже обществу на сходе предложение в том-же смысле, о какой, наконец, ответственности говорил В., который даже взял назад свое предложение дать 18 р., в виду того, что „безответственные" сторожа его не гарантируют. Как бы то ни было, общество благоразумно отказалось, благонамеренное начальство огорчилось и пригрозило, что караулы все таки устроены будут, а именитые амгинские обыватели подали начальству петицию в том смысле, что жить в Амге

весьма затруднительно, что они предлагали обществу устроить караулы, но общество сочло это неудобным и что, наконец, нижеподписавшиеся просят административных мероприятий.

Последняя просьба ставит между прочим один интересный вопрос, очень существенный для деревенской жизни вообще, а для нашей слободской жизни сугубо-существенный. Я не стану пока останавливаться на нем в надежде, что дальнейшие факты сами достаточно осветят его и укажут более убедительным образом: действительно-ли неизбежны в жизни деревни (хотя бы только в нашей ссыльной стороне) административные мероприятия, обходящиеся без юридически обставленных следствий и доказательств и основанные на общественных отзывах и приговорах. Пока-же скажу только, что наше общество составило уже 5 таких приговоров, как относительно татар вообще, так и с указанием известных наиболее „деятельных“ лиц. Заседатель Сл. постоянно понуждал даже общество к составлению этих приговоров, якобы для вящего убеждения высшей областной власти. Приговоры составлялись, но при поездке Н. В. в город оказалось вдруг странное обстоятельство: все эти приговоры лежали у заседателя и исправника без движения! Факт—наводящий конечно на размышления о взятках, во 1-х, а во 2-х, хорошо иллюстрирующий содействие власти к искоренению преступлений. Дело в том, что нужна некоторая храбрость, чтобы говорить на сходе против татар и в пользу подобных приговоров, так как все, что говорится на сходе—узнается татарами. Каждый, ратующий за подобные меры,—рискует лишиться лошади или коровы, а между тем,—риск этот ведет лишь... Как бы то ни было, пока можно констатировать факт: обществу не совсем-то законно навязаны поселенцы татары в количестве превышающем

самый состав общества. Затем, общество связано по рукам и ногам в самозащите, так как средства, предоставленные ему законом, или недействительны (все почти татары даже юридически уличенные,— отпускаются в то же общество, „впредь до дальнейших распоряжений“) или обращаются во вред самим же крестьянам, как это случилось с приговорами, которые эксплоатировались начальством с неизвестными целями.

Такова была „деятельность“, говоря высоким слогом, сошедших со сцены властей. Какова будет деятельность новых — посмотрим. Впрочем, кажется исправник Пиневич, о котором отзываются вообще хорошо,— умер на днях *.

А пока — в Чыкырцах увели лошадь, в Самарсунском наслеге — жеребчика. Как кажется какой то жеребчик находился у Титова, но где теперь находится — неизвестно.

Небольшое обстоятельство. Михайлов, принимавший у себя исправника и заседателя (прежних) и вообще „гремевший“,— в последнее время оказался в положении двусмысленном и изолированном. Конечно, юридических улик опять нет, но все отлично знают, что г. Мих. пользуется (услуга за услугу) весьма дешевым мясом, которое он даже лично иногда привозит „с Мазана“ (в ранние или поздние часы). Были даже прямые указания в этом смысле со стороны Мохутина и, говорят,—Чиркова. Как бы то ни было, в глазах нового начальства г. Мих. оказался маленько „замаранным“ и многие его попытки „проникнуть“ оказались неудачны. Вследствие этого он оказался вполне изолированным, никто не являлся к нему даже в праздник. Это, повидимому, побудило сего почтенного мужа повести игру открыто. Говорят, он велел некоему человечку передать

* На полях тетради против данного абзаца написано позднейшим почерком „жив.“

смотрителю, что хотя последний ныне ездит на лошадях, но летом, может быть, будет вынужден ходить пешком. Откровенность подействовала, и теперь Михайлов вновь принят „в порядочном обществе".

12 января послал письма: 1) в Минусинск (в том же конверте письмо Белок[онскому]) *, 2) Веле **, (с письмом Н. Поповой) ***, 3) Васе ****.

13 января

Ночью с 12-го на 13-е произведено нападение на Борисенка, конечно татарами. Подробности пока мне неизвестны и поэтому, безпристрастия ради, прежде отмечу прегрешения самих амгинцев. На-днях у попа случилось пропажа: лед, заготовленный на Амге его работниками, кем-то свезен. Работники ходили, спрашивая по дороге, не вез ли кто лед на быке и на коне. Мне неизвестно, удалось ли им найти похитителя, но увы! — на быке и на коне вез с Амги лед наш почтенный сосед и благожелатель Алешка Ц.! Кроме того, М. Жирков, который тоже взялся нам доставить лед,— раньше возил тонкие льдины, рубленные им самим, а теперь стал возить толстые. Между тем известно, что поповы работники заготовляли лед для холодного подполья на лето, т. е. именно толстый. Стало быть, и Митька... В извинение последнему можно разве сказать, что у него действительно был заготовлен собственный лед, но он долго не возил его и кто-либо из соседей успел сделать это ранее. Стало быть, идет круговая!

* И. П. Белоконский — писатель, статистик, знакомый В. Г.

** Эвелина Галакт. Короленко, впоследствии Никитина, младшая сестра В. Г.

*** Н. З. Попова, сотрудница В. Г. по корректурной работе в Петербурге.

**** В. Н. Григорьев — статистик, друг В. Г., товарищ его по Петровской Академии. (См. о нем „Ист. М. Соврем." ч. II гл. XXII и XXVI).

Покушение на смотрителя, оправдавшее блестящим образом предсказания Мих.,— должно, конечно, иметь причины. Между прочим, в качестве обвинительных пунктов против Бор[исенка],— без сомнения татары могут привести несколько обстоятельств: он говорил против них в городе; он подписался на заявлении губернатору, он, наконец, писал официально своему начальству, чтобы, вследствие частых грабежей и вообще небезопасности от татар, в Амгинскую станцию было доставлено оружие. Кроме всего этого,— он ссорится с Мих. и даже сделал несколько не очень тонких намеков последнему при заседателе (есть-же мол люди, у которых скотина жирная, а все таки татары не трогают!— И у вас скотина не худая,— ответил несколько смущенный Мих.— Так у меня ее и режут,— основательно ответил смотритель). Говорят, один из ночных посетителей Борисенка,—был его работник, недавно рассчитавшийся. Может быть ко всем другим причинам надо присоединить и личное неудовольствие, так как г. смотритель, питающий отвращение ко всякого рода нелегальным действиям,— считает возможным и даже приятным обсчитать за работу.

15 января

Очевидно, Амга не ожидает в будущем ничего хорошего. Я заключаю это из склонности к преувеличениям каждого факта в самом безотрадном смысле. „Скоро, однако, людей кушать зачнут“ — говорил мне вчера Захар *.

История с Бор[исенко] тоже преувеличена. Дело несколько проще, и „нападения“ никакого не было. У смотрителя был в работниках татарин. Он как-то загулял и сутки не являлся домой. Когда он пришел г. смотритель

* Захар Цыкунов, хозяин избы, где жил В. Г. в Амге, выведенный впоследствии в рассказе „Сон Макара“.

закатил ему плюху. Татарин возвратил ее так ловко, что смотритель брякнулся о земь. Встав он опять бросился было на татарина, но тот опять „поверг“ его и затем удалился.

Кажется, дня через два, ночью Б. увидел в окно, что кто-то прошел через двор к „аласу“. Заподозрев нечистые намерения, Б. разбудил работника и они отправились на поиски. Ночной посетитель спрятался в старую юрту, но когда его извлекли оттуда,— он завил, что он пьян и ничего не помнит, хотя, по всем видимостям, пьян не был. Оказался это — тот же работник. Теперь он — в кутузке. Смотритель требует с него 10 руб. 50 к. забранных им вперед. Говорят, по расчету татарина,— он за эти 10 руб. получил плюху, да еще в кутузке сидит „невинно“. Стало быть — квиты.

Из всего этого ясно,— что данный случай придется квалифицировать, как скромную п о п ы т к у украсть смотрительскую скотинку для сведения личных счетов. Самый заурядный амгинский способ сведения счетов!..

Ждем сегодня или завтра заседателя, но так как в городе есть свои собственные „случаи“,— то едва-ли дождемся. На Марже, говорят, два убийства.

Приехавший из города Кор.— сообщает, что полицм. Валь, который по слухам совсем уже было вышел в отставку — остался, тоже и секретарь Атласов. Наконец, говорят, губернатор просит бывшего исправника Бубякина, действительно „вышедшего“,— вновь воротиться.

Вчера слышны были колокольцы. Оказывается, это проехал козак на У.-Майю, за П. Анисимовым. Раньше к нему ездил чиновник особ. пор. Шипицын, для расследования по доносам этого почтенного скопца. Стало быть, теперь ему удалось придумать для доноса нечто столь забористое, что ему сочли нужным оказать внимание, и теперь везут в город.

17 января

Поселенец, живший у З[ахара] Цык[унова], украл коня в городе. Теперь приехал за этим конем якут, но сам укравший отлучился без билета в город.

19 января

Вчера (18 янв.) уехал в город с казаком Павел Анис., приехавший накануне. (Вчера-же я был у Афанасьевой).

Вас. Гер. рассказывал о покраже амгинским татарином лошади у полицмейстера. Татарин этот угнал ее с саночками и упряжью, но был застигнут на втором или третьем станке. Для него, конечно, нашлось место в остроге.

25 января

Начал занятия с м[альчиками] Аф[анасьевой] и о. Алексея.

1 февраля

(Приехал вчера пом. почтмейстера и чиновник особых поручений. Зачем? — неизвестно).

Третьего дня у нашего соседа — покража. Украли коня у Василия Абясова. Разгорожена городьба на углу, как раз против нашей городьбы. Следы — конский — на восток, человеческий — к церкви, затем кругом к Титову. Последний посажен в кутузку.

Таким образом бывшие сообщники ныне воюют и засыпают друг друга доносами. Об'ясняют это обстоятельство тем, что Абясов первый стал шпионить. За конем, который был у Титова, приезжал из города якут. Украден сей конь Морозовым, продан (?) Титову, сим последним — проданже Кондратьеву; Кондратьевым уведен на У-Майю. Говорят, Васька Аб., после того как его возили в город, в острог,— пожелал вступить в следы своего добродетельного тестя

и потому сообщил якуту — где находится его конь, за что получил 5 р. Кроме того, он-же донес, что у Ахмедзяна (его соседа и сообщника по рогожинской краже) хранится краденая шуба, которую при обыске и нашли. Таким образом, Васька оказался изменником, и получил за то возмездие. В свою очередь и он может указать на то, что с ним поступили неблагородно. Делили украденное у Рогожина мясо. Васька, как пострадавший в некотором роде по этому делу,— мог питать притязания на львиную долю. Но его напоили и положили ему в горшок „на одно варево". Это послужило первым толчком к его обращению на путь добродетели и доносов, на коем уже давно подвизается его тесть Мохутин.

Украденный у Васьки конь выменян им в Балагурцах. Странно, что в ту-же ночь украден в Балаг. и тот конь, которого он дал в замен.

На-днях, в ельнике, найдена кобыла, принадлежавшая Чирку (балагурскому). Кобыла убита и найдена еще теплою. Жеребенок (еще даже не родившийся) с'еден там-же (остатки костра). Стало быть — работа татарская.

Третьего дня приезжал из города десятник, чтобы прихватить татарина, причастного к покраже коней у полицмейстера (оказывается, что от этих коней найдено только мясо). Один татарин по тому-же делу взят уже в городе.

Третьего-же дня православная церковь приобрела новую овечку. Скопчиха Дарья отреклась от своих заблуждений, и хотя, конечно, „печать" осталась при ней, за то теперь никто не может выселить ее из слободы (от такого-же „обращенного" Василия Мих.),— несмотря даже на доносы Павла Анисимова. По этому случаю о. Ал-ем произнесено даже приличное „слово".

Вчера уехал брат учителя в город и, быть может, повез донос на меня по поводу моих занятий с мальчиками.

17 февраля

Приехал Слепцов и привез: 2 письма (из Минусинска от 27 декабря,— и от Швецова *,—через Тобольск 31 августа 1882 г.) и газеты „Р. Вед.“.

6 февраля происходила свадьба Инок.

В четверг (10) уехал Антоныч ** с Ив. Ив.*** в Бала-г[урцы].

В пятницу (11) приехали Николаевы **** проездом в Управу.

В субботу 12-го имянины у п. Алексея.

В среду (16-го) уехали Николаевы.

В четв. увезли Павла Анисимова, который жил здесь несколько дней, собирая долги. Говорят, все таки его увезут в Колымск.

Слепцов провез на У-Майю (и далее) скопца, как говорят, участника Верхоянского побега. Говорят, скопцов этих секли. Беднягам это уже не впервые.

18 февраля

Спрашивали подписку относительно будущего места жительства.

* С. П. Швецов, знакомый В. Г. по Вышневолоцк. политич. тюрьме, впоследствии известный сибирский статистик и писатель. (См. о нем „Ист. Моего Соврем.“, т. III, гл. XIX „История юноши Швецова“).

** Мих. Ант. Ромась, товарищ В. Г. по ссылке.

*** Ив. Ив. Папин, товарищ и одно время сожитель В. Г. в амгинской ссылке.

**** Вероятно П. Ф. Николаев (1845 — 1912), писатель и политич. деятель, который в это время отбывал ссылку в Як. области.

21 февраля

С почтой узнали о коронации в мае.

У Моисея Клевинского в ночь сломан амбар. Украдено 1/2 п. жиру и 1 п. мяса.

22 февраля

Татарин Васька приходил с какой-то просьбой. Сообщил, что прячет коня на ночь в избу, так как ему пригрозили, что и этого украдут. Спрашиваем, откуда у него это сведение.

— Хе! Как не знать! Я знаю, что уже два раза ездили за деньгами (за проданного ранее, украденного у него коня), да о н все не дает. Говорят, нет дома.

Васька-же сообщил о взломе амбара у Моисея.

— Наши все воруют... татара,— говорит он с некоторыми признаками негодования.— Вот якуты в других местах хорошо делают.

— А что именно?

— Да вот, говорят, одна якутка трех татар сгубила. Пришли четыре татарина ночевать... Утром, когда хозяева уехали по сено и осталась одна якутка, они бросились на нее,— давай деньги. Она стала просить: не убивайте,— лучше деньги все отдам. Один остался в избе, а трое пошли с ней в амбар. Она их в амбаре (или в подполье) захлопнула, а 4-го убила из ружья. Двое в амбаре сами будто-бы повесились.

Между прочим, добродетельный Васька отчасти снизошел и к положению татар, своих сородичей.

— Как не будет воровать,— говорит он.— Первое дело,— какие здесь суды!

Это соображение, конечно, справедливо и блистательно подтверждается его-же примером. Сам он уличен в воровстве и только проехался в город, чтобы немедленно вернуться назад.

Второе соображение гораздо более глубоко.

— Не дают билетов. Уйти стало быть нельзя, заработать негде. Стало быть остается воровать.

История выходит действительно довольно любопытная. Человек попался. Общество отправляет его в город, но оттуда присланный возвращается обратно тому-же обществу под надзор, впредь значит до решения дела. Дело решается годами, а надзор состоит в том, что данному суб'екту общество не вправе выдавать билета на отлучку, значит должно держать его на своей шее. Кормить его, конечно, не обязаны, но уж он сам позаботится, чтобы кормиться посредством краж и взломов. Есть надо, а уйти на заработки нельзя. Таким образом, обращение за содействием к власти только усиливает зло: власть не устранит вора, а наоборот еще прикрепит его к тому же месту, связав руки для заработка, но, конечно, не лишив возможности воровать. Есть надо, да и смелости прибавилось: 7 бед, один ответ.

История с приговорами о высылке еще интереснее. Так, в Балаг[урцах] живут лица, давным давно приговоренные обществом к высылке. Приговоры посланы куда следует, но... Проницательные люди догадываются, что подлежащим высылке лицам стоит некоторого труда держать эти приговоры в бездействии... труда и денег. Что-же выиграло общество от этого з а к о н н о г о шага. Прежде воры крали для своего прокормления, а теперь им, кроме того, нужно еще добывать средства для „даней"!..

Положение незавидное. Где выход? В России то и дело приходится встречаться с случаями звёрской расправы, с случаями остервенения и жестокости, как будто несоответствующих народному характеру. Теперь мне становятся отчасти понятными эти случаи. Это злоба человека, которого долго держали со связанными руками,

у которого „накоплялось“ на душе во время „законной волокиты“, которого возмутила, раздразнила, вывела из себя постоянная безнаказанность его врагов. Как ни смирны якуты, — но и у них начинается уже самосуд. Тот же добродетельный Васька в течение двух недель летом не мог сидеть, так как в седалищных частях у него находилось порядочное количество якутской дроби. Другой молодой татарин ходил с подвязанной головой, у третьего — рука на перевязке. У нашего соседа Константина отбили коня во время ночного похождения в Дянкунском наслеге. Таким образом, единственный выход, оставленный населению между притеснениями воровских татар и корыстными потачками начальства, — уже найден. Пока якуты вступают на этот путь робко, но не надо быть очень проницательным, чтобы предсказать дальнейшие шаги в том-же направлении. Успех сразу оказался громадный. Раньше существовало что-то в роде договора: татары воровали на стороне, не трогая ничего в слободе. Но первые-же выстрелы пугнули этих героев, — и договор рухнул. У якутов крадут реже, а Амга точно в осадном положении.

Говорят, якуты установили правильные караулы. Мне довелось ехать верхом вдоль реки, глухою темною ночью, из Балагурцев. По тому берегу, где я ехал, стоит в логу лишь несколько зимников Чакырского наслега, которые в то время (осенью) стояли еще пустые. Мой конь постукивал копытами по камню. Я едва различал впереди белую собаку, нашего Цербера, указывавшего дорогу. Тем не менее я ясно слышал, что по другому берегу реки очевидно следили за неведомым всадником, пока я не под'ехал к утесу, где начинаются пределы Амги и где река разветвляется несколькими рукавами.

Если якуты раз вступят на этот путь, — дело будет плохо. При сплоченности и организации внутри якутских

родов, тайга может скрыть целую массу всяких жертв якутской расправы. Где это остановится, раз начавшись, — сказать очень трудно.

28 февраля

Получил 3 р. от Аф[анасьевой] (вперед за март).

1 марта

Я уже отметил от 17 февраля, что приезжал Слепцов. 22 февраля он вновь появился в Амге, возвращаясь с У.-Майи. Он торопился. Я уже не застал его в мирской избе, но его лошади стояли у поповских ворот. Мне сказали, что он заедет еще к Вырембовскому, и я предпочел отправиться туда, не заходя к попу. Мне нужно было получить от него разрешение на выдачу письма из конторы.

Вскоре действительно подкатила тройка с колокольцами. Заседатель приехал с попом. У Слепцова была красная, немного как-бы опухшая физиономия. Видимо, он порядочно выпил, а поп не только выпил, но и напился. Он выписывал по комнате мыслете и постоянно требовал водки. При этом поп все подходил ко мне, стараясь незаметно для других толкнуть меня локтем или наступить на ногу. Эти таинственные маневры кажется долженствовали выразить, что поп не солидарен с „начальством“ и вообще, что он считает в этой среде за людей лишь меня и конечно — себя.

— Я... поп... Конечно, я поп. Но... какой поп?.. Может быть вы слышали?..

Действительно, я слышал, что он не берет за свадьбы, в которых „тысяцкими“ бывают Выр. или смотритель, вообще — с богатых. Но это не мешает ему брать с якутов

за требы, в случае неимения денег,— возжами, веревками и канчосами!..*

Вскоре явился Бор[исенко], а за ним Михайлов. Скопец подошел к заседателю в шубе и взяв его руку обеими руками, смотрел ему, умильно улыбаясь, в глаза, и долго потрясал заседательскую десницу. Можно было думать, что дюжий Михайлов созерцает свою любовницу, с которой разлучил его злой рок. Слепцов замигал глазами... Ему стало как будто неловко...

— Ты, парень, шубу-то снял-бы. Оно бы вежливей было...

Скопец не особенно смутился, но шубу снял. Я не мог разобрать, была ли резкость Слепцова искренна или нет. После он назвал даже Михайлова подлецом. Однако, все-же они о чем то шептались и посылали куда то казака.

Говорят, Антонович при смерти. Весьма вероятно, что Слепцов опять к нам вернется. Нам лично,— это-бы ничего. Все-же письма доходили бы аккуратнее. Но несомненно, что Михайлов вновь расцветет.

Слепцова почти насильно затащили к Борисенку играть и понятно пить. Я успел получить письмо и скрыться от назойливых зазываний попа.

Вероятно, Слепцов остался-бы ночевать, но в тот же вечер прикатил Ц.,— испр. должность директора якутской прогимназии и инспектор училищ. Услышав об этом,— Слепцов мгновенно улетучился.

— Ну,— ребята, беда! С этим встретишься,— три дня будешь кутить... Не выпустит.

И уехал.**

* На полях против данного абзаца написано: „Кажется не совсем верно".

** На полях через всю страницу написано: „Возвращавшийся из гор. Волков привез мне газеты и посылку с статистикой, рубахой и коробкой конфект. Конфекты оказались с'едены".

Между тем приезд Ц. вывел наружу одну любопытную с точки зрения местных нравов историю.

Поп Ал[ексей], давно враждующий с учителем, написал на него донос, в коем излагал, что учитель не занимается с ребятами, постоянно раз'езжает, ведет себя безнравственно и т. д. Что учитель занимается не образцово — в этом есть доля истины, но что у попа были непохвальные побуждения,— это столь-же несомненно. Ц., человек, кажется порядочный, произвел ревизию и нашел школу удовлетворительной. Учитель требует, чтобы ему официально сообщили имя доносчика для преследования судом. С своей стороны он припас целую массу собственноручных записок попа, который числится преподавателем Зак. Божия. В этих записках, писанных во время архиерейских наездов, поп просит учителя внушить ребятам, чтобы, на вопросы преосвященного, они отвечали в том смысле, что-мол батюшка школу посещает и Зак. Божию учит. Тогда как в действительности он и не посещал и не учил. Кроме того, учитель желает принести жалобу, что поп расстроил его семейное счастие. Во время крестин учительского ребенка вышла баталия, вначале только словесная. Возгорелся спор о кончине мира. Учитель и Михайлов (по известиям „Голоса“) назначили один срок, а поп по „Пет. Листку“ — другой. С кончины мира дело перешло на более близкие предметы и поп сказал учителю: „Чему вы-то радуетесь? Новорожденный, да новорожденный! Да ведь работа не ваша!“ Учитель говорит, что тогда-же „неофициально“ он помял попу бока. Теперь же официально и ссылаясь на свидетелей, хочет подать „прошение“, приписывая попу расстройство своей семьи (жена от него ушла).

Говорят, поп прочит на место учителя своего сына.

3 марта

Уехал в город Староватов и увез мое письмо к исправнику.

8 марта

Савин принес мне 3 письма: из Минусинска от 25 ноября и 4 января (с письмом от Буриота и от Улановской) *

8 марта

В этот промежуток случилось несколько событий: 1) у татарина (Алешки?), зятя Халита, украли коня, как говорят — татары-же. Во 2-х, у дьячка Смирнова увели из хоттона быка. Бык отыскался в виде частей говядины у поселенца в Чыкырцах. Поселенца арестовали и он указал на Титова, яко бы сей последний заставил его убить быка, грозя в противном случае убить его самого. Нож Титова действительно оказался у этого поселенца, но Титов, конечно, отрицает свое участие.— Знаменательно, что незадолго перед тем дьячок и Михайлов играли у Асеева в карты и Михайлов потребовал у дьячка рубль, в счет какого-то спорного долга. Дьячок отказался и дюжий скопец ударил его. Многим сразу пришло в голову, что между покражей последнего быка и этим эпизодом существует причинная зависимость. Было это на масляницу.

Но все эти события меркнут перед последующими. У Савина украли с гумна немного хлеба, но и это пустяки. Вчера к вечеру из Балагурцев пригнали верхами 15 якутов. Оказалось, что около часовни (верст 30 отсюда) обокраден хлебный магазин. Украдено от 108 до 200 пудов (точно еще не определено). Подвиг грандиозный и очевидно татарская работа. Удивительно, как чисто сделано, если

* Улановская Эвел. Людвиговна — знакомая В. Г. по ссылке в Березов. Починки, Вятск. губ.

еще принять во внимание, что такое количество хлеба надо было вести целым обозом на расстоянии 30 в. И это прошло незамеченным! Теперь по следам соображают, что было от 9 до 11 саней; двое было запряжено парами. Человеческие следы частию от торбасов, частию же от сапогов.

Якуты ожесточены. Они обратились к своему писарю Ваське Гер., но сей, хронически опьяненный философ, прогнал их к чорту. Они обратились к Савину (старшине) и ночью ходили с обысками. Кроме Туфея, ни у кого не оказалось хлеба, но и у Туфея хлеб не подошел к пробе. Сегодня опять были обыски. Результаты мне еще неизвестны. Якуты говорили, что-мол станем воротить все полы. Грозят, что летом будут стрелять татар, где-бы их ни встретили. И вероятно так оно и будет.

У татар теперь, как говорят местные жители,—пойдет дележ хлеба. Кто был и кто не был в походе,— все получат, конечно не поровну.

Обыски были произведены у всех, даже у смотрителя и у попов. Не искали только у нас, госуд. преступников!

27 августа

Большой перерыв в моих заметках,— по причине летних работ.* Быть может удастся со временем восстановить более или менее последовательно события из пропущенного времени,— а пока отмечу хотя бы некоторые обрывки текущего.

Прочитан манифест. На Амгу, вследствие обстоятельств, о которых скажу быть может ниже,— выпало „милостей" меньше, чем на какую бы то ни было другую местность. В среднем — коп. по 20 на душу прощенной недоимки.

* В летние месяцы В. Г. с другими ссыльными занимался хлебопашеством.

Это, конечно, неудивительно. Гораздо удивительнее то, что даже в нашей, лишенной всякой фантазии (а следовательно и иллюзий) Амге, являются превратные толкования. И откуда только они сюда залетают? *

Сейчас был у меня И. П. и между прочим сообщил, что будет скоро „чистый" манифест.

— Как это — будет?— спрашиваю.— Ведь уже был.

— Э, нет. Был только молебен. Богу молиться приказали, а больше ничего.

— Что-же читали?

— Э, так... приказание... Кто купцам задолжал больше алта мешок,— половину платить, а другую не надо.

— Что ты? Бог с тобой!

— Верно...

Он сообщал это совершенно равнодушно, что и весьма естественно: сегодня, отправляясь на покос, он зашел к купцу просить в долг коробку спичек в $1^1/_2$ коп. и тот не дал. А так как от коробки спичек до 600 руб. расстояние громадное, то натурально,— купцы наши не раззорятся от манифеста.

Что ожидается от „чистого" манифеста,— сказать трудно. Ясно сознается только одно желание,— насчет податей. По условиям местности,— аграрные вожделения дремлют.

Меня несколько удивило, что И. П., без всякого вызова после некоторой задумчивости,— пустился на свой собственный счет,— решать глубокие „вопросы о бедности".

—По́дать много. С бедных совсем не надо... Покос даром, земли даром...

— Еще оттого бедный бывает... которые вдовы остаются — деньги много дают...

— Какие вдовы?

* Против данного абзаца на полях написано: „Оказалось не верно"

— Вот матушка Иваниха из городу получает. Сын есть, кормить может, а она получает. Попа Н. сестра получает. Еще прошение делает,— еще получает... Мало!... Тридцать рублей...

Упоянув еще о попах и руге,— И. П. исчерпал вопрос до конца...

Чего-же ему ждать от чистого манифеста. Повидимому, манифест должен взять на себя труд, кроме удовлетворения желаний амгинца,— еще придумать и самые желания. Впрочем,— я забыл подати: столько-то рублей и столько-то копеек!

При сем же случае, узнал, что воры не могут спать по ночам, и не потому, что желают посвятить эту часть суток на иные занятия, а потому, что им не дают спать их... ножики! Здесь все ходят с небольшими ножиками в ножнах из коровьих хвостов. Так вот эти самые ножики не дают ворам покою. Они вертятся, стучат, толкают вора под бока. Когда-же вор зарежет чужую корову,— ножик тотчас успокаивается.*

* Далее идет дневник 1884 года. Начинается он рассказом об обыске в Женкунском наслеге у М. А. Натансона и заканчивается выпиской из доклада Д. А. Анучина в Обществе Любителей Естествознания (18 янв. 1884 г.) о гибели парохода Жаннеты. Так как, кроме этих записей, дневник ничего не заключает, а повествование близко к тексту напечатанному в IV томе „Истории Моего Совр.“, гл. XXXIII, то этот дневник 1884 года здесь не печатается.

Указатель имен и произведений

к I тому Дневника *

Аксаковы К. С. и Ив. С., вожди славянофильск. движения. 218.
Александр I, король сербский. 241, 242.
Алексеев Н. А., моск. гор. голова. 233, 234, 236, 237, 264.
Алчевская Х. Д., деятельница в области нар. образов. 99 примеч.
Альбов М. Н. беллетрист. 125 примеч.
Андрианов, убийца моск. гор. головы, Алексеева. 234, 235, 264.
Анненков П. В., литерат. критик. 99.
„Антошкина община" ст. Красноперова. 162.
Аргентов А., свящ., исследов. Якутск. края. 116, 117.
Астафьев П. Е., писатель по философ. вопросам. 181—183, 250, 253, 254.
Афанасьева Т. А., амгинская обывательница, с сыном которой занимался В. Г. 276, 283, 289.
Ахаткин, амчинский полит. ссыльный. 275.

„Байронизм у Пушкина и Лермонтова" ст. В. Д. Спасовича. 125 примеч.
Баранов Н. М., нижегор. губернатор. 209—212, 233, 266.
Батюшков К. Н., поэт. 99.
Белоконский И. П., писатель, статистик, полит. ссыльный. 280.
Бенод, испанск. академик. 184.
Берне, знам. нем. писатель. 201, 202, 203, 206, 207.
Бинэ Альфред, франц. психолог. 148.
Борис, племянник В. Г. 184.
Борисенко, нач. почт. конторы в Амге, 276, 280, 281, 282.
Брандес Георг, знам. датский критик. („Главные течения литературы XIX столетия"). 64 и примеч., 96, 184 примеч.
Буало Н. франц. поэт и критик. 181.
Буланже, изв. генерал, игравший роль в полит. жизни Франции. 147.
Бунге Н. Х., министр финансов в 1881—87 г.г. 91.
Бурмакин, см. „Феодалы".

„Валленштейн" драма Шиллера. 200.
Валов, председ. лукояновск. у. земск. упр. 264, 266.
Васильев Н. В., амгинский писарь, ссыльный. 275 примеч.
В. В. (В. П. Воронцов), народник-экономист. 172, 173, 174.
„В голодный год". 265 примеч.
„В дороге", стих. Косуновича. 267.

* Произведения В. Г. Короленко выделены в указателе курсивом.

„Вильгельм Телль“ Шиллера. 199.
„*В каюте второго класса...*“ (Отрывок без заглавия). 89 примеч.
Владимиров, писец нижегор. полиции, покушавшийся на жизнь губернат. Баранова. 209—212, 233.
Власовский, моск. обер-полицм. 264, 265.
„Власть земли“ соч. Г. И. Успенского. 60.
Вогюэ Э., изв. франц. критик. 97, 227.
„Война и Мир“ Толстого. 98.
Волынский А. Л. (Флексер), писатель. 230.
Вышнеградскнй И. А., министр финансов, назначенный в 1887 г. 90, 91.

Гациский А. С., нижегор. общ. деят., писатель-этнограф. 268, 270.
Гей Б. В., сотруд. „Нов. Времени“. 200, 201.
Гете. 181, 183.
Гизо, франц. историк и госуд. деят. 76, 77.
Говоруха-Отрок Ю. Н. (Николаев), публицист и критик. 255.
Гоголь Н. В. 176, 219.
Гольцев В. А., писатель, ред. журн. „Русск. Мысль“. 89 примеч., 117 примеч., 174, 182, 237 примеч., 250, 253, 254.
Гончаров И. А. 130.
Гораций, поэт древнего Рима. 66.
„*Государевы Ямщики*“. 31 примеч.
Григорьев В. Н., друг В. Г., изв. статистик. 89 примеч. 280 примеч.
Грингмут В. А., ред. „Моск. Вед.“ 255.
Г-рини (Н. В. Гаспарини), авт. расск. „В дороге“, „Форейтор“. 164—169, 171, 172.
„*Груня*“. 77 примеч., 92 примеч.
Гюго Виктор. 96.

Данте 162.
„*Две картины*“. 97
„Дон Кихот“ Сервантеса. 188—193.
Достоевский Ф. М. 177, 178.
Дурново И. С., публицист, сотруд. „Моск. Ведом.“ 255.

Женя (Женька), племянница В. Г. 149, 158, 160.
Жуков, ред.-изд. „Нижегор. Биржев. Листка“ 211, 214—216.

„*За иконой*“. 259.
Закревский А. А., моск. ген.-губ. 218.
„Затишье“, И. С. Тургенева. 165.
Захар Цыкунов, см. „Сон Макара“.
Зверев Н. А. проф., впоследствии госуд. деят. крайн. реакцион. напр. 250—254.
Златовратский Н. Н., писатель народник. 154, 172—174.
Золя Эмиль. 97, 228, 255—259.

Иловайский Д. И., историк, публицист реакц. лагеря. 239.
„*История Моего Современника*“. 21 примеч., 30 примеч., 31 примеч., 57 примеч., 69 примеч., 285 примеч., 295 примеч.

Карелин А. А., писатель-экономист. 260.
Карелин В., переводчик „Дон Кихота", авт. критич. ст. „Донкихотизм и Демонизм". 189—192.
Карлейль Томас, англ. писат., историк. 98, 187.
Катаев Ник., авт. рукописи „Счастье". 162—164.
Катков М. Н., изв. публицист, изд. „Моск. Ведом." 218.
Клемансо, франц. журналист и полит. деятель. 147.
Колачевский, изд. журн. „Эпоха". 173, 174.
Кольридж, англ. поэт и философ. 180.
Конт Огюст, известн. философ-позитивист. 181.
Косич А. И. сарат. губернат. 261, 262.
Косунович, авт. стих. „В дороге". 267.
Ксенофонт (Соч. ч. II „Разговор Перикла с Алкивиадом"). 185 примеч., 186.

„**Л**ев *Николаевич Толстой*" статья В. Г. 86 примеч.
Легуве франц. писатель. 147.
Лермонтов М. Ю. 219.
Лессинг, знаменит. немецк. писатель („Лаокоон"). 67, 81.
Лишта см. Томашевский.

Маколей, англ. историк и полит. деят. 76.
Малышева А. С. сестра жены В. Г. 72 примеч., 142 примеч.
Малышев С. А., муж А. С. Малышевой. 76 примеч.
Мармонтель, изв. франц. писатель. 67.
Мельников-Печерский П. И. („В лесах"). 208—209.
Мережковский Д. С., изв. писатель. 230—232.
Мериме Проспер, знам. франц. писатель. 184 примеч.
Мещерский кн. В. П., изд. „Гражданина". 242.
Микель-Анджело Буонарроти. 229.
Милан I, король сербский. 242.
Милль Джон-Стюарт, изв. англ. мыслитель и экономист. 181.
Мирабо, деятель вел. франц. революции. 156.
Михайловский Н. К. 104 примеч.
Монтень, знам. франц. мыслитель. 230—232.
„*Мороз*". 34 примеч., 39 примеч.

„**Н***а Волге*". 92 примеч.
Надсон С. Я., поэт. 82, 83.
Натансон М. А., изв. революционер. 295 примеч.
Наташа, дочь В. Г. 158, 221—224.
Некрасов Н. А. 101, 179.
„*Не страшное*". 185 примеч.
Новалис-Гарденберг, немец. поэт-романтик. 96 примеч.
Нотович О. К., журналист, ред.-изд. газеты „Новости". 59.

„**О** *сборниках товарищества „Знание"*. 248 примеч.
„Основные начала экономии" ст. Н. П. Гилярова-Платонова. 175 прим.
„**П***авловские очерки*". 184 примеч.

„*Памяти А. А. Савельева*“. 270 примеч.
Папин Ив. Ив, товарищ В. Г. по якутск. ссылке. 285 примеч.
Писарев Д. И., критик. 180.
П. Н. (П. Н. Николаев), народник-экономист. 174.
Погодин М. П.. историк. 218.
„Покушение на генерала Баронова в 1800 году“. 210 примеч.
Полляк В. Н., сарат. прис. пов., сотруд. газет. 117 примеч.
Полонский Я. П., поэт. 161 примеч.
„Помпадуры и помпадурши“ Щедрина. 247 примеч.
Поп, англ. поэт. 66.
Пругавин В. С., земск. статистик. 175.
„*Птицы небесные*“. 100 примеч.
„Путешествия Гулливера“ Свифта. 245—250.
Пушкин А. С. 81, 99, 175, 176.

Ренан, знам. франц. писатель, историк. 181, 225.
Ромась М. А. (Р., Антоныч), товарищ В. Г. по ссылке. 36, 37, 285.
Рошфор, франц. публицист и полит. деятель. 147.
„Руслан и Людмила“ поэма Пушкина. 99.
Руссо Ж.-Ж., знам. франц. писатель. 260.

Савельев А. А.. нижегор. общ. деятель. 270.
Салтыков-Щедрин М. Е. 86, 239.
Самарин Ю. Ф., писатель-славянофил. 218.
Свифт Джонатан („Путешествия Гулливера“). 245—250.
Сервантес („Дон Кихот“). 189—192.
Скриб франц. драматург. 147.
„*Слепой Музыкант*“. 64 примеч.
Слепцов., заседатель полиц. участка в Якутск. обл. 276, 278, 285, 289, 290.
„*Сон Макара*“. 281 примеч.
Соня (Сонька), дочь В. Г. 143—146, 150—154, 158, 159, 164 примеч., 169, 180, 220—224.
„*Станочники*“. 30 примеч.
Строцци, итальянск. поэт. 229.
Суворин А. С., ред.-изд. „Нов. Врем.“, 234, 235.

„*Тени*“. 185 примеч.
Теннисон, знам. англ. поэт. 219.
Тик Л., нем. писатель-романтик. 96.
Тихомиров Л. А., публицист, сотрудн. „Моск. Вед.“ 255.
Толстой А. К., изв. поэт („Смерть Иоанна Грозного“). 193, 194.
Толстой Л. Н., 62, 64, 66, 86—88, 98, 130, 166, 232, 249.
Томашевский А. (А. Т., „Лишта“), товарищ В. Г. по Петр. Акад. 60, 61.
Тургенев И. С. 64, 66, 81, 130, 161 примеч., 165.
Тэн Ипполит, франц. писатель и мыслитель. 89, 126, 127, 225—228.

Улановская Э. Л. (впоследствии Кранихфельд), политич. ссыльная. 69, примеч. 292.
Успенский Гл. Ив. 59, 60, 219.
„*Ушел*“. 194 примеч.

Фельдман, гипнотизер. 257, 258.
„*Феодалы*“. 42 примеч.
Фет А. А., поэт, 179, 183.
Флобер, знам., франц. романист. 65.
Фюстель де-Куланж, франц. историк. 188.

Хованский Н. Ф., ред. „Сарат. Дневн.“. 89 примеч.
Хозарский А., авт. ст. в „Моск. Вед.“ о „Лурдском чуде“. 255, 256, 257.
Хотяинцевы (отец и сын), нижегор. дворяне-землевладельцы. 252—253.

„**Ч***еркес*“. 44 примеч.
Чуйко В. В., литер. и худож. критик. 127, 128.

Швецов С. П., полит. ссыльный, позднее статистик и писат. 285.
Шерр И., нем. историк литерат. 156, 157.
Шиллер Ф. 96, 181, 199.
Шлоссер, нем. историк. 76.
Шольц Август, переводчик рассказов В. Г. на нем. язык. 159.
Шопенгауэр, знам. философ. 157.

Щепотьев С. А. (Щ-тьев), экономист, сотруд. газ. и журн. 173.

Южаков С. Н., писатель, сотруд. „Рус. Бог“. 174.
Юзов (И. Ив. Каблиц), публицист-народник. 198.

Содержание I тома Дневника

		Стр.
От Редакционной Комиссии		5
1881 г.	Три дня пути по Иртышу и Оби, по дороге из Перми в Якутскую область	21
1881-82 г.	Ожидание почты зимним вечером в Амге	28
1884 г.	Обратный путь из Якутской обл. в Европейскую Россию	30
1887 г.	О знакомстве с Глебом Ив. Успенским	59
„	О пессимизме и оптимизме	60
„	Из Брандеса	64
„	О двух поколениях писателей	64
„	Выписки из Лессинга	66
„	По поводу рукописи помешанного	68
„	Письмо к Э. Л. Улановской	69
„	Странные сны	72
„	Из переписки 60-х годов	76
„	На Волге	77
„	Из письма к начинающему поэту	81
„	На Волге	83
„	О рабьем и холопском языке прессы	86
„	К статье о Толстом	86
„	Из Тэна	89
„	На Волге	89
„	Опять на Волге	92
„	К вопросу о романтизме	95
„	Об органической преемственности идей	99
„	Что такое „положительные типы"?	100
„	Об аллегории	101
1888 г.	Посетитель	104
„	Опять посетитель	109
„	Знакомство с свящ. А. Аргентовым	116
„	Веселая барышня	117
„	О назначении литературы	125
„	„Мы заблудились"... (Лирический отрывок)	131
„	„Пессимисты"	133

1888 г.	„Пьяный с всклокоченной бородой...“	141
„	Детские фантазии	142
„	О Буланже	147
„	Цитата из Альфреда Бине	147
„	Об авторе-психопате	148
„	Женькин лексикон	149
„	Сонькин лексикон	150
„	О посещении В. Э. Васильева („народнический психопат“)	154
„	Из Шерра	156
„	Из ст. „Абеляр и Элоиза“	157
„	Характерный курьез	157
„	О рождении дочери	158
„	О немецком переводе двух рассказов В. Г. Короленко	159
„	О детях	159
„	Мысли о смерти („Женя у нас умирает“...)	160
„	Цитата из Данте	162
„	О рассказе Ник. Катаева	162
„	О детях	164
„	Посещение Г-рини (Гаспарини)	164
„	О детях	169
„	О старушке, просящейся в богадельню	169
„	Опять Гаспарини	171
„	По поводу выхода 1-й книжки журнала „Эпоха“	172
„	Отрывки (без начала) о художественном творчестве	175
„	О детях	180
„	Краткие заметки и афоризмы	180
„	Еще о художественном творчестве („созерцание“ и „тенденция“)	181
1889 г.	„Что значит говорить?...“	184
„	Разговор Перикла с Алкивиадом	185
1890 г.	Выписки из Карлейля	187
„	Из Фюстель де-Куланжа	188
„	Из „Дон Кихота“	188
„	О критическом этюде В. Карелина „Донкихотизм и Демонизм“	189
„	Из Алексея Толстого	193
„	О секте рябиновцев	194
„	Из „Вильгельма Телля“ Шиллера	199
„	Из Шиллера („Валленштейн“)	200

1890 г. О посещении Б. В. Гей и о духе нововременцев 200
„ Берне о вере 202
„ Из Берне 206
„ Выписки из Мельникова-Печерского 208
„ О покушении на ген. Баранова 209
„ Подробности печального известия из Якут. области . . 213
„ Посетитель-помешанный 213
„ О „Жуковских" глупостях 214
„ Самородок-неудачник 217
„ По поводу воспоминаний о Закревском в „Русск. Старине" 218
„ Стихотворение Лермонтова (из „Русского Архива") . . . 219
„ Отрывок из Теннисона 219
„ Успенский о дороге 219
1891 г. О детях 220
1893 г. О Тене 225
„ По поводу эмиграммы Строцци на статую Микель-Анджело „Ночь" 229
„ О Мережковском и его статье о Монтене 230
„ О покушении на моск. гор. голову Алексеева 233
„ Суворин об убийстве Алексеева 234
„ Ссора с „Русской Мыслью" * 236
„ Еще об Алексееве. Отзывы печати и о „самоотрицании" 237
„ Переворот в Сербии. Кн. Александр сербский 241
„ Князь Мещерский, отмена телесного наказания для женщин и закон 242
„ Чума на рогатом скоте и беспорядки на Дону 243
„ Свифт о доносителях. (Аналогии) 245
„ Афоризм о двух колосьях и о политике 246
„ Сатира на рационализм ученых 247
„ Исследование государственных преступлений (дешифровка
„ писем) 250
„ П. Е. Астафьев, проф. Зверев, Хотяинцевы и верующие из „Московских Ведомостей" 250
„ Лурдское чудо (мнимое обращение Золя) 255
„ Мужики из Сухого-Карабулака 260
„ [Еще об Алексееве и о Власовском] ** 264

* Все дальнейшее оглавление принадлежит автору.

** В авторском оглавлении эта запись не отмечена.

1893 г. Запрещение цензурой моей статьи.— Мысли об умолчаниях 265
„ Лирическое стихотворение Косуновича 267
„ Смерть А. С. Гацискаго 268
„ „Представители по назначению“ 268
„ „Гражданин“ о медицине 269
„ Архивная комиссия 270

Приложение.— Дневник 1883 г., за время пребывания в Амге, Якутской обл. 273
Указатель 296

Замеченные важнейшие опечатки

Страница	Строка	Напечатано	Надо читать
9	5 сверху	(в 1916 г.—до полугода)	(в 1916 г.—около полугода)
66	18 сверху	Даже вполголоса мы не напевали	Даже вполголоса мы не певали
125	6 снизу в примечании	связаны с записью от 11 июня	связаны с записью от 11 июня 1887 г.
204	5 снизу	веющей перед нами жизни	веющей перед нами ризы
